ДВА РУБЛЯ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ КОПЕЕК.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

34/4/

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Москва, ГСП 10, Волхонка, 14. Тел. 5-71-38 и 3-59-48.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1929 Г. И ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1930 Г. НА ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„Вестник Коммунистической академии"

7-й год издания

(Выходит раз в 2 месяца книгами размером в 18 печатных листов).

Научно-исследовательский журнал, выходящий под редакцией тт.: Бухарина Н. И., Диволайцкого Ш. М., Деборина А. М., Крицмана Л. Н., Лукина Н. М., Минеитина В. П., Пашуканиса Е. В., Покровского М. Н., Шмидта О. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ ЗА 1929 ГОД:

№ 31 (1)

СТАТЬИ: Подволоцкий И., Ленинский конспект «Науки логики» и проблемы натуралистической диалектики.— **Лейкин Э.**, Экономические взгляды Чернышевского.— **Переверзев В.**, Теоретические предпосылки писаревской критики.—**Гуревич М.**, О биологической концепции психопатий.

ТРИБУНА: Казанский Б., Творческая критика или творчество критики.— **Лебедев В.**, О некоторых вопросах теории исторического материализма и толковании их т. Разумовским.— **Разумовский И.**, В дебрях механической критики.

СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, читаемых в Комакадемии: **Диманштейн С.**, Проблемы национальной культуры и культурного строительства в национальных республиках.— **Фурщик М.**, «Марксизм» Каутского.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

ХРОНИКА.

№ 32 (2)

СТАТЬИ: Деборин А., Современные проблемы философии марксизма.— **Подволоцкий И.**, Ленинский конспект «Науки логики» и проблемы материалистической диалектики. — **Шария П.**, Новый вид эклектизма под флагом новой философской системы.— **Розовский Л.**, Родбертус как теоретик ренты.

ДОКЛАДЫ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ: Трахтенберг И., Теория современного кредита (доклад и прения).— **Варьяш Э. Э.**, Экономическая программа Международного кооперативного Альянса.

II ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

№ 33 (3)

СТАТЬИ: Рейснер М., Идеология и политика.—**Ральцевич В.**, Эмпиризм и диалектика.—**Франкфурт Ю.**, О различии между психологией и идеологией. — **Новиков С.**, Австромарксистские концепции Октябрьской революции.—**Кельда И.**, К проблеме происхождения языка.—**Энгелендер О.**, Бем-Баверк и Маркс.—**Захер Я.**, Жан Варле до 9 термидора.

ТРИБУНА: Гиндин И., Некоторые итоги в области изучения финансового капитала в России.

ДОКЛАДЫ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ: Виноградская П., А. Клотс.— Иванов Л., Англо-американское соперничество. — **Дашевский Г.**, Экспансия Соед. штатов в Латинской Америке.—**Файнгер И.**, О майских событиях в связи с экономическим состоянием Германии. — **Людвиг А.**, Капиталистическая рационализация и женский труд.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

ХРОНИКА.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на 1 год (с 1/I по 31/XII)—14 р.; на полгода (с 1/I по 30/VI и с 1/VII по 31/XII) — 7 р. 50 к.

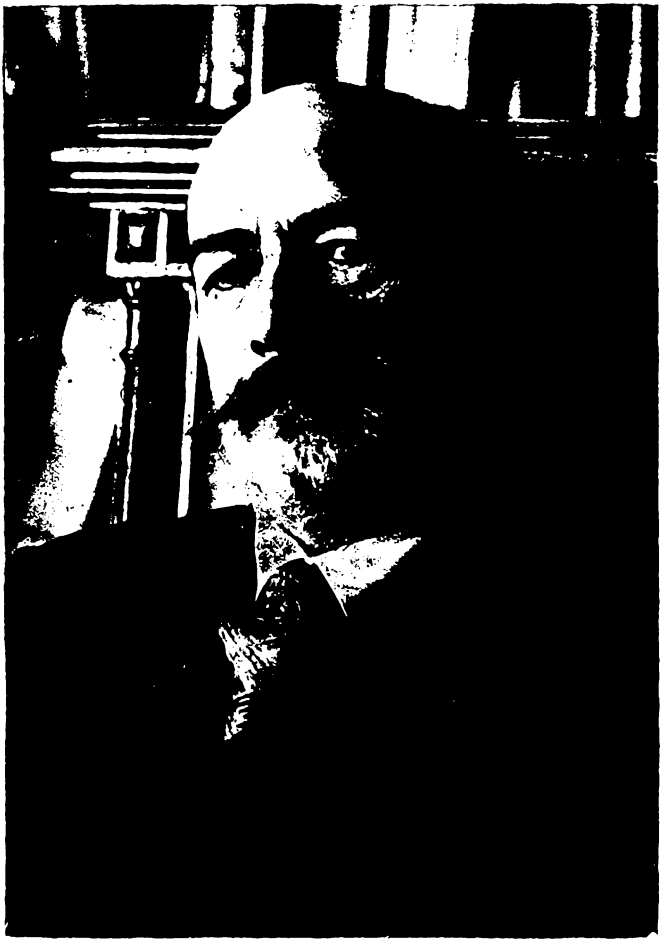
Подписку по почте просим направлять по адресу:

Москва, ГСП 10, Волхонка, 14. Издательству Коммунистической Академии

Подписка на местах принимается уполномоченными Издательства Комакадемии, снабженными соответствующими доверенностями.

Москва. Главлит А 51.399. ИКА579. 16$^1/_2$ печ. л. Статформат Б 5 176×250 3.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



В. М. ФРИЧЕ
1870—1929

ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ ФРИЧЕ [1]

1870 — 1929

М. Покровский

Владимир Максимович отличался тем редким качеством, что это был ученый по профессии, который занимался наукой постоянно и долгое время, а не в часы досуга, как занимается большая часть из нас. Мы, старики, все почти, даже те, кто был в прошлом профессиональным ученым, до известной степени депрофессионализировались, потому что мы расхватаны между всевозможными организационными работами, которые мешают нам заниматься наукой. И к величайшему огорчению, по этому пути начинают итти молодые. Они тоже оказываются расхватанными и сидят на разных организационных постах, которые берут у них, примерно, в 10 раз больше времени, чем их научные занятия. В результате—они не двигаются вперед, а мы катимся назад. А многим из нас и совсем не удалось получить профессиональной научной выправки в тех условиях, в каких мы жили до революции.

Владимир Максимович был счастлив в этом отношении; он эту профессиональную выправку получил и чрезвычайно цепко держался за науку. Он был одним, я думаю, из семи-восьми старых большевиков, которые профессионально и постоянно занимались наукой, и которые в дни основания Коммунистической Академии оправдали самое возникновение этого учреждения. Поскольку у нас был Фриче и еще 5—6 человек, мы могли говорить сначала о Социалистической, потом о Коммунистической Академии. Без них мы и говорить об этом не могли бы, потому что без, хотя бы небольшого, кадра профессиональных ученых не построишь Академии.

---

[1] Речь на вечере памяти В. М. Фриче. В следующей книге «Вестника» будут напечатаны речь А. В. Луначарского и статьи о В. М. Фриче.

При этом он был специалистом в такой области, которую я назвал бы пограничной, не в том смысле, что она граничит с какими-нибудь другими науками, а в том, что в этой области влияние буржуазной идеологии, влияние буржуазных специалистов так велико, как ни в какой другой области общественных наук. В политической экономии мы давно прочно стоим на своих ногах,—очень давно стоим, начиная с К. Маркса. В истории мы во всяком случае в последние 2—3 десятилетия довольно прочно стали на ноги и также можем обходиться без чужой помощи. В нашем Институте истории Комакадемии нет не марксистов. Есть не коммунисты, не партийные работники, но не марксистов там нет. И мы не только не чувствуем себя пусто в этом учреждении, но, наоборот, нам не хватает штатов. Если бы нужно было, мы имели бы не 40 марксистов, а 60 или 70.

В области литературоведения, в области исскусствоведения, в области археологии дело обстоит как раз иначе. Тут дело обстоит, я бы сказал, так, как оно обстояло в истории в те дни, когда мы издавали «Историю России XIX века» в издательстве бр. Гранат. Приблизительно так обстоит дело сейчас в этих областях. Есть небольшая группка марксистов-литературоведов и искусствоведов, небольшая, едва достаточная для дирижерства, и есть целое море буржуазных специалистов, без которых пока обойтись нельзя.

Если вспомнить, что и эта небольшая кучка создана Владимиром Максимовичем,—я помню какую борьбу он вел в Институте литературы и языкознания при I МГУ, я помню, как он сколачивал человек за человеком эту группку, и как постепенно он воспитывал своих преемников,—то значение Фриче станет особенно ясным.

Я бы назвал его своеобразным ученым-пограничником, который постоянно имеет дело с неприятелем, постоянно имеет дело с враждебными элементами рядом с собой и все-таки держится, держится чрезвычайно твердо, бодро, несмотря на все свои недуги, и ведет настоящую революционную работу. По самому свойству своей специальности Владимир Максимович был необыкновенно подготовлен к этой роли, ибо он был своего рода комплексным ученым. Он был одинаково компетентен и в истории литературы и в истории искусства, и даже, как я убедился, перечитывая его работы, даже в археологии. Вы у него найдете, например, чрезвычайно четкую периодизацию развития первобытной культуры, которая сделала бы честь записному археологу, любому записному специалисту по вопросам до-

истории. Благодаря этому, он как раз чрезвычайно подходил к тому комплексу учреждений, во главе которого он состоял последнее время—к РАНИОНу, который несомненно имеет тенденцию развиваться в сторону ассоциации литературоведческих, искусствоведческих, материально-культурных и археологических учреждений, поскольку философия оттуда уже ушла, история ушла, и я боюсь, что уйдет и экономика; это будет довольно естественно, и тогда останется огромная пограничная зона, в которой чрезвычайно подходящим заглавным лицом для нашего фронта был покойный Владимир Максимович.

Об этих его качествах, об этой его разносторонности и о его боевых качествах знали по его изумительной скромности очень немногие. Это был один из самых скромных людей в мире, один из людей, которые на заседаниях обыкновенно молчали, но молчали не всегда. Когда разгоралась классовая борьба,—не удивляйтесь, что я говорю о классовой борьбе на наших заседаниях, и там бывает классовая борьба,—Фриче моментально приобретал дар слова и говорил обыкновенно очень метко, очень хорошо и кстати. Но свою персону он никогда не выдвигал, и благодаря этому и его громадная эрудиция, и его боевые качества совершенно затушевывались. Не от нас конечно—мы его знали—а от широких кругов затушевывались. Что Владимир Максимович был боевым человеком, был настоящим революционером—об этом знали очень немногие близкие к нему люди. Хотя тот факт, что он пошел на работу в советские учреждения буквально на другой день после Октября, когда всем нам угрожал расстрел, когда мы все были внесены в соответствующие списки,—это уже достаточно доказывает, что натура у него была, несомненно, революционная.

Потеряв Владимира Максимовича, мы чувствуем то, что не всегда бывает даже после похорон очень крупных работников, чувствуем совершенно определенную пустоту в наших рядах. Другого такого комплексного ученого, который бы соединял с разносторонней ученостью качества настоящего революционного бойца, имел бы определенную, четкую классовую установку и имел бы такую старую революционную традицию, как Владимир Максимович, другого такого товарища мы не знаем. И заменить его будет очень не легко. Заменить его скорее всего может тот молодняк, который он сам воспитал. Этот молодняк, конечно, постепенно поднимаясь, постепенно поднимая свою квалификацию, вероятно, даст нам не одного, а целое гнездо Фриче. Это не подлежит никакому сомнению. Но с этим при-

дется подождать. И сейчас, например, в таких учреждениях, как Академия Наук, где нам очень нужны люди по этой специальности, потому что литературоведы Академии Наук пользуются своим положением для того, чтобы занять известную монопольную позицию,—там мы чувствуем совершенно определенную пустоту. Я должен сказать, что на последней сессии Академии Наук отсутствие Владимира Максимовича сказалось совершенно определенным образом. Чего-то не хватало, кого-то не хватало для того, чтобы отвечать на известные, очень мирные и культурные, конечно, но все же не наши выступления других литературоведов.

Утрата тяжелая, утрата, не скажу абсолютно незаменимая,—всех можно заменить,—но чрезвычайно трудно заменимая. Большого и совершенно необходимого нам человека мы потеряли в лице В. М. Фриче.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ НОВЕЙШИЕ АПОЛОГЕТЫ

Е. Пашуканис

Не подлежит никакому спору, что колониальная проблема будет стоять в центре надвигающихся великих классовых битв эпохи империализма. То исключительное внимание, которое уделяется колониям и колониальной политике в буржуазной науке, есть дань этому предвидению. И не только тревога о будущем, но насущная экономическая и политическая необходимость сегодняшнего дня заставляет идеологов буржуазии со всей пристальностью изучать происходящие в колониях экономические и социальные процессы. На первом месте стоит непосредственный интерес эксплоатации колоний, как поставщиков сырья, рынков сбыта и сфер применения капитала. Этой практической цели подчинены многочисленные описания и исследования колониальных и полуколониальных стран. Рядом с этим надо поставить задачу колониальной пропаганды. Мир уже поделен. Рассчитывать на новые приобретения можно только за счет своих более удачливых соседей.

Пропаганда своих «колониальных достижений» пускается в ход, чтобы закрепить позиции, чтобы, с одной стороны, подогреть колонизаторские настроения населения метрополии, а с другой—выбить оружие из рук конкурента, стремящегося использовать неудачу соседа, чтобы подорвать его престиж. Основанная после войны Французская Академия колониальных наук ставит целью «доказать, что Франция не нуждается в уроках со стороны какой-либо другой нации в деле распространения цивилизации и управления молодыми или отсталыми народами». Меморандум, где содержатся эти строки, ставит все точки над i, подчеркивая значение Академии в эпоху, «когда Франции навязан институт колониальных мандатов, согласно которому она будет контролироваться нациями, объединенными в Лиге наций, из коих одни являются нашими соперниками, а другие не имеют ни колониальной истории, ни колониального опыта» [1].

Такое учреждение, как Амстердамский Колониальный институт с его музеями—этнографическим и торговым,—с лекционными залами, с его библиотекой, с его специальным институтом по тропической гигиене, ставит своей задачей, как сказано в одном из изданий, «внедрять в народное сознание Голландии все огромное материальное и моральное значение голландских колоний». Наконец, немцы, которых Версальский мир лишил колоний, отнюдь не потеряли интереса к изучению колониальных проблем. Наоборот, немецкая литература, рассматривающая эти проблемы с истори-

[1] Académie des sciences coloniales. Comptes-rendus des séances, 1922—23, p. 22.

ческой, экономической и геополитической точек зрения, растет и должна помимо всего прочего свидетельствовать миру, что Германию «несправедливо» лишили ее колониальных владений и что германский империализм в состоянии выполнять цивилизаторскую миссию не хуже своего французского или английского собрата.

Но изучение колоний и колониального вопроса используется буржуазной наукой не только в целях отстаивания «места под солнцем» для своего отечества, но и в целях мобилизации всех сил капиталистического общества на борьбу с главной и грозной опасностью, которая носит название «большевизм и колониальная революция». Эта новая и острая проблема, с которой почти не сталкивалась колониальная политика довоенной эпохи, накладывает свой отпечаток на всю современную литературу, посвященную колониальной проблеме. Нет буквально ни одной работы, ни одной журнальной статьи, посвященной общим вопросам колониальной политики, где бы ни фигурировала эта угроза революционного восстания колониальных народов, которая повисла дамокловым мечом над всем империалистическим миром. Нечего и говорить, что большинство буржуазных авторов склонны давать весьма упрощенное объяснение глубокому брожению, охватившему колониальные страны. Их точка зрения редко поднимается над уровнем полицейского сыщика, объясняющего революционное движение исключительно происками агитаторов. На Дальнем и Ближнем Востоке, в Китае, в Индии, в землях, населенных арабами, на кофейных плантациях о. Явы и в рудниках южной Африки,—всюду мерещатся империалистам разветвленные организации, искусно поставленная пропаганда, тучи платных агентов Коминтерна, сеющих смуту и разжигающих недовольство туземцев.

Касаясь этой темы, буржуазные авторы, как правило, начинают проповедывать солидарность всех цивилизованных наций против большевистской угрозы. Колониально-политическая литература повторяет в этом случае мотивы столь модных ныне проектов пан-Европы. В качестве скромных достижений на поприще объединения и солидарности колонизирующих наций приводятся такие, напр., факты, как согласованная деятельность английской и голландской колониальной полиции в деле преследования национально-освободительного и коммунистического движения.

Наряду с интенсивным обсуждением всевозможных полицейских предохранительных мер, вроде, напр., поголовной дактилоскопии рабочих на плантациях Явы, проводимой с целью вылавливания коммунистов, видное место занимают проекты реформ, долженствующих разрядить атмосферу и вырвать почву у революционного движения. Нечего и говорить, что первое место в этом хоре колониальных реформаторов принадлежит представителям II Интернационала.

В противоположность худо скрываемой подозрительности, которую питают к мандатной системе матерые империалисты из Французской Колониальной академии, теоретики II Интернационала, наоборот, возлагают самые радужные надежды на Лигу наций, на существующее при ней Бюро труда и на систему мандатов.

В резолюциях Брюссельского международного социалистического конгресса 1928 г. мы читаем:

«Принцип подотчетности Лиге наций не может быть произвольно ограничен отдельными областями; он должен быть распространен на всю тропическую и субтропическую Африку и тому подобные колонии с при-

знанием за Лигой наций права наблюдения за добросовестным выполнением обязательств, вытекающих из принятия мандата. В то же время должны быть расширены полномочия мандатной комиссии Лиги наций, в частности должно быть предоставлено право заслушивать устные показания в поддержку петиций, подаваемых жалующимися группами этих областей».

Идеи Давида и Ван-Коля насчет «позитивной колониальной политики», потерпевшие поражение на международном социалистическом конгрессе в Штутгарте в 1907 г., торжествуют полную победу в рядах II Интернационала, деятели которого несут теперь полную ответственность за колониальное угнетение в качестве министров и колониальных сатрапов (Вареннн в Индо-Китае).

II Интернационал, разумеется, горой стоит за права угнетаемых туземцев. Брюссельский конгресс 1928 г. предлагает, чтобы Бюро труда Лиги наций разработало «кодекс прав туземцев, который должен быть принят всеми колониальными государствами в качестве минимального кодекса охраны труда». За соблюдением этого кодекса должна надзирать та же мандатная комиссия Лиги наций. Но этот смелый поток реформаторских предложений сразу же иссякает, когда резолюция касается вопроса о праве самоопределения колониальных народов. Тут мы встречаемся с глубокомысленными рассуждениями, которые целиком воспроизводят старую официальную ложь буржуазных колонизаторов относительно постепенного воспитания отсталых народов к самостоятельности. Резолюция Брюссельского конгресса делит колониальные народы на два разряда. Первые— это народы, которые «успели преодолеть свою социальную и культурную отсталость».

Резолюция констатирует, что «в недрах этих народов развились мощные национальные движения, ставящие себе целью полное освобождение от чужеземного господства и развитие самостоятельной национальной жизни», и признает, что «в этих областях чужеземное господство может и сейчас быть устранено без того, чтобы они должны были вследствие этого непременно опуститься из капиталистической фазы развития обратно в более раннюю и первобытную, и без того, чтобы современные средства производства и транспорта были в них уничтожены и сами они выпали из международного товарооборота». Таким образом в этой части резолюция благосклонно разрешает культурным народам получить самостоятельность, но под одним условием, чтобы не пострадали «современные средства производства». Такая постановка вопроса ничем не отличается от обычной империалистической аргументации в пользу колониального порабощения. На словах все империалисты согласны предоставить колониям свободу, как только те «докажут», что вполне «созрели» для самостоятельного существования. Характерно, что резолюция предлагает требовать для этих «созревших» народов «полного освобождения от чужеземного господства или, *если они этого хотят*, полного юридического, политического, хозяйственного и общественного равноправия с метрополией».

Выходит как-будто II Интернационал озабочен тем, чтобы какой-нибудь колониальный народ не был освобожден помимо его собственного желания. На деле же конечно это означает, что *полное* освобождение может быть заменено *неполным* в виде хотя бы «статуса доминиона», которым английское рабочее правительство в далекой перспективе обнадеживает индусов.

Наряду с этим резолюция прямо отстаивает сохранение колониального господства для тех областей, где «немедленное его устранение означало бы... не шаг вперед к национальной культуре, а возврат к первобытному варварству, не развитие национальной демократии, а подчинение народных масс господству либо меньшинства белых поселенцев, либо туземных деспотов, или же начало новой эры капиталистических грабежей и колониальных войн».

Небезынтересно привести также высказывания так наз. левых с.-д. по тому же вопросу об освобождении колоний.

В специальном номере журнала «Der Kampf» посвященном Брюссельскому конгрессу, мы имеем целый ряд статей на тему «Социализм и колониальная политика». Вот, напр., Жеромский[1], который, высказываясь «принципиально» за «независимость колониальных народов», тут же оговаривается: «Ясно, что немедленное очищение всех колониальных областей при наличии неравного темпа развития исторических, политических и социальных отношений на земле создало бы большую опасность для самой этой новой независимости». Другой автор, Отто Иенсен, призывает симпатизировать освободительному движению Индии, потому что... «недостаточно энергичное выступление за свободу Индии только способствовало бы агитации со стороны русских». Но он считает нужным тут же заявить, что, «хотя попытка колониальных народов свергнуть чужеземное иго будет всегда поддержана симпатиями борющегося пролетариата, но средства власти капиталистических наций настолько чудовищно велики, что нельзя ожидать в современную эпоху, чтобы эта попытка смогла достичь своей цели. Она только ухудшит судьбу туземцев. Хотя мы очень хорошо понимаем причины этих восстаний и сочувствуем повстанцам, но поощрять эти восстания и способствовать им социал-демократия не может так же, как она не способствует безнадежным путчам пролетариата в самой Европе»[2].

Итак, восстания колониальных народов могут только ухудшить положение последних. Посему «левые» социалисты платонически симпатизируют этим восстаниям, но отнюдь их не поощряют. Что касается более откровенных оппортунистов, то они вообще не видят, почему бы колониальным народам проявлять недовольство, раз им обеспечен мирный прогресс. Наиболее восторженным глашатаем «новой эры» колониальной политики выступает небезызвестный Макс Шиппель[3]. По его мнению колониальная система *уже* пережила грандиозную эволюцию, вроде той, которую проделал капитализм от эпохи первоначального накопления до наших дней. Нападая с пеной у рта на «неисправимых марксистов», которые-де считают, что капитализм всегда был один и тот же и не переходил от низшей ступени к высшей, Шиппель рисует следующую картину достижений капиталистической эволюции: на одном полюсе кровавое законодательство против бродяг, продажа детей из приютов на фабрики, Truck-system, и необузданная рыночная конкуренция, на другом—охрана труда, свобода коалиций, возросшее влияние рабочего класса в государстве и переход к «организованному капитализму».

[1] *L. Zyromski*, Sozialismus und Kolonialpolitik, «Der Kampf» № 8—9, 1928, S. 413—414.

[2] *Ienssen Otto*, Sozialistische Kolonialpolitik, «Der Kampf», 1928, H. 8—9, S. 411—412.

[3] *M. Schippel*, Neue Wege und Ziele der Kolonialreform, «Sozialist. Monatshefte», IX, 1927.

Колонии, по мнению Шиппеля, проделывают за последние десятилетия столь же блестящий путь мирного эволюционного развития: труд законтрактованных рабочих подвергается ограничениям, туземное крестьянское хозяйство уже не разрушается, бесправное население получает постепенно политические права.

«Реформистское понимание хозяйственных и государственных проблем,—заключает Шиппель,—находит себе в заокеанских странах не только полное подтверждение во всей новейшей колониальной истории, но обнаруживает ценные ростки дальнейшего прогресса, которые нужно только развивать, углублять и расширять».

Макс Шиппель, равно как и все прочие теоретики II Интернационала, возлагает самые радужные надежды на Лигу наций, на существующее при ней Международное бюро труда и на институт мандатов. Шиппель приветствует «образование центров международного общественного мнения» [1]. Он ратует за то, чтобы Германия, боже упаси, не стала на «бойкотистскую» позицию по отношению к мандатной комиссии Лиги наций, закрыв перед собой возможность «вновь приобрести влияние в области самых разнообразных колониально-политических реформ».

Если для победоносного французского империализма система мандатов и фикция международного контроля представляется досадной обузой, то для прислужников побежденного германского капитала та же мандатная система рисуется в более благоприятном свете.

Германия должна участвовать в Лиге наций и в мандатной комиссии отнюдь не в силу бескорыстных колониально-реформаторских побуждений. Как-раз наоборот, активность на почве колониальных реформ рассматривается г. Шиппелем как верный путь к тому, чтобы вернуть Германии ее колониальные владения. И хотя Шиппель вынужден с грустью признать, что формально правовая сторона мандатов «весьма неясна», однако он утешает себя тем, что «как-раз именно в таких сомнительных случаях решающее значение тем более принадлежит реальным силам всеобщего политического развития и переплетения экономических интересов; поэтому для Германии в настоящее время открываются перспективы, таящие в себе много больше надежд, чем раньше, если она сумеет при помощи ясного и твердого курса приобрести друзей».

Итак, «борьба за влияние в области колониальных реформ» раскрывает свое подлинное лицо. Перед нами та же старая борьба за колонии, только в более утонченных формах, то же самое колониальное соперничество, но замаскированное лицемерными фразами. Вместо прямых и грубых призывов к насилию и захватам, вместо открытых расчетов на те или иные благоприятные для Германии империалистические группировки, на сцену выступают гуманные заботы о колониальных реформах и скромные надежды на реальные силы «всеобщего политического развития и переплетения экономических интересов».

Шиппель с полным основанием опасается, что представители старой вильгельмовской колониальной администрации не в состоянии будут проводить эту тонкую тактику, и потому он дает совет не посылать от Германии в мандатную комиссию кого-либо из чиновников бывшего колониального ведомства, «так как неуместное рвение и уязвленное самолюбие могли бы вызвать постоянное недовольство комиссии и тем затруднить завязывание лучших международных отношений».

[1] «Neue Wege und Ziele der Kolonialreform», «S. M.», 1927.

Вряд ли нужно особенно долго останавливаться на опровержении той розовой колониальной идиллии, которую рисует Шиппель. Она так же не выдерживает критики, как и картина благополучного процветания «организованного капитализма».

Возьмем хотя бы вопрос о принудительном труде. Шиппель имеет смелость утверждать, что система законтрактованного труда уже утрачивает черты, приближающие ее к рабству. Можно подумать, что о рабстве как таковом вовсе не приходится говорить. Увы, на деле оказывается как раз наоборот: и применение труда законтрактованных рабочих продолжается в прежних брутальных формах, и наряду с этим существует самое доподлинное рабство. В 1925 г. назначенная Лигой наций комиссия сделала доклад о рабстве, согласно которому оказалось, что не только охота за невольниками, работорговля и рабство широко распространены в различных областях, но также целый ряд отношений зависимости, долговое рабство, домашнее рабство и известные формы принудительных повинностей, граничащих с рабством. Известно, что в английской колонии Сиерра-Леоне еще в 1927 г. суды возвращали хозяевам бежавших рабов. Рабство в этой колонии было формально отменено только в конце 1927 г. Согласно отчету, представленному в Бюро труда Лиги наций, принудительный труд для правительственных надобностей (дорожные работы, сооружения правительственных зданий, прокладка телеграфных и телефонных линий, транспорт чиновников и срочных грузов) широко применяется во всех английских и голландских колониях, уклоняющиеся подвергаются штрафам и заключению в тюрьму. В британской западной Африке все дороги построены при помощи принудительного труда; в Нигерии до 1927 г. использовался даровой принудительный труд. Но непосредственное принуждение не есть единственное средство принудить к труду; применяется косвенное принуждение—ограничение в праве возделывать определенные культуры или иметь скот, лишение земли, налоговое обложение, давление на туземных вождей, законы о «бродяжничестве». В южной Родезии существует закон, по которому всякий туземец, обвиняемый в бродяжничестве, может быть схвачен и предоставлен в распоряжение предпринимателя, нуждающегося в рабочей силе. В Нидерландской Индии принудительный бесплатный труд применяется в так наз. Outer Provinces, т. е. на редко населенных о-вах—Суматра, Борнео и др., для постройки дорог, мостов, для ирригационных сооружений. 400 000 яванцев работают на плантациях о. Суматры в качестве законтрактованных рабочих. Формально это свободный труд, ибо яванцы «свободно» подписывают контракт, но часто они не умеют даже прочесть того, что подписывают. Но как только туземец подписал контракт, он связан на много лет и не может нарушить контракта под страхом наказания [1].

Но если действительные плоды колониальных реформ далеки от тех розовых картин, которые рисует Шиппель, то в одном он несомненно прав: партии II Интернационала в своих практических требованиях ничем не отличаются от буржуазных сторонников колониальных реформ. Шиппель приветствует рабочую партию Англии, которая решительно порвала со столь охотно рекомендуемым в Германии внезапным прыжком к независимой

[1] См. «Times» 6 февраля 1929 г.; «Daily Herald» 14 февр. 1929 г.; см. также *Dirk Fock*, The Labour Problem in The Dutch East Indian Archipelago, «The Asiatic Review», October 1927. Издание Лиги наций «Travail forcé»—отчет к 12-й сессии Международной конференции труда 1929.

демократии туземцев и приняла целиком принцип «постепенного воспитания и подготовления». Разбирая предложения, выдвинутые рабочей партией, Шиппель приходит к следующему отрадному выводу: «эта программа не имеет ничего общего с противопоставлением пролетарского и буржуазного лагеря. Наоборот по существу она берет и обобщает только то лучшее, что дали труды и предложения буржуазных колониально-реформаторских кругов и выдающихся колониальных администраторов и чиновников министерства колоний» [1].

Колониальная политика в эпоху империализма включает в себя ожесточенное соперничество между капиталистическими государствами из-за колоний и систему насилия по отношению к колониальным народам. Эти два момента играют решающую роль при определении существа колониальной политики. Они не могут быть упущены из виду при любой теоретической постановке колониальной проблемы. Тем более заманчивой должна представляться для оппортунистов такая «научная» постановка колониального вопроса, при которой бы сами собой выпадали вышеуказанные наиболее острые моменты. Попытка разрешить эту задачу (да притом еще опираясь на Маркса!) принадлежит тому же Максу Шиппелю; он ее делает в двух статьях, посвященных определению понятия колонии [2].

Свои рассуждения Шиппель начинает очень искусно с критики тех определений понятий колонии и колониальной политики, которые можно найти у буржуазных авторитетов. Ему очень не трудно показать их путанность и ненаучность. В самом деле, несмотря на богатство довоенной и послевоенной литературы по колониальному вопросу, основные понятия, с которыми имеют дело буржуазные ученые, остаются в значительной мере невыясненными и расплывчатыми. Колонии и колониальная политика в произведениях признанных специалистов получают такое же неопределенное значение, какое в буржуазной науке усвоено термину «империализм». Поэтому, когда в основных капитальных сочинениях, где приводится масса фактического материала, авторы пытаются подвести итоги и дать четкое определение тому, что такое колония, что такое колониальная политика, они обыкновенно обнаруживают полную беспомощность. В качестве примера можно привести хотя бы статьи на соответствующие слова наиболее распространенных немецких хандбухов. Отто Кёбнер в словаре Эльстера, в статье, посвященной колониям, откровенно признается, что из «разнообразия обрисованных явлений вывести единое понятие колонии очень трудно». «В литературе всех наций,—добавляет он,—имеется расхождение относительно точного определения этого понятия». Ему вторит проф. Гассе в первом и втором издании известного «Словаря государственных наук». «Относительно сущности колонизации и относительно классификации колониальных явлений в науке и практике,—пишет он,—еще не достигнуто единодушия». Излюбленным приемом буржуазных ученых, пишущих о колониях, является выпячивание внешних формально-юридических и административно-технических признаков. Вместо того, чтобы дать социально-экономическое содержание понятия колонии, эти ученые исходят из того юридического положения, которое занимает колония, как отдельная неравноправная часть какого-либо государства. Шиппелю не стоит труда показать,

---

[1] *Schippel*, Neue Wege und Ziele der Sozialreform, «Soz. Monatshefte», 1927.

[2] «Die wirtschaftliche (marxistische) und die formalpolitische Auffassung der Kolonien», «Soz. Monatshefte.», 1916; «Kolonialtheoretisches bei Marx», «Soz. Monatshefte», Januar 1928.

что такой способ определения приводит к явным несуразностям и к самым комичным противоречиям. Эти противоречия замечают иногда и буржуазные авторы, но они не в состоянии их разрешить.

«Определение понятия колонии,—констатирует, напр., один английский автор,—эластично. Его употребление обусловлено случайными побочными обстоятельствами. Например, Цейлон считают колонией, а Бирму—нет, потому что в метрополии они подчинены различным административным отделам» [1]. С этой формально-бюрократической точки зрения Тунис и Марокко не относятся к колониям, потому что ими ведает не министерство колоний, а министерство иностранных дел. Алжир—тоже не колония, потому что он подчинен министерству внутренних дел, наравне с любым французским департаментом. Особенно последовательно выдержана эта точка зрения юридического или бюрократического формализма в докладной записке о колониальном управлении, которая была представлена германскому рейхстагу в предвоенные годы. Именно в этой записке утверждается, что при изучении колониальной администрации нельзя принимать во внимание Алжир, ибо это обыкновенная французская провинция с французским провинциальным и департаментским управлением. Точно так же мы узнаем там, что португальские колонии, собственно, не колонии, а провинции, поскольку они так именуются в португальских законах, поскольку проживающие в них португальцы принимают участие в парламентских выборах. Наконец, самое замечательное—оказывается, что бельгийское Конго только с 1908 года стало колонией, а до этого оно являлось «независимым государством» [2].

Не следует думать, что этим формализмом заражена только узко ведомственная, чиновничья литература. Проф. Цёпфль (преемник Гассе) в своей статье о колониях в «Словаре государственных наук» упоминает несколько раз о Египте, однако всякий раз с оговоркой, что, в сущности говоря, в случае Египта «мы не имеем дела с колонией». Наконец, в последнее время на тех же «научных» основах мандатные территории исключаются из числа колоний, ибо ни одна держава не может считаться метрополией по отношению к переданной ей по мандату территории.

Отвергая этот юридический кретинизм, Шиппель пытается дать научное, т. е. чисто экономическое определение понятия колонии. Издеваясь над теми, кто определяет понятие колонии, исходя из ведомственных признаков, из того, по какому департаменту зачислена та или иная территория, Шиппель настаивает на том, что такие понятия, как колониальное производство, колониальная экономика, колониальные аграрные отношения, колониальная система труда, являются гораздо более существенными, чем те или иные государственно-правовые, международно-правовые и административно-технические признаки. Однако это совершенно бесспорное соображение Шиппель немедленно использует для того, чтобы отвлечь внимание от таких фактов, как борьба за колонии, насильственный захват колониальных территорий, и совершенно снять проблему борьбы колониальных народов за свое освобождение. Разумеется, совершенно безразлично—подчинена ли та или иная территория непосредственно центральному правитель-

[1] *A. Caldecott* (статья в Словаре политической экономии Пэльгрэва). *Palgrave*, Dictionary of Political Economy, B. I, p. 321.

[2] «Kolonialverwaltung der europäischen Staaten». Drucksachen des Reichstags 1912—1914, № 1356.

ству в лице министерства внутренних дел, как это мы имеем в случае Алжира, или она подчинена министерству колоний, или, наконец (в качестве протектората), министерству иностранных дел. Но очень существенно: имеет ли колония таможенную автономию, особое законодательство и т. д., ибо в этом случае она стоит на пути к превращению в самостоятельное государство, ведущее особую от метрополии экономическую, торговую, а затем и внешнюю политику.

В этом последнем случае мы имеем налицо процесс создания собственной (переселенческой или туземной) буржуазии с особыми интересами, которые отстаиваются даже против метрополии. Наоборот, Шиппель стремится доказать, что колониальный характер страны, т. е. наличие определенных особенностей в ее экономике, совершенно не зависит от того, в каких политических и юридических отношениях находится она к метрополии.

Например, Соединенные Штаты разорвали государственную связь с Англией, но, несмотря на это, они еще в 60-х гг., как признавал Маркс, оставались экономически колонией Европы. Это соображение Шиппель немедленно использует против «левых», отрицающих всякую колониальную политику. Если левые, напр., заявляют, что вовсе не нужно колоний для получения сырья, ибо производство этого же сырья можно развить в странах Южной Америки, то Шиппель немедленно ловит их на вопиющем противоречии. Это, по его мнению, значит, с одной стороны, отрицать колонии, а с другой—желать расширения колониального производства, ибо бесспорно, что экономически Южная Америка является колонией для европейского капитала и для капитала в Соед. Штатах. Из того факта, что капитал экономически подчиняет себе даже и политически независимые, но отсталые в хозяйственном отношении страны, Шиппель делает вывод, что политическая независимость вообще никакой роли не играет. Таким образом он становится на точку зрения «экономического империализма» которая, как известно, допускает правое и левое применение, но сводится в конечном счете к отрицанию права на самоопределение.

Передержка Шиппеля заключается в том, что понятие колонии он очень ловко смешивает с отдельными элементами этого понятия, в частности с отсталостью в смысле капиталистического развития. Этот последний признак может обусловливать колониальный характер данной страны и после того, как она добилась политической независимости.

Но если стать на точку зрения Шиппеля и признать, что политическая форма отношений между колониями и капиталистическими государствами вообще не играет никакой роли,—тогда совершенно необъяснимым явится факт соперничества империалистических держав между собой из-за захвата территорий. «Чисто экономическое» понятие колонии необходимо Шиппелю для того, чтобы всячески затушевать значение этого факта. Пример с Соед. Штатами показывает только, что независимое государство, которое стоит на пути к мощному развитию собственной капиталистической индустрии и которое готовится к тому, чтобы стать субъектом капиталистической колониальной политики, может в то же (самое) время выступать в известном отношении в роли колонии.

Другая передержка Шиппеля заключается в том, что Марксово определение понятия колонии он берет исключительно из тех мест «Капитала», где Маркс говорит о свободных поселенческих колониях, которые он называет действительными колониями (wirkliche Kolonien), «собственно земле-

дельческо-поселенческими колониями» [1], т. е. как-раз о том типе колоний, который имеет менее всего значения для современной империалистической колониальной политики. Характерными чертами земледельческих поселенческих колоний Маркс считал: наличие свободной земли, которую каждый поселенец может захватывать для приложения своего труда, и постоянный приток поселенцев извне [2]. Эти черты Соед. Штаты разумеется сохранили и после завоевания политической независимости.

Ясно, что эти указанные Марксом экономические признаки поселенческих колоний совершенно не относятся к таким колониальным владениям, где уже имеется густое население и где нет незанятых земель: Индия, Индо-Китай, Ява и т. д., Точно так же эти признаки неприложимы в тех случаях, когда тропический климат делает невозможным приток колонистов-земледельцев и когда вместо хозяйства свободных фермеров развиваются различные формы плантационного хозяйства с принудительным трудом туземцев.

Шиппель пытается путем самой откровенной натяжки перескочить через различие поселенческих и плантационных колоний,—различие, которое подчеркивал в свое время Каутский, когда в 1907 г. он еще выступал как представитель революционного марксизма (см. его «Социализм и колониальная политика»). Если Маркс считает основным признаком поселенческих колоний народную собственность на никем не занятую землю, то Шиппель находит, что в случае тропических колоний речь идет почти о том же самом, а именно: о «первоначальном установлении народной собственности распространяющихся белых путем—употребим пока это бесцветное и даже оправдывающее выражение—преодоления народной собственности туземцев, путем революции в собственности, происходящей в силу столкновения между высшим и низшим хозяйственным укладом» [3].

Необходимость прикрашивать и маскировать колониально-политическую действительность и говорить о ней в выражениях по возможности «бесцветных и даже оправдывающих» признается и некоторыми представителями буржуазной науки. Но она признается скорее как печальный факт. Издатель «Zeitschrift für Politik» известный Грабовский в статье, посвященной «колониально-политической проблематике», констатирует, «что колониальная политика поставлена сейчас в положение обороняющегося. Беззаботная колонизация прежних времен отошла безвозвратно в прошлое; слишком велики нападки коммунистов и социалистов пацифистов, и буржуазных сторонников всеобщих прав человека» [4].

Правда, Грабовский не видит пока какого-нибудь ущерба по существу от этой новой идеологической позиции. Завоевание земли, пишет он, продолжается, несмотря на враждебную пропаганду и на «укоры совести колонизаторов»,—укоры, которые «отходят в сферу подсознательного, лишь только на горизонте появляется какой-либо особенно жирный гешефт». Грабовский

---

[1] См. «Kapital», т. 1, 4-е нем. изд., с. 729; т. III, ч. 2., Гамбург, изд. 1894 г. с. 289.

[2] «Здесь речь идет о действительных колониях, о девственной земле, колонизуемой свободными эмигрантами. Соед. Штаты в экономическом смысле все еще представляют колонии Европы». Или несколькими страницами дальше: «Сущность свободных колоний заключается в том, что масса земли остается еще народной собственностью, и потому каждый поселенец может превратить часть ее в свою частную собственность и в свое индивидуальное средство производства, не препятствуя этим позднейшему поселенцу поступить таким же образом» («Капитал», т. I, русск. изд. 1923 г., с. 601, 604, прим. 302).

[3] «Koloniaitheoretisches bei Marx», «Soz. Monatshefte», Jan. 1928.

[4] «Zeitschrift für Politik», H. 4. 1929.

спокоен за будущее колониальной политики, ибо «колониальная политика нашего времени подчинена империализму, т. е. экспансивному капитализму высшей фазы развития» (Hochkapitalismus), а этот последний не успокоится «раньше, чем не проникнет в самый отдаленный уголок». Грабовский совершенно открыто признает, что наличие Советского Союза заставляет капитализм с еще большим ожесточением выступать на арене колониальной политики, ибо ему нужно во что бы то ни стало заполнить ту брешь, которую Октябрьская революция образовала во всей системе капиталистического хозяйства. Грабовский не верит в возможность интернационализации колоний и отвергает проект эксплоатации Африки... Европой. Из этого ничего не получится, так же, как ничего не получилось из соглашения о Конго 1885 г. и из провозглашения «открытых дверей» в Марокко.

«При капитализме истинно творческой может быть только отдельная нация или сверхнациональная империя, но не расплывчатый интернационализм» [1].

Эту точку зрения нельзя не назвать реалистической; Грабовский не затушевывает глубоких конфликтов, которыми полна колониальная политика, как по линии соперничества между империалистическими государствами, так и в области туземного вопроса. Он готов допустить, что лет через сто (!) негры в Южной Африке смогут создать свою буржуазию, которая будет играть роль капиталистического субъекта (хотя и то второго сорта), но пока что Грабовский откровенно защищает и принудительный труд и отказ в политических правах. Если негры в Южной Африке составляют подавляющее большинство населения, ничего не поделаешь. Грабовский против «расслабленного гуманизма», который боится смотреть в глаза грозной истине; «высшая справедливость,—заявляет он,—не может устранить из истории трагических конфликтов». Итак, порабощение и угнетение негров должно продолжаться, такова «трагика истории».

Другой буржуазный специалист по колониальному вопросу проф. Ганс Цахе [2] призывает к такому же трезвому мышлению. Для этого он рекомендует стать исключительно на мирохозяйственную точку зрения, «ибо политика б лее подвержена влиянию чувства, чем хозяйство». Исходя из этой хозяйственной точки зрения, Цахе находит, что Европа вся потерпела поражение в мировой войне. Положение Европы рисуется ему в следующем виде:

«Внеевропейский мир—мы подчеркиваем при этом, что Европа никогда не простиралась до Урала—распадается на две гегемонии: американскую и большевистскую. Одна хочет экономически господствовать над Европой; другая ее разрушить. Рассуждая хладнокровно, надо сказать: находиться под господством лучше, чем быть уничтоженным».

Такова первая часть концепции г. Цахе. Но у него имеется и вторая часть, теснейшим образом связанная с интересующим нас вопросом.

«Большевистские планы разрушения,—продолжает он,—распространяются не только на Европу, но на весь капиталистический мир. В каче-

[1] Кстати сказать, в то время как Шиппель довольно туманно намекает на возможность для Германии «приобрести друзей» при помощи «ясного и твердого курса», Грабовский выражается определеннее: он рассчитывает на противоречие между «статическими» и «динамическими» державами; к последним он относит Японию и Италию,—идея не раз уже высказывавшаяся, но мало убедительная. Из того, что Италия и Япония особенно настойчиво добиваются расширения своих колониальных владений, вовсе не вытекает, что они станут содействовать Германии, которая тоже хочет иметь колонии.

[2] *Hans Zache*, Weltwirtschaft und Kolonialpolitik, Kolonialstudien, «Zeitschrift für Politik», Berlin 1928.

стве боевого отряда при этом мыслятся все цветные народы, которые должны быть организованы антикапиталистически». Это подводит г. Цахе к проблеме туземного населения, которую он и разрешает следующим образом. Прежде всего, по мнению почтенного профессора, «туземное население колоний распадается на ценные в мирохозяйственном отношении расы и расы, в этом отношении не представляющие ценности. С чисто мирохозяйственной точки зрения истребление (Ausrottung) последних целесообразно. К ним относятся туземцы Америки и островов Тихого океана. Поэтому испанцы, португальцы и англичане стояли на верном пути, когда они уничтожали краснокожих и заменяли их неграми» [1].

Если г. Цахе с легким сердцем санкционирует истребление целых рас, то не приходится удивляться его представлениям относительно того режима, которому должны быть подвергнуты оставшиеся цветные народы. «Если туземцев оставляют существовать, то надо стремиться к тому, чтобы они стали наиболее ценным фактором мирового хозяйства, т. е. отвращение к труду должно быть уничтожено путем принудительного воспитания, напр., путем плантационной системы».

Цахе мечет громы и молнии против ошибочной политики в деле образования туземцев. Обучение негров делает из них «полу-европейцев», «создается «стерильный» интеллигентный пролетариат из туземцев, который способен только поджигать». Цахе недоволен даже миссиями, которые ставят священников из туземцев: «Если один из братьев становится священником,— восклицает он возмущенно,—то почему другому не стать адвокатом, третьему врачом, а четвертому даже (!) капиталистическим предпринимателем». Этой возможности Цахе не хочет очевидно допустить даже и через сто лет.

Свою статью гамбургский профессор заканчивает весьма утопическим проектом международной эксплоатации колоний под управлением «мирового хозяйственного совета» (или двух таких советов при разделении на две группы: Америка и Европа—Африка); Японии и Китаю Цахе благосклонно предоставляет вести самостоятельное хозяйство с руководящей помощью белых или без таковой (большевистская опасность, которая угрожает самим основам колониальной эксплоатации, предполагается, конечно, при этом уничтоженной).

Итак, если «экономический аспект» колониальной проблемы используется оппортунистами для того, чтобы всячески затушевать грозные противоречия империалистических держав и систему насилия и гнета, применяемую к туземному населению, то в руках буржуазных специалистов этот же мирохозяйственный подход дает несколько другой результат. Грабовский, как мы видели, отрицает возможность интернационализации колоний, но зато открывает туземному населению Африки перспективу иметь, хотя бы через сто лет, собственную буржуазию. Наоборот, проф. Цахе убежденно пропагандирует свои мировые экономические советы по колониальным делам, но зато «мирохозяйственное назначение» цветного населения он видит исключительно в рабском труде. Это расхождение теоретических установок и прогнозов можно отметить лишь как курьез, не влекущий никаких серьезных практических последствий. Колониальная политика империалистических государств, будет ли она вестись по рецептам Шиппеля, Грабовского или Цахе, приведет к одному и тому же исторически неизбежному результату.

[1] *Hans Zache*, Weltwirtschaft mit Kolonialpolitik, «Zeitschrift für Politik», Berlin 1928, S. 31.

ОБ ОДНОЙ РЕВИЗИИ МАРКСИСТСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

Н. Бобровников

«Большевизм возник в 1903 году на самой прочной базе теории марксизма. А правильность этой—и только этой—революционной теории доказал не только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» [1].

В этих немногих словах В. И. Ленин замечательно верно и ярко отразил отношение нашей партии к революционной теории марксизма. Для нас революционная теория марксизма и «основа основ» ее—революционная диалектика—действительно является единственно правильной теорией, доказанной всемирным опытом всего XIX в. и *выстраданной* в борьбе с ошибками, шатаниями и заблуждениями революционной мысли. Большевизм возник на базе этой теории, неизменно руководствовался ею на всем протяжении своей богатой революционным опытом истории и чрезвычайно ревниво охранял и охраняет ее чистоту. Стоит вспомнить борьбу ленинцев с экономистами по вопросам стихийности и сознательности в рабочем движении, борьбу с меньшевиками о живом, действенном диалектическом применении основ марксизма в программах о тактических вопросах, решительную борьбу с различными философскими течениями—махизмом, эмпириомонизмом, кантианством, богостроительством и т. д., и, наконец, жестокие бои против каутскианства и троцкизма.

Вполне понятно, что наша партия дорожит теорией марксизма. Она ее выстрадала, она за нее боролась, она всегда ею безошибочно руководствовалась, она на собственном многолетнем опыте раз навсегда узнала, что без нее, без этой передовой теории она не может быть передовой партией рабочего класса. Вот почему наша коммунистическая партия ревниво восстает против всяких искажений теории марксизма и в первую очередь против извращений теории диалектики, откуда бы они ни исходили.

Вот почему диалектики ни на один миг не прекращали борьбы против различных механических, позитивистических, субъективистических и идеа-

[1] *Ленин*, XVII, с. 119.

листических течений и направлений, которые начали складываться у нас за последние годы.

Теперь эта борьба в известной мере получила свое завершение, поскольку она была предметом специального обсуждения конференции (2-й) марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений. Попытки ревизии марксизма получили на конференции единодушное и решительное осуждение. Вместе с тем были вскрыты и социальные корни этой борьбы.

«Происходящая в условиях развивающегося социалистического строительства классовая борьба вызывает известное оживление как открыто враждебных марксизму-ленинизму идейных течений, так и различных ревизионистских отклонений от него. Самый доподлинный идеализм и ревизионизм, приспособляясь к условиям диктатуры пролетариата, подчас рядится в марксистские одежды, выступает под флагом специального знания, либо извращает Маркса, Энгельса и Ленина, прикрываясь неправильно истолкованными цитатами из их сочинений» [1].

Естественно, что эта борьба носила и не могла не носить резкий, порой ожесточенный характер, ибо за теоретической дискуссией объективно, хотели того механисты или не хотели, скрывались определенные классовые силы, определенные политические тенденции.

Учитывая именно последние, нужно сказать, что решениями конференции дело не может считаться законченным совершенно, что написав и проголосовав резолюции, мы не можем успокоиться и почить на лаврах. В конце-концов дело не столько в неправильных взглядах пятишести товарищей—Тимирязева, Аксельрод, Варьяш, Сарабьянова и т. д., сколько в тех социальных тенденциях, рупором которых они являются. Следовательно, недостаточно осудить позицию этих товарищей, необходимо продолжать разоблачение всех ошибочных, ревизующих марксизм направлений и одновременно развертывать положительную творческую работу в области как общих методологических вопросов, так и в специальных сферах.

В этом отношении особое значение приобретают ошибки крупных теоретиков, больших политических фигур. В данном случае мы имеем в виду Н. И. Бухарина. Если относительно ошибок таких «вождей», как тт. Тимирязев, Аксельрод, Варьяш, неоднократно говорилось и писалось, если их позиция вот уж несколько лет подвергалась всесторонней критике, так что читающие и понимающие могут составить себе правильное представление о сути разногласий и определить свое отношение к обеим сторонам, то совсем другое положение занимал тов. Бухарин. Для людей, работающих в области теории марксизма, не составляло никакого секрета, что тов. Бухарин по некоторым основным общетеоретическим философским вопросам не остался на позициях Маркса и Ленина, но пытается «дальше развивать» их взгляды. Но в глазах широких масс читателей он казался верным последователем Маркса—Ленина. Это происходило потому, что для широких масс политическая роль тов. Бухарина, которая по заслугам принадлежала ему до самого последнего времени (пока он не стал идеологом правого уклона), служила гарантией теоретической ортодоксии. Но стоит лишь внимательно ознакомиться с курсом «Теории исторического материализма», получившим чрезвычайно широкое распространение, чтобы даже у не совсем

[1] Из резолюции по докладу А. М. Деборина «О современных проблемах философии марксизма-ленинизма».

подготовленного читателя начали закрадываться сомнения относительно чистоты марксистских риз у тов. Бухарина. По крайней мере, учащаяся молодежь, изучающая исторический материализм по учебнику Бухарина, всегда осаждает своих руководителей вопросами, явно говорящими о таких сомнениях. Нынешняя ошибочная политическая позиция т. Бухарина без лишних доказательств говорит за то, что его расхождения с диалектикой мстят за себя. Теория не догма, а живое руководство в действии. Ошибки в теории влекут за собой, рано или поздно, ошибки в практической политической деятельности. Так было с Богдановым, так было с рядом других политических фигур. Так было, так будет. Чтобы не повторять этих ошибок, нужно знать их.

* * *

Курс «Теории исторического материализма» тов. Бухарин начинает с изучения *связей* в общественных явлениях. Он устанавливает, что по этому вопросу существует два основных решения: каузальное и телеологическое. Каузальное—всюду усматривает причинную связь явлений; телеологическое—целесообразную (целевую) связь явлений. Давая яркую критику телеологической точки зрения, тов. Бухарин доказывает, что общественные явления, подобно явлениям природы, подчинены только причинной обусловленности. «Когда мы хотим, — говорит он,—объяснить *любое явление* и в том числе *любое явление общественной жизни*, нам приходится неизменно ставить вопрос о причине (курсив наш—*Н. Б.*). Все попытки телеологического якобы объяснения на самом деле являются лишь отражением религиозной *веры* и ровно ничего не объясняют. Таким образом на основной вопрос, какова же закономерность явлений природы и общества, что за правильность, которую мы наблюдаем и тут и там, ответ гласит: *и в природе и в обществе существует объективно (т. е. независимо от того, желаем ли мы этого или нет, сознаем мы это или не сознаем) причинная закономерность явлений*» (курсив тов. Бухарина—*Н. Б.*) [1].

Дальше тов. Бухарин выясняет *характер* причинной связи. Вопрос, в самом деле, в высшей степени существенный. Если все связи явлений природы и общества являются причинными связями, если *любой закон* в основе своей имеет причинную последовательность явлений, то какие отличительные признаки этой универсальной законосообразности? Вот ответ, который дает тов. Бухарин: «Что же такое причинный закон? Это есть необходимая, постоянно и повсеместно наблюдаемая связь явлений: если, например, температура тела повышается, то расширяется его объем; если жидкость нагреть достаточно сильно, она превращается в пар; если выпускать громадное количество бумажных денег сверх потребности в них, тогда происходит их обесценение; если существует капитализм, то обязательно время от времени будут войны; если в стране мелкое производство существует наряду с крупным, то крупное в конце-концов побеждает; если пролетариат начинает атаку на капитал, капитал обороняется всеми средствами; если производительность труда растет, то падают цены, если в человеческий организм ввести определенное количество яда, он умирает и т. д. и т. д. Словом, можно сказать, что всякий причинный закон выражается в положении (в формуле): *если налицо есть такие-то явления, то обязательно будут и соответствующие им другие явления*» [2].

[1] *Бухарин, Н.* Теория исторического материализма, 1922, с. 27.
[2] Там же, с. 27—28.

Здесь изложено в самом общем, абстрактном виде понятие механической причинности. О механической точке зрения тов. Бухарина мы будем иметь случай высказаться более подробно ниже. Сейчас нам важно отметить два пункта: 1) по утверждению тов. Бухарина при объяснении *любого* явления и *любого* закона «приходится неизменно ставить вопрос о причине» и 2) причинная связь явлений выражается в однозначном следовании одних событий за другими.

Вопрос до крайности упрощен. А вслед за упрощенством тов. Бухарин впадает и в прямую ошибку.

Верно, что не может быть ни одного события без причины или совокупности причин, его породивших. Но отсюда еще далеко до того, чтобы, во-первых, все связи исчерпывались причинными связями, и чтобы, во-вторых, определение причины сводилось к той однозначной последовательности во времени, о которой говорит тов. Бухарин в своем определении.

Реальная действительность гораздо богаче связями, чем каузальная (причинная) связь. Переход от причины к следствию есть лишь одна из многих связей. Связь количества и качества, явления и сущности, единства и противоположности и т. д., переходы не только одного в другое, например, причины в следствие, количества в качество, но и обратно, т. е. взаимопереходы,—все эти связи, без познания которых нельзя считать ни одно явление постигнутым во всей его реальности, не покрываются понятием однозначной причинной последовательности. «Так, например, движущийся камень,—говорит Гегель,—есть причина; его движение есть некоторое обладаемое им определение, вне которого он содержит в себе еще многие другие определения цвета, внешнего вида и т. д., которые не входят в состав его причинности» [1]. По поводу этих слов В. И. Ленин пишет: «Каузальность, обычно нами принимаемая, есть лишь малая частичка всемирной связи» [2]. И дальше он добавляет: «Когда читаешь Гегеля о каузальности, то кажется на первый взгляд странным, почему он так сравнительно мало остановился на этой излюбленной кантианцами теме. Почему? Да потому, что для него каузальность есть лишь *одно* из определений универсальной связи, которую он гораздо глубже и всестороннее охватил уже раньше, во *всем* своем изложении, *всегда* и с самого начала подчеркивая эту связь, взаимопереходы и т. д.» [3].

Каждое явление, каждое событие имеет целый ряд определений, связей, опосредствований. Причинная опосредствованность составляет необходимую, но всего лишь одну из сторон явления, далеко не исчерпывающую всех его связей. Когда берется только одна причинная последовательность и притом в том механическом толковании, как она представлена у тов. Бухарина, то подход к вещам и их процессам получается абстрактный, не конкретный, ибо все другие связи, создающие всю сумму реальных условий, а следовательно и своеобразие данного явления, остаются в стороне, игнорируются.

Поэтому конкретный анализ, примеры, приводимые тов. Бухариным, абстрактны, бедны конкретным содержанием, не показательны. Он говорит: «если существует капитализм, то обязательно время от времени будут войны». Разве здесь вскрывается действительная причинность? Разве таким анализом можно опровергнуть телеологическую точку зрения и выяснить

[1] *Гегель*, Наука логики, с. 141.
[2] *Ленин*, Конспект «Науки логики», Ленинский сборн., кн. 9, с. 162—163.
[3] Там же, с. 167.

преимущество метода «научной причинности»? Войны существовали до капитализма, войну может вести пролетарское государство, войны происходят при капитализме не при всяких обстоятельствах. Тов. Бухарин говорит не о реальной причинности, не о реальных условиях, порождающих те или иные явления, а вообще и абстрактно. Неизбежным следствием отсюда является метафизическое понимание причинности, изолированные ряды причин и следствий.

Такое упрощенное толкование основных категорий действительности не может быть оправдано задачами популяризации. В марксистском учебнике нельзя рекомендовать неправильные методы изучения явлений. А к этому как-раз и сводится дело. В «Теории исторического материализма» тов. Бухарина мы имеем наряду с простым, популярным изложением (положительная сторона учебника) упрощенную неправильную методологию. Об этом говорит только-что указанная формулировка, характеристика закона причинности. На это же указывает и то, что механическими причинными связями у тов. Бухарина исчерпываются все возможные связи мира.

Вопрос о причинности можно еще поставить иначе: существует ли причинность одного типа—типа механической причинности, о которой говорит тов. Бухарин, или возможны и другие типы причинности?

Оказывается, помимо всех ограничений, которые мы установили для механической причинности выше, существует еще одно ограничение, на этот раз в такой области, где, казалось бы, принцип механической причинности господствует целиком и полностью—в области механики, правда, не в обычной механике, а микромеханике. Тов. Деборин, опираясь на исследования выдающихся физиков, указывает, что в области внутриатомных явлений закон механической причинности в его обычном виде не применим. Движение электрона не поддается однозначному определению. Относительно каждого данного электрона нельзя определить, в каком месте в определенный момент времени он будет находиться, хотя вполне определенно можно исчислить *средние* данные, среднее количество квантовых скачков в известный промежуток времени. Таким образом открывается новое понятие причинности—понятие *статистической* причинности, проявляющейся не в каждом отдельном движении и толчке, а в средних величинах, при наличии определенного числа движений.

В рамки механического мировоззрения такая причинность не укладывается. Механизм в силу своей односторонности или игнорирует такие связи, или поддается мистицизму и готов видеть в движении электрона произвол и свободную волю (электрона). Напротив, диалектическое мировоззрение в статистической причинности видит лишь новое подтверждение точки зрения единства противоположностей, единства разнообразных связей и взаимозависимостей. «Противоположность между динамической закономерностью и закономерностью статистической,—говорит тов. Деборин,—покоится на противоположности между непрерывным характером процессов макрокосмоса и прерывным характером внутриатомных процессов. Очевидно, разрешение проблемы лежит в плоскости сближения или «совмещения» прерывности с непрерывностью» [1].

Позиция тов. Бухарина в вопросе о причинности есть позиция механистов. Именно для количественной, механической точки зрения характерно всякую связь, любой закон сводить к механической причинности. Это свой-

[1] См. его доклад «Современные проблемы философии марксизма», с. 28—30.

ство механистов составляет ту первую их ограниченность, на которую в свое время указывали Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Это—та ограниченность, которая заставляет Аксельрод видеть в механической причинности душу современного «диалектического» материализма и толкает И. И. Степанова-Скворцова на бесплодные попытки «сведения» всех форм органической и социальной жизни к простым физико-химическим законам. Таким образом на одном этом частном вопросе видно, что тов. Бухарин не одинок в своей позиции и его молчание во время борьбы диалектиков-материалистов с механистами было лишь дружественным нейтралитетом в пользу механистов.

Из сказанного также следует, что ошибки тов. Бухарина в вопросе о причинности проистекают из его общей ошибочной позиции в вопросах методологии. Мы сейчас перейдем к рассмотрению его точки зрения на случайность и снова убедимся в подлинности данного утверждения.

Что такое случайность с точки зрения механистов? «Противоположную позицию занимает детерминизм, перешедший в естествознание из французского материализма (как известно, *механического* материализма—*Н. Б.*) и рассчитывающий покончить со случайностью тем, что он вообще отрицает ее. *Согласно этому воззрению в природе господствует лишь простая, непосредственная необходимость* (курсив наш—*Н. Б.*); что в этом стручке пять горошин, а не четыре или шесть, что хвост этой собаки длиною в пять дюймов, а не длиннее или короче на одну линию, что этот клеверный цветок был оплодотворен в этом году пчелой, а тот нет, и притом этой определенной пчелой в это определенное время, что это определенное, унесенное ветром семя львиного зева взошло, а другое нет, что в прошлую ночь меня укусила блоха в 4 часа утра, а не в 3 или 5, и притом в правое плечо, а не в левую икру,—все это факты, которые вызваны неизменным сцеплением причин и следствий, связаны незыблемой необходимостью, и газовый шар, из которого возникла солнечная система, был так устроен, что эти события могли произойти так и не иначе» [1]—так характеризует Энгельс взгляд механистов на случайность. Для них случайности в реальном виде не существует. Всеобщая механическая причинность, всеобщее причинное сцепление событий исключает случайные явления. Случайность тождественна беспричинности; беспричинных же явлений, как известно, не существует. Даже укус блохи в определенное время определенного человека в определенное место обусловлен некими причинами и, следовательно, не случаен. Таков взгляд всех механистических теорий, начиная с французских материалистов XVIII века и кончая современными продолжателями их.

«В противовес этим взглядам,—продолжает Энгельс,—выступает Гегель с неслыханными до того утверждениями, что *случайное имеет основание*, ибо оно случайно, но точно так же не имеет основания, ибо оно случайно; что случайное необходимо, что необходимость сама определяет себя как случайность, и что, с другой стороны, эта случайность есть скорее абсолютная необходимость» [2]. В довершение всего Энгельс ссылается на открытия Дарвина, в которых, по его мнению, большую роль сыграли наблюдения и изучения «случайных различий индивидов внутри отдельных видов, различия, которые могут усиливаться до изменения самого характера вида».

[1] *Энгельс*, Диалектика природы, «Архив Маркса-Энгельса», кн. 2, с. 191—193.
[2] Там же, с. 193—195.

Таким образом мы имеем две точки зрения на случайность, изложенные словами признанного основоположника и теоретика марксизма—Ф. Энгельса. Мы сознательно прибегли к длинным выпискам из «Диалектики природы», чтобы избегнуть возможных упреков в искажении и т. д. Остается спросить, к какой из указанных точек зрения на случайность склоняется тов. Бухарин. Стоит ли он на точке зрения механического материализма или придерживается учения Гегеля и солидаризирующегося с ним Энгельса?

Тов. Бухарин целиком и вполне разделяет положения механистов. Случайности по его мнению не существует. «Явления могут *представляться* нам «случайными», поскольку мы недостаточно знаем их причины» [1]. Поэтому тов. Бухарин считает возможным говорить лишь о «так называемой случайности», ибо действительной случайности, благодаря всеобщей детерминированности явлений, не существует. Тов. Бухарин обстоятельно анализирует «так называемые» случайности («на улице «случайно» переехали человека; кого-нибудь убило свалившимся с крыши кирпичом; случайно я купил редчайшую книгу, или случайно в незнакомом городе встретился с человеком, которого не видал двадцать лет и т. д.») и приходит к заключению, что случайностью мы называем явления, которые на самом деле произошли не случайно, а вполне закономерно, но относительно которых мы не знаем всех перекрещивающихся причинных рядов [2].

Тов. Бухарин борется с телеологическим взглядом на природу общества. Но механический метод очень плохое оружие в этой борьбе. Утверждение, что все имеет свою причину и случайностей не бывает, имеет такую же познавательную ценность, по словам Энгельса, как учение Августина и Кальвина об извечном предопределении бога. Как в первом, так и во втором случае мы далеки от знания реальных связей, а следовательно, далеки от действительно научной точки зрения на мир.

Чтобы выйти за пределы телеологических и иных всякого рода метафизических представлений, нужно знание всей совокупности реальных условий для объяснения того или иного интересующего нас явления. Но здесь-то и обнаруживается все бесплодие, полное крушение механического метода. Согласно последнему нет разницы между так называемой случайностью и необходимостью. Все явления необходимы; они «могут *представляться* нам «случайными», поскольку мы недостаточно знаем их причины» (Бухарин). Следовательно в познании действительности у нас нет никакого

[1] «Теория исторического материализма», с. 42.

[2] Некоторые колебания тов. Бухарин начинает испытывать, когда переходит к исторической случайности. Здесь он делает такого рода замечание: «Таким образом здесь под словом «историческая случайность» понимается обстоятельство, которое не играет важной роли в цепи общественных событий: если бы его не было, то картина дальнейшего развития изменилась бы настолько мало, что ее никто бы и не заметил. В данном примере: война была бы и без убийства эрцгерцога, ибо вовсе не в этом убийстве была «суть дела», а в обостреннейшей конкуренции империалистических держав, которая в развитии капиталистического общества становилась с каждым днем резче» (с. 43). Здесь же он замечает, что совокупность случайностей может в свою очередь существенно влиять на последующие события. Приведенный им затем пример с влиянием случайных колебаний на рыночные цены, на устойчивое изменение этих цен мог бы блестяще подтвердить эту новую для Бухарина мысль, но он сейчас же «исправляет» самого себя, возвращаясь к своему основному утверждению, что «все эти события *одинаково не случайны*, одинаково причинно обусловлены, т. е. одинаково причинно необходимы» (с. 44). Таким образом тов. Бухарин остался верным позиции механистов. Случайные колебания в сторону новой точки зрения на случайность так и остались в его системе взглядов случайными колебаниями, не перешедшими в существенную и необходимую часть его системы.

объективного мерила для изучения одних связей и для оставления в стороне других связей, ибо все необходимо, все одинаково существенно; случайного объективно не существует. Ботаник должен, примерно, с одинаковым рвением изучать как классификацию растений, так и вопрос о том, почему в этом стручке пять горошин, а не шесть, почему этот клеверный цветок был оплодотворен в этом году пчелой, а тот нет и т. д. Но для всех понятно, что наука таким путем превращается в простую игру.

Случайность необходима, ибо всякое явление причинно обусловлено. Но в той же мере случайность случайна, ибо она не составляет существенного в данном ряду событий или явлений. Поэтому случайность не субъективная категория, как это выходит по толкованию механистов, а категория реальная, имеющая сугубо важное значение в научном познании, опирающемся на объективные признаки явлений.

Чтобы выйти за границы телеологического взгляда на природу, нужно отказаться от фаталистического механистического понимания всеобщей необходимости. Нужно поставить на место этого ничего не говорящего утверждения знание реальных условий изучаемого явления, а для этого необходимо из всего необозримого множества различных связей и отношений выделить все случайное, оставив для изучения лишь существенно необходимое. Стакан, разъяснял в свое время Ленин, имеет множество определений, из всей суммы этих определений нужно взять те определения, которые являются существенными в данной связи событий. При этом требуется подчеркнуть, что выделение необходимого и случайного совершается не по субъективному выбору исследователя, а в зависимости от объективных взаимосвязей. В данном случае стакан рассматривается в связи с необходимостью обслуживать аудиторию в качестве питьевого сосуда, следовательно, существенными качествами является то, что он цел, чист и т. д., а случайными, что он весит 100 грамм, а не 150 грамм, что он цилиндрической, а не конусообразной формы и т. д., и, наоборот, в других реальных условиях именно эти случайные сейчас свойства окажутся существенными, а свойства, существенные сейчас, будут случайными. Случайность переходит в необходимость, необходимость в случайность. Чарльз Дарвин изучал изменения видов, и он установил, что случайные для данного вида различия индивидов, усиливаясь, ведут к образованию вида, для которого они уже являются существенными и необходимыми.

Но здесь, как и в вопросе о причинности, мы вплотную подходим к более широким вопросам—к пониманию т. Бухариным диалектических категорий вообще, их связей, их взаимопереходов. «В некоторых довольно существенных пунктах автор,—говорит про себя тов. Бухарин,—отступает от обычной трактовки предмета, в других он считает возможным не ограничиваться уже известными положениями, а развивать их дальше; было бы странно, если бы марксистская теория вечно топталась на месте. Но всюду и везде автор продолжает традиции наиболее ортодоксального материалистического и революционного понимания Маркса» [1]. Первая половина цитаты вполне соответствует истине и исключает правильность второй половины. На примере двух выше разобранных вопросов (причинность, случайность и необходимость) мы уже успели воочию убедиться, насколько тов. Бухарин «отступает» от ортодоксального диалектического материализма

[1] «Теория исторического материализма», Предисловие, с. 6.

на позиции механического материализма. Самым же существенным пунктом, в котором автор «отступает» от ортодоксальной марксистской трактовки вопроса, является учение о диалектике. К этому пункту мы сейчас и переходим.

* * *

После появления нескольких критических статей на книгу тов. Бухарина, последний писал о породе людей, запоминающих одни слова и не понимающих их содержания, недвусмысленно давая этим понять, что критикующие не оценили его попытки «с одной стороны, дать некоторые *другие формулировки* того же самого (ортодоксального марксизма—*Н. Б.*), с другой,—*уточнить* и *развить* положения теории исторического материализма, *продвинуть дальше* разработку его проблем» [1]. Речь идет прежде всего о попытках тов. Бухарина теорию диалектики заменить механическою теориею равновесия. Имеем ли мы здесь налицо, как утверждает тов. Бухарин, только другие формулировки, или же ревизию Маркса—Ленина? Мы склонны придерживаться второго мнения. Дабы читатель имел возможность проверить, идет ли спор о терминологии или о принципах методологии, нам придется возможно точно изложить теорию равновесия тов. Бухарина.

Изложение диалектического метода тов. Бухарин начинает (см. § 21) с указания двух точек зрения на природу и общество: *статической*, рассматривающей все в состоянии покоя, неизменности, неподвижности, и *динамической*, полагающей основной принцип бытия в движении и изменении. Подвергнув анализу несколько примеров, автор приходит к утверждению, что «движущая материя—вот что мир». Применяя далее (§ 22) это общее положение к общественным явлениям, тов. Бухарин формулирует три методологические требования: «во-первых, нужно каждую такую форму общества понять и исследовать в ее своеобразии» (с. 70). «Во-вторых, нужно такую форму изучать в процессе ее внутреннего изменения» (с. 71). «В третьих, необходимо каждую форму общества рассматривать в ее возникновении и в ее необходимом исчезновении, т. е. в ее связи с другими формами». В этих трех законах тов. Бухарин конкретизировал свою общую динамическую точку зрения. Пока мы не имеем почвы для разногласий с тов. Бухариным. Движение и для нас является универсальным принципом бытия. В свою очередь движение предполагает взаимную связь явлений друг с другом, так как оно есть переход одного состояния в другое, третье и т. д. А чтобы понять каждую ступень движения, нужно изучить каждую такую ступень со стороны ее отношений и связей, следовательно в ее своеобразии. Точно так же нельзя возражать и против третьего требования изучать каждую форму в процессе ее внутреннего изменения, ибо если движение является универсальным принципом бытия, то оно касается не только внешнего состояния вещей, но, очевидно, и внутреннего. Любая вещь не только находится в движении по отношению к другим вещам (перемещение), но и ее внутренние свойства и отношения, очевидно, также подвергаются беспрерывным изменениям.

Как видит всякий, тов. Бухарин пока излагает лишь то, что можно найти в любом марксистском учебнике. Но вот он задается целью дать «тому же самому» новые формулировки—«уточнить» и «продвинуть дальше».

[1] *Бухарин, Н.*, К постановке проблем теории исторического материализма, сб. «Атака», с. 115.

Как нужно представлять закон всеобщего изменения? «Что является внутренней пружиной движения, изменения? Как нужно, в частности, понимать учение Гегеля о внутренних противоречиях, обусловливающих постоянные перемены?» Нет сомнения, что, отвечая на эти вопросы, тов. Бухарин подходит к самой сути методологии. В зависимости от того, как будет понят *характер* всеобщего движения и изменения, определится и точка зрения методологии,—она будет *механической*, если всеобщее изменение представит в *понятиях* механического движения, или она будет *диалектической*, если не ограничится одной формой движения и одной формой противоречий—механической, но в каждом виде явлений, на каждой ступени бытия найдет своеобразную форму движения и противоречия, качественно отличную от иных форм и противоречий, в частности от механических.

Тут на сцену выступает теория равновесия. В мире действуют различные силы, находящиеся в постоянном столкновении. Если силы равны, создается равновесие, покой. Равновесие постоянно нарушается и вновь восстанавливается. Тезис, антитезис и синтез Гегеля и есть не что иное, как первоначальное состояние равновесия, нарушение равновесия и восстановление равновесия на новой основе. Это движение происходит в форме взаимодействия, в форме противоречия между системой и средой. Любая вещь—камень, организм, общество—является своего рода системой, окружающие явления—средой. Взаимодействие между системой и средой может происходить по трем главным типам: 1) устойчивое равновесие, когда «противоречие между средой и системой постоянно воспроизводится *в том же самом количественном соотношении*» (курсив Бухарина—*Н. Б.*); 2) подвижное равновесие с положительным знаком, когда противоречие восстанавливается всякий раз на новой основе, означающей развитие системы; 3) подвижное равновесие с отрицательным знаком, т. е. восстановление нарушенного равновесия на основе деградации системы. Пример первого типа отношений: живущие в степи животные каждый год остаются в одном и том же количестве, так как среда—количество пищи, хищные животные и т. д.—пребывают в том же числе. Если же количество пищи увеличится, а количество хищников уменьшится, то мы будем иметь подвижное равновесие с положительным знаком: количество данных животных, вследствие благоприятных условий, увеличится. Наоборот, если количество пищи сократится, а хищники умножатся, то, очевидно, мы будем иметь налицо третий тип отношений: деградацию системы—уменьшение количества наших животных.

В таком виде обоснована и изложена теория диалектики у тов. Бухарина. Причем, по его словам, выходит, что теория равновесия знаменует такой же шаг вперед в разработке теории диалектики, какой был сделан Марксом по отношению к Гегелю. Маркс освободил диалектику Гегеля от мистической оболочки. На долю тов. Бухарина осталось вскрыть «материальный корень диалектики, т. е. *в формах движущейся материи находить то, чему «соответствует» диалектическая формула Гегеля*. Непрестанное столкновение сил, распад, рост систем, образование новых и их собственное движение,—другими словами, процесс постоянного нарушения равновесия, его восстановление на другой основе, нового нарушения и т. д.—вот что *реально* соответствует гегелевской триединой формуле» [1]. Страницей раньше

[1] *Бухарин, Н.*, К постановке проблем теории исторического материализма, сб. »Атака», с. 117.

тов. Бухарин намекает, что дополнение, сделанное им к марксизму (механическая точка зрения, теория равновесия), опирается на последние достижения в области естественных наук, особенно на открытия в области строения материи.

Теория равновесия, изложенная здесь почти-что в выражениях самого автора, покоится целиком и полностью на механических представлениях. Сведение всех форм движения к действиям различных направленных друг против друга сил; объяснение гегелевского внутреннего противоречия борьбой количественно разных сил; замещение диалектического развития восстановлением и нарушением равновесия—все это означает не что иное, как распространение масштаба механики на всю область действительности.

Механика оперирует скоростями и массами. Всякое движение она рассматривает с количественной стороны: со стороны произведения скорости и массы. Всякое взаимодействие в механике означает борьбу разных сил. Поэтому все механические движения можно свести к равновесию и нарушению равновесия[1]. Для механики качества не существует. Не существует качества и для теории равновесия. Всякое изменение она представляет как уменьшение или увеличение. Для иллюстрации теории равновесия т. Бухарин дает ставший широко известным пример с животными, находящимися в степи. Животные будут испытывать, по его мнению, изменения в зависимости от изменений среды. Если количество пищи и хищников не будет изменяться, то и данные животные будут пребывать в неизменном количестве. Наоборот, увеличение или уменьшение пищи и хищников повлечет за собой также увеличение или уменьшение и числа наших животных. Во всем этом примере теорию равновесия интересуют только количественные отношения. Она не пытается даже поставить вопрос о качественном изменении, вопрос о развитии.

Итак теория равновесия—теория количеств; она исключает качественную точку зрения; она пытается распространить масштаб механики на все формы действительности без исключения, в том числе на органические и социальные. В этом ее ограниченность. У тов. Бухарина эта ограниченность ярко сказалась в том, что в теории диалектики, названной им (вернее

[1] В этом убедиться не трудно. Так Ньютон устанавливает три закона движения. Каждый закон движения можно рассматривать, как равновесие и нарушение равновесия. Первый закон гласит: «Каждое тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если оно не бывает вынуждено действующими на него силами изменить это состояние». Переложите это на терминологию тов. Бухарина, назовите покоящееся или равномерно и прямолинейно движущееся тело системой, а действующие на него силы средой и вы получите формулировку равновесия и нарушения его. Если действующие внешние силы (среда) не превышают силы покоящегося или равномерно и прямолинейно движущегося тела, то оно будет продолжать находиться в покое или сохранять свое первоначальное движение. В противном случае равновесие нарушается, т. е. нарушается покой неподвижного тела или направление движущегося тела.

Еще очевиднее происхождение теории равновесия из представлений механики, если вспомнить два другие закона движения Ньютона. Здесь говорится о пропорциональности изменения движения действующим силам и о равенстве действия и противодействия. Иначе говоря, речь идет о количественном соотношении различно направленных и действующих друг на друга сил, о чем и трактует теория равновесия тов. Бухарина. В самом деле, второй закон гласит: «Изменение движения пропорционально воздействию движущей силы и происходит в направлении той прямой линии, в которой эта сила действует». Третий закон: «Действие всегда равно противодействию, или действия двух тел друг на друга всегда равны и противоположным образом направлены».

подмененной) теорией равновесия, он даже не сделал попытки поставить вопрос о различных формах мира физического, органического и социального. А между тем для диалектики эта проблема является одной из центральных проблем. Установить развитие мира как переход от простейших форм к более сложным, исследовать каждую форму бытия во всем ее своеобразии, в ее качественной специфичности, найти для каждой такой формы присущие только ей связи и законы изменения и одновременно проследить для всего разнообразия форм единую основу, единый стержень—это и значит установить диалектическую точку зрения на мир, выполнить основную задачу диалектики.

Насколько теория равновесия далека от того, чтобы служить изложением и обоснованием диалектики, видно из следующего сопоставления.

В «Теории исторического материализма» в поучение юношества прописано, что «любую вещь—будь ли то камень, или живой предмет, или человеческое общество, или что-либо другое»—можно изучать в рамках или, лучше сказать, по типу тех отношений, которые устанавливаются теорией равновесия. Значит, к неорганическим, органическим, психическим и социальным явлениям приложимы одни и те же законы—законы механики.

Основоположники марксизма и ортодоксальные его продолжатели (например, Ленин) держались, однако, иных взглядов. Законам механики они отводили определенную область—область перемещения тел, находя для каждого иного вида изменений еще особые законы. В соответствии с этим Энгельс и говорит: «Называя физику механикой молекул, химию—физикой атомов, и далее биологию—химиею белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а *также различие между обеими областями*. Итти же дальше этого, называть химию своего рода механикой, по-моему, нерационально» [1] (курсив мой—*Н. Б.*). Почему же однако законы механики не являются достаточными для физики, химии, биологии и т. д.? Почему даже в ближайшей к механике области, физике, законы механики должны видоизменяться (я не говорю уже о других более удаленных сферах, где законы простого перемещения тел имеют все более и более отдаленное значение)? В дальнейших словах Энгельса мы получаем исчерпывающий ответ: «Механика—в более широком или узком смысле слова—знает только количества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем случае, объемами. Там, где на пути у нее стоит качество,—как, например, в гидростатике и аэростатике,—она не может притти к удовлетворительным результатам, не вдаваясь в рассмотрение молекулярных состояний и молекулярного движения; она сама только простая вспомогательная наука, предпосылка физики. Но в физике, а еще более в химии, не только происходит постоянное качественное изменение в результате количественного изменения, не только наблюдается переход количества в качество, но приходится также рассматривать множество изменений качества, относительно которых совершенно не доказано, что они вызваны количественными изменениями. Можно охотно согласиться с тем, что современная наука движется в этом направлении, но это вовсе не доказывает, что это направление единственно правильное, что, идя этим путем, мы *исчерпаем* до конца физику и химию. Всякое движение заключает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших частей материи, познать эти механические движения является

[1] *Энгельс*, Диалектика природы, «Архив», кн. 2, с. 143.

первой задачей науки, однако лишь первой. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще» [1].

Излишне продолжать разбор позиции тов. Бухарина в этом же направлении. Об ограниченности механической точки зрения достаточно определенно высказались в свое время Энгельс, Ленин, Плеханов. В наше время количественная концепция вновь подвергнута исчерпывающей критике тов. Дебориным и всей его «школой» в споре с современными механистами. В противовес попыткам покойного Степанова и других свести все формы действительности к простым физико-химическим законам, тов. Деборинымвновь с силой выдвинута проблема качества. Таким образом поскольку тов. Бухарин здесь стоит на общей всем механистам позиции, нет надобности дальше продолжать выяснение этого достаточно выясненного положения.

* * *

Мы укажем в двух словах на те следствия, которые вытекают из количественной концепции. Прежде всего, нужно сказать, что количественная точка зрения исключает теорию скачкообразных изменений и, следовательно, не «вмещает» *теорию* революции. У тов. Бухарина есть особый параграф (§ 24), посвященный теории скачкообразных изменений. Однако только теоретическая непоследовательность тов. Бухарина делает для него возможным говорить о «скачках» и революции. Скачкообразные переходы в природе и революционные изменения в обществе мыслимы только при допущении *качеств*. Количественная же точка зрения знает лишь постепенные, непрерывные переходы от меньшего к большему и обратно. Прерывность, скачок, революция означает *переход одного качества в другое качество*. Количественные изменения—*непрерывны*; они совершаются в пределах одного качества. Только в том случае, когда изменения перерастают границы данного *качества*, наступает перерыв, скачок или революция, так как налицо появляется *новое качество*. Правда, появление нового качества предполагает некоторые предшествовавшие количественные изменения. Но в свою очередь количество движется только в пределах качества, оно связано с ним, является его моментом. Количество независимо от качества не может создать перехода от одного к иному, ибо иное есть *иное качество*.

Между количеством и качеством не может существовать одного одностороннего перехода количества в качество. Наряду с этим переходом существует и другой переход—качества в количество. Качество и количество находятся во взаимодействии. У Бухарина эта связь как-раз представлена односторонне. Он всякое качественное изменение рассматривает под углом зрения количественного изменения. Вода путем увеличения температуры превращается в пар; цельная веревочка при усилении груза рвется на части; паровой котел в силу увеличения давления паров взрывается и т. д. Всюду т. Бухарин получает изменения качества путем количественного изменения. По существу ему, следовательно, и не нужно прибегать к скачкам и прерывности. Количественные изменения совершаются беспрерывно. Он говорит о скачках, будучи совершенно не в силах теоретически обосновать скачок. Скачок он приемлет *на веру*. Все, что он говорит о скачке, является на самом деле аргументом против скачка. Чтобы встать на точку зрения скачка, он должен был бы

[1] *Энгельс*, Диалектика природы, «Архив», кн. 2, с. 143.

прежде всего указать, что качество переходит в количество, что оно обладает определенным количеством, например, вода определенной температурой (от 0 до 100°), веревка определенной грузоподъемностью, котел определенной сопротивляемостью и т. д. В пределах данного качества количество не имеет никакого скачка, и лишь при переходе в другое качество наступает скачок, причем новое качество опять обладает определенным количеством, переходит в него, оставаясь к нему безразличным. Иначе говоря, при диалектической постановке вопроса, единственно способной обосновать прерывность, скачок, нужно итти не исключительно только по линии объяснения качественных изменений путем количественного роста или уменьшения; на этом пути не обосновать скачка; чтобы скачок стал понятен, нужно показать, как количество зависит от качества; нужно показать, как качество «обладает» определенным количеством, каковое меняется в зависимости от качества. Только в этом случае количественная непрерывность отступает перед качественной прерывностью, перед скачком от одного качества к другому. У тов. Бухарина этого нет.

* * *

Теория равновесия обнаруживает крупный недостаток еще в одном пункте. Несмотря на обещания тов. Бухарина, что теория равновесия вскроет *материальный* корень диалектики, т. е. укажет на реальную основу всякого изменения и тем самым освободит «мировоззрение (очевидно диалектический материализм—*Н. Б.*) от *телеологического* привкуса, неизбежно связанного с гегелевской формулировкой, которая покоится на *саморазвитии* «духа»—несмотря на такое обещание мы так-таки и не получаем ясного и убедительного ответа на вопрос о реальной основе любого изменения. Поясним примером. Тов. Бухарин указывает, что изменение любой системы—камень, животное, общество и т. д.—совершается под воздействием среды. Например, животные изменяются (их количество увеличивается или уменьшается—как будто только в этом и может состоять их изменение!) в зависимости от количества пищи и хищников; народонаселение страны может измениться тоже только при условии изменения соотношения между обществом и природой и т. д. Легко, однако, понять, что изменения в «системе» большей частью не могут быть сведены к изменениям «среды».

Биологический закон борьбы за существование указывает, что изменение в животных видах имеет свое реальное основание не столько в изменениях среды, сколько в наличии отдельных, порой случайных, изменений в индивидах. Каждый вид животных при размножении имеет в своих индивидах бесконечное разнообразие мелких и мельчайших изменений, не обусловленных непосредственно средой. Если те или иные новые признаки, появившиеся у отдельных индивидов, способствуют борьбе за существование, то индивиды этого рода, в силу естественного отбора, будут выживать и давать потомство более приспособленное к существованию. Таким образом может случиться, что при уменьшении пищи и при увеличении хищников данный вид животных все же будет количественно расти (конечно, нужно взять период времени не в один год, а достаточный для развития и закрепления новых свойств этих животных).

Во всяком случае «система» уже по одному этому не может изменяться в равной пропорции к изменениям «среды», и в действительности такой

пропорции в изменениях никогда не существует. Это в особенности относится к обществу. Общество чрезвычайно быстро изменяется, тогда как среда (природа) остается почти неизменной. При изучении развития общества можно, не погрешая против истины, исходить из предположения неизменности среды. И даже больше. Большинство изменений, наблюдаемых в природе, являются не причиной, а следствием изменений общества. На протяжении последних десятилетий природа заметно не изменилась ни в отношении климата, ни в отношении естественных богатств. Общество же в последние десятилетия, особенно с половины XIX в., пережило глубокие изменения в области развития производства, социально-правового строя, культуры и т. д. Под влиянием этих изменений произошли некоторые изменения и в природе. В силу роста техники, в силу развития новых производств, увеличения народонаселения, завоевания все новых и новых областей природы для использования в нуждах человечества, кое-где значительно изменился ландшафт природы, изменились в некоторых частях земного шара флора и фауна и т. д. Если леса, несколько сот лет тому назад покрывавшие большую часть Европы, сошли теперь на-нет; если дикий олень, изюбрь, лось стали в Европе большой редкостью; если внешность земли изменилась от железных дорог, телеграфа и пр. достижений техники,—то все это произошло под влиянием развития общества.

Одним словом, реальное, материальное основание для изменений системы не приходится искать в соотношении («равновесии») системы и среды. Нужно исследовать внутреннее, имманентное развитие системы. Тогда будут объяснимы и многие изменения в соотношении системы и среды. Материальный корень изменений нужно искать не во-вне «системы», а в ней самой. Существуют, говорит В. И. Ленин, «две основные (или две возможные или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции): развитие—как уменьшение, и увеличение—как повторение. И развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними). Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая—жизненна. *Только* вторая дает ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового» [1].

Не в бровь, а в глаз. Тов. Бухарин придерживается первого вида концепции. И его теория, действительно, носит на себе все следы сухости и мертвенности. Она не в силах объяснить скачок, возникновение нового. Всякая действительность есть саморазвитие, самодвижение. Именно на это Ленин и указывает дальше: «При первой концепции движения остается в тени самодвижение, его двигательная сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится *во-вне*—бог, субъект и т. д.). При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание *источника «само»*-движения» [2].

Тов. Бухарин игнорирует «качество» предмета, его своеобразную форму и внутреннее развитие. Он полагает, что все это носит телеологический привкус гегелевского саморазвития «духа». Борясь против идеалистической телеологии, он объявляет борьбу и диалектике. Вместо материального корня развития действительности он хватается за убегающую

[1] *Ленин*, К вопросу о диалектике, «Большевик», 1925 г., № 5—6.
[2] Там же.

тень. Дело в том, что путем внешнего, механического воздействия, толчка можно передать только количество движения, сообщить механические изменения. Изменение же качества совершается путем развития внутренних противоречий. Изменение в соотношении классов в России, произведенное Октябрьской революцией, обусловлено не тем, что рабочий класс («система») увеличивался благодаря якобы росту его материального благосостояния и якобы уменьшению его врагов—капиталистов; рабочий класс рос количественно и одновременно закалялся *политически* и *организационно* при наличии увеличивающейся эксплоатации его со стороны капиталистов, и этот процесс *политического и организационного* (т. е. качественного) роста рабочего класса был тем диалектическим, внутреннее противоречивым, основанным на саморазвитии процессом, который в общих чертах был мастерски набросан К. Марксом в «Коммунистическом манифесте».

В конспектах «Науки логики» Гегеля Ленин отмечает, что он старался понимать Гегеля материалистически, отбрасывая «дух», «боженьку». И вот при установке материалистически трактовать все категории и переходы гегелевской логики, Ленин отмечает, как «очень важное» «два основных (!) требования» Гегеля: «1) необходимость связи и 2) имманентное возникновение различий» [1]. То, в чем Ленин видит реальный принцип всякого материального процесса, Бухарин готов объявить «телеологическим привкусом». Напротив, там, где Бухарин ищет материальный корень диалектики, Ленин находит мертвенность, уход от жизни. Можем ли мы после этого поверить тов. Бухарину, что теория равновесия есть уточнение и развитие диалектического материализма, что она является по сравнению со всем, что было когда-либо сказано в этой области, наиболее «очищенной от идеалистических элементов формулировкой законов движущихся материальных систем?» [2] Поистине, нельзя судить о ком-нибудь по тому, что он сам о себе говорит.

* * *

Небезынтересно взглянуть, как с точки зрения теории равновесия освещаются отдельные проблемы исторического материализма. Будучи не в состоянии в рамках данной статьи следовать по пятам за тов. Бухариным и подвергнуть разбору проблему за проблемой, мы остановимся—и притом возможно кратко—лишь на проблеме производительных сил и проблеме идеологии.

Тов. Бухарина не удовлетворяет существующее среди марксистов решение о значении и роли производительных сил. «...Почему,—пишет он,—производительные силы привлекаются в качестве объясняющей все («в конечном счете») последней причины? Здесь, в марксистских рядах (в том числе и наших, ортодоксально-марксистских, коммунистических рядах) царит довольно сильный разнобой... Даже решение *Плеханова* (в «Монистическом взгляде») явно неудовлетворительно [3]. По Плеханову (в скобках же заметим, что и по Марксу, Энгельсу и Ленину, о чем тов. Бухарин дальновидно умалчивает) всякое изменение в обществе зависит в «конечном счете» от развития производительных сил. Тов. Бухарин задается вопросом: почему производительные силы сами должны меняться? Что определяет их разви-

[1] Ленинский сборник, IX, с. 49.

[2] *Бухарин Н.*, К постановке проблем теории исторического материализма, сб. «Атака», с. 118.

[3] Там же.

тие? Ответ для точности мы дадим в собственных выражениях автора: «ответ на этот вопрос—ответ, который я считаю единственно правильным—таков: производительные силы определяют общественное развитие *потому*, что они выражают собой соотношение между обществом, как определенной реальной совокупностью, и его средой... А соотношение между средой и системой есть величина, определяющая, в конечном счете, движение любой системы» [1].

Признаться, ответ получен не совсем прямой. Речь шла о том, *что* является основанием для развития самих производительных сил, а ответ дан на вопрос, *почему* производительные силы служат причиной всего общественного развития. Такое «уклонение» может быть невольное, но отнюдь не случайное. Разберемся.

Итак, производительные силы «*выражают*» соотношение, баланс между обществом и природой. Мы попадаем в самые недра теории равновесия. Общество есть определенное количество. Природа—другое количество. Эти два количества взаимодействуют, ведут борьбу. Их соотношение выражается в известном количестве материальной энергии, сиречь, производительных силах. Это количество материальной энергии, по мысли тов. Бухарина, определяет собой развитие (подвижное равновесие со знаком плюс), деградацию (подвижное равновесие с отрицательным знаком) или, наконец, застой (устойчивое равновесие) общества.

На самом же деле, по точному смыслу данной концепции, производительные силы (количество материальной энергии) являются *результатом* соотношения двух других количеств. Соотносятся, действуют система и среда. Баланс, соотношение, производительные силы—результат. Этот результат, конечно, определяет дальнейшее движение системы, но лишь как результат предыдущего движения, как плюс или минус на стороне системы.

Вот почему тов. Бухарин не ответил прямо на вопрос о том, *что* определяет развитие производительных сил. Ответ гласил бы, что производительные силы являются функцией системы, результатом ее отношения к среде. В примере с животными, живущими в степи и изменяющимися количественно под влиянием изменений среды, сама система (животные) являлась функцией среды. Теперь в количественном ряде появляется новая величина—производительные силы, выражающие соотношение двух первых величин (системы и среды). Если учесть, что в данном примере (последовательно или непоследовательно с точки зрения теории равновесия—это оставим в стороне) система активно относится, «приспособляется», как говорит тов. Бухарин, к среде, то можно представить новый количественный ряд в таком виде: система (z)—независимая переменная, среда (y)—постоянная величина и производительные силы (x)—функция, меняющаяся всякий раз, как изменяется система, показывающая то новое соотношение, которое наступило между системой и средой. Движение примет такой вид:

$$z \cdot y = x$$
$$2\,z \cdot y = 1{,}5\,x$$
$$4\,z \cdot y = 2x \text{ и т. д.}$$

Что же служит причиной, «последним основанием» исторического движения? Среда не может служить таким основанием, потому что чело-

[1] *Бухарин, Н.*, К постановке проблем теории исторического материализма, сб. «Аттака», с. 110.

век приспособляет ее к себе. Производительные силы не являются таким основанием, потому что они выражают лишь результат, успех, баланс («*количество* материальной энергии») приспособления человеком природы для своих целей. Основание исторического движения—в самом человеке. Перед нами законченная идеалистическая концепция. Разумеется, тов. Бухарин негодует. Он осыпает нас упреками и насмешками. Кое-кто готов ему сочувствовать. Но вдумаемся в следующие слова—и мы поймем, что вещи имеют свою логику, вне зависимости от того, правильно или неправильно мыслят об этих вещах отдельные субъекты; мы поймем, что теория равновесия тоже имеет свою логику, независимую от субъективных желаний автора. «Процесс общественного производства есть приспособление человеческого общества к внешней природе. Но он есть активный процесс. Когда какой-либо животный вид приспособляется к природе, то по сути дела он, как материал, подвергается постоянному воздействию среды (NB: подвергается внешнему воздействию как *материал*! *Н. Б.*); когда приспособляется человеческое общество, то оно приспособляется к среде, *приспособляя ее к себе*... Общество тратит свою трудовую, человеческую энергию и получает определенное количество усвояемой природной энергии («вещества природы», как выражался Маркс). Совершенно очевидно, что для развития всего общества решающее значение имеет тот баланс, который получается при этом». Далее тов. Бухарин показывает, как количество полученной материальной энергии, идущей на поддержание материального существования общества, является условием дальнейшего существования общества на суженной, расширенной или на той же самой основе. «Что же,—спрашивает в качестве итога тов. Бухарин,—во всех приведенных случаях самое достопримечательное? То, что развитие общества определяется успешностью, или, иначе, *производительностью общественного труда*»[1].

Рассматривая природу, общество, производительные силы как различные количества («совокупности») и только количества, видя в воспроизводстве общественной жизни только воспроизводство количественных отношений,—тов. Бухарин становится на такие позиции:

1. Природа, производительные силы, человеческое общество не составляют различных качеств, с различными, только им присущими формами движения; природа, производительные силы, человеческое общество—это один количественный ряд (x, y, z).

2. В этом ряду независимой переменной является человек, приспособляющий к себе природу.

3. Производительные силы—результат трудовой энергии человека, показатель успешности человеческого труда, предмет использования для человека.

4. Между природой, человеком, производительными силами существуют только количественные отношения. Увеличивается затрата трудовой энергии, следовательно, увеличивается выкачка энергии из природы, следовательно, растут производительные силы, воспроизводится трудовая энергия на расширенной основе и т. д.

Таким образом, общая методологическая установка (к которой мы, однако, не будем больше возвращаться) снимает проблему общества и производительных сил как особых качеств, которым присущи своеобразные формы движения, своеобразные связи. При этой установке мы, по суще-

[1] *Бухарин, Н.*, Теория исторического материализма, с. 120—123.

ству, остаемся вне границ общества, в сфере механических движений, простых количественных отношений. Поэтому внутреннее содержание производительных сил, производственных отношений и прочие стороны общественной жизни остаются вне поля исследования. Автор к ним подходит внешне, насильно втискивает их в механическую схему, но познание их не подвигается от этого ни на шаг. Мы не знаем, чем объективным определяются действия человека, почему рост производительных сил движется именно в таком направлении, а не иначе, почему общественные отношения принимают ту или другую форму и т. д.

Но так как факты остаются фактами и требуют объяснения, то выступают бездоказательные положения, оставляющие лазейку для идеализма. Тов. Бухарин не доказывает, что производительные силы определяют в конечном счете все развитие общества. Создается, напротив, убеждение, что человек «приспособляет» к себе все и вся. Мысль эта проста и ясна, и за отсутствием материалистических доказательств она пробивает себе дорогу.

Дело не в том, что тов. Бухарин употребляет иные формулировки, чем Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов. Тов. Бухарин *мыслит* иначе, чем Маркс и его продолжатели. Маркс, исследуя законы общественной жизни, исходит прежде всего из предпосылки, что общество со всеми связями хотя и составляет продолжение природы, но в то же время является новым качеством по отношению к природе, и законы последней совершенно недостаточны для изучения общественных явлений. В частности и в особенности недостаточными для изучения общественных связей являются законы механического движения. Маркс не переносит масштаб механики на общественную жизнь; он отыскивает имманентную законосообразность общественных явлений.

Для Маркса не подлежит оспариванию факт активности человека: «Люди сами творят свою историю», говорит он. Свою задачу Маркс видит в том, чтобы найти материальный объективный закон, который бы объяснял, почему люди в отличие от других животных «возвысились» до общественного сознания и какие причины лежат в основе их исторической деятельности. Этот закон он открыл в развитии производительных сил.

В основе общественного сознания лежит необходимость общественных отношений. Вне общественных отношений не могло возникнуть сознание. Последнее появилось как результат взаимодействия людей. Что же определяет взаимодействия людей? В основе всех иных взаимоотношений людей лежат производственные отношения, ибо, как говорит Маркс, «люди должны быть в состоянии жить, чтобы иметь возможность делать историю». А жить люди могут, лишь производя себе еду, питье, жилище и т. д. Вместе с тем люди не вольны избирать *способ* производства. Для производства нужны орудия труда, материал труда и трудовые навыки. Но все это люди получают уже готовым при своем появлении на свет. Каждое новое поколение воспитывается в условиях определенного производства. Оно не выбирает, а получает средства производства и соответствующий им способ производства от предыдущих поколений и может «делать историю» лишь на основе полученного, воздействуя и видоизменяя то, что получено ими. Вот подлинные слова Маркса: «люди не свободны в выборе *своих производительных сил*, которые являются основой всей их истории, потому что всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт предшествующей деятельности. Таким образом *производительные силы—это результат практической*

энергии людей, но сама эта энергия ограничена теми условиями, в которых люди находятся, *производительными силами, уже приобретенными раньше* (курсив наш—*Н. Б.*), общественной формой, существующей раньше, которую создали не эти люди, которая является созданием прежних поколений. Благодаря тому простому факту, что каждое последующее поколение находит производительные силы, добытые прежними поколениями, и эти производительные силы служат ему сырым материалом для нового производства, благодаря этому факту возникает связь в человеческой истории, образуется история человечества» [1].

Таким образом, производительные силы не потому определяют развитие истории, что они выражают *количество* материальной энергии, выкаченной из природы, а потому, что они определяют *способ* производства и, благодаря последнему, *содержание* социально-правовых, политических, моральных и иных отношений.

Производительные силы, представляя из себя определенную совокупность свойств (качество)—орудие труда, трудовые навыки, материал труда,—определяют и *характер* (качество) общественных отношений (способ производства; социально-политическую, идеологическую и пр. надстройки).

С другой стороны теория Маркса дает исчерпывающий ответ и на тот вопрос, который оказался не под силу т. Бухарину—вопрос о причине развития самих производительных сил. Как мы видели из слов Маркса, производительные силы—результат практической деятельности людей. Но эта деятельность сама обусловлена теми производительными силами, тем способом производства, тем состоянием классовых, политических, моральных, научных и философских условий, которые застает новое поколение при своем появлении. Развитие общественного целого складывается из взаимодействия различных сил, но в этом взаимодействии производительные силы определяют «в конечном счете» все.

* * *

Мы лишены сейчас возможности подвергнуть подробному анализу взгляды тов. Бухарина на развитие культуры и идеологии. Чтобы не затягивать статьи, наметим только отдельные пункты, в которых, по нашему мнению, тов. Бухарин, являясь жертвой своего метода, отступает назад от ортодоксальных позиций марксизма.

Взгляды тов. Бухарина на идеологию и культуру носят на себе печать его общего мировоззрения. Это мировоззрение эклектическое. С одной стороны, тов. Бухарин усвоил некоторые бесспорные истины марксизма. С другой стороны, им владеет метод механического материализма. В результате—марксистские положения разбавлены сильной дозой механических воззрений.

Чем обусловлено развитие культуры? Накоплением материальной энергии, говорит тов. Бухарин. Благодаря производительности труда, часть рабочего времени высвобождается от затраты его на непосредственную борьбу за существование и идет на развитие культуры. Бесспорно, что рост материального благосостояния является важным условием для роста культуры. Однако, сводить дело только к этому—значит до крайности упрощать вопрос. *Количество* материальной энергии, получаемое

[1] Письмо Маркса к Анненкову.

в процессе производства, не дает ответа на вопрос о *содержании* культуры (культура классовая, бесклассовая и т. д.) и не может дать правильного представления о причинах, стимулах культурного развития. Сознание человека, его речь, а впоследствии искусство, наука и т. д. возникают и развиваются прежде всего в практическом общении людей, причем самым важным является производственное общение. Совместно добывая себе средства к жизни, человек впервые стал сознавать себя и подобных себе, стал определять заранее какую-нибудь цель и изыскивать способы осуществления ее, стал находить способы сообщать другим людям свои мысли и т. д. Из зачатков сознания впоследствии развились эстетические потребности, научное мышление и пр. «духовная» культура. В основе этого развития неизменно лежит производственная *практика*. Она развивает сознание людей, накопляет опыт, двигает культуру; она же определяет основные *интересы* людей и через них влияет на развитие содержания всей духовной культуры: науки, искусства, морали и т. д. Еще очевиднее связь *материальной культуры* с развитием производства. Развитие техники (главным образом, качественное развитие техники) является первым условием развития материальной культуры. О трамваях нельзя было бы и думать, если бы не было известно электричество и техника железнодорожного строительства. Количество материальной энергии, само обусловленное *уровнем* (качеством) производительных сил, является производным моментом в распространении и развитии культуры.

Тов. Бухарин отступает от марксизма и в объяснении отдельных форм идеологии. Так, в вопросе происхождения религии он развивает точку зрения А. Богданова, который начало религии видит в психологии, порождаемой авторитарной организацией общества.

Как известно, Энгельс и Плеханов одним из первых зачатков религии считали анимизм. Это следует не только из общеметодологических соображений, но и подтверждается целым рядом этнологических данных. По тем же данным анимизм (одухотворение природы) возникает сравнительно задолго до авторитарной организации общества (родового строя). Тов. Бухарин, развивая взгляды эмпириомониста Богданова на возникновение религии, воздает очередную дань механистическому мировоззрению. Он полагает, что религия есть простое «отображение» производственных отношений: «понятие «духа», «души» и т. д. возникло, как отражение особой экономической структуры общества, когда выделился «старший в роде» или позднее патриарх, когда, другими словами, разделение труда привело к выделению организаторского труда, труда по управлению и т. д.» [1]. Тов. Бухарин не хочет понять, что первобытные человеческие коллективы продолжительное время существовали без *постоянных* «организаторов» и «управителей», но в процессе своего производства они сталкивались с неизвестными им явлениями и имели потребность объяснить их. Это обстоятельство и лежит в основе образования религии. Родовой же строй влиял на дальнейшее *изменение* содержания и формы первоначальной религии.

* * *

Мы не претендовали на исчерпывающее изложение и критику всех теоретических взглядов тов. Бухарина. Мы имели целью на разборе не-

[1] *Бухарин Н.*, Теория исторического материализма, с. 186.

скольких пунктов показать, что теоретическая мысль тов. Бухарина глубоко механистична. Мы выбрали наиболее существенные в методологическом отношении пункты. Но в той или иной мере вся его теоретическая система отягощена недостатками механистической точки зрения, что можно было бы проследить при систематическом изложении его взглядов. Сам тов. Бухарин, повидимому, не склонен отрицать механического характера своих теоретических позиций. На этот счет он только в одном не сходится с нами— он не видит никакого преимущества диалектики перед механическим мировоззрением. Он говорит: «совершенно неправильным является упрек в механичности... Неправильным он является потому, что *нельзя* современную механику противопоставлять диалектике. Если механика не диалектична, т. е. недиалектично и все движение, то что же остается от диалектики? [1]». Тов. Бухарин, нам думается, не нуждается в разъяснении, что часть нельзя смешивать с целым. Если он не признает никаких преимуществ диалектики перед механикой, то, следовательно, он убежден, что законы механики универсальны. Следовательно, он убежден, что неправы Маркс, Энгельс, Ленин и пр. диалектики, когда они механическое движение считают лишь одной и притом простейшей формой движения, указывая еще на другие формы движения, качественно отличные от механических. Так и должен сказать всякий последовательный механист. К чему же тов. Бухарин кокетничает с диалектикой? Кому нужны уверения в том, что он только «формулирует» иначе, «уточняет, продвигает дальше», остается на позициях «наиболее ортодоксального революционного марксизма». Надо прямо объявить: назад от диалектического *материализма Маркса—Ленина к механическому материализму XVIII в.!*

---

[1] *Бухарин Н.*, К постановке проблем исторического материализма, сб. «Атака», с. 117.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК И ПРОТИВОРЕЧИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА [1]

З. Атлас

«В капитале, приносящем проценты, капиталистическое отношение достигает своей наиболее внешней и фетишистической формы».

К. Маркс.

1. ФУНКЦИИ КРЕДИТА И БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ

В марксистской литературе *Гильфердинг* [2] вполне доказал огромную важность банковского кредита вообще и его особых форм в частности для понимания современной капиталистической экономики. С тех пор говорить о банках и их операциях вошло в обычай в литературе нашего направления. Однако систематического анализа (а не просто описания) всех основных форм и функций банковского кредита мы не имеем ни в одном из общих курсов по политической экономии, принадлежащих перу марксистов. Даже *К. Реннер* [3], который кредиту и банкам посвятил свыше 100 страниц и дал подробное описание всех операций банков, подошел к этим «операциям» с чисто внешней, формальной стороны, рассматривая их вне связи с процессами общественного воспроизводства и всеми противоречиями, которые скрыты за любой банковской формой [4].

* * *

[1] Настоящая статья представляет собой одну из глав подготавливаемой автором работы по теории банковского кредита. Критика основных направлений в учении о кредите была дана в статье «Роль кредита и границы кредитной экспансии при капитализме» («Под знаменем марксизма» №№ 2 и 3 за 1928 г.). Анализ строения банковских пассивных фондов (аккумулированных и эмитированных) и общее учение о равновесии банковского кредита были развиты в статье «К теории банковского кредита» («Под знаменем марксизма» №№ 6 и 7—8 за 1929 г.). В публикуемой статье, построенной в виде самостоятельного очерка, дается анализ банковских активных операций, т. е. реализации пассивных фондов на денежном рынке. Здесь мы пытаемся раскрыть реальные противоречия банковского кредита, скрытые за специфическими формами активных операций капиталистических банков.

[2] «Финансовый капитал», гер. И. Степанова, Гиз, М. 1922.

[3] «Теория капиталистического хозяйства», Гиз, М. 1928, с. 173.

[4] В самое последнее время, уже после того, как была закончена настоящая работа, вышел капитальный марксистский труд по теории кредита проф. И. А. Трахтенберга «Современный кредит и его организация», ч. 1, Теория кредита, изд. Комакадемии, М. 1929 г.

Кредит так же необходим для капитализма, как и деньги, хотя деньги исторически и логически суть форма, предшествующая капиталу и кредиту; ибо деньги есть необходимая форма товарного общества вообще, а кредит является имманентной формой только *капиталистического общества*.

В процессе общественного воспроизводства при капитализме кредит является формой—1) капиталообразования (или капиталонакопления) и капиталораспределения и 2) капиталореализации (капиталообращения).

Во первых, кредит является необходимой формой капиталоаккумуляции или капиталообразования. Здесь кредит разрешает противоречие между общественным характером производства и частным присвоением, [1] но лишь для того, чтобы это противоречие поставить вновь и на более широкой основе. Кредит превращает всю прибавочную стоимость, где бы она ни находилась, в капитал, коль скоро она не потреблена владельцем. Рост производства освобождается от связанности границами личного накопления самого производительного капиталиста, и благодаря кредиту безгранично расширяются эксплоатационные возможности крупных капиталистов, а вместе с тем и рост производительных сил.

Деньги, где бы они ни находились, могут быть в форме кредита превращены в капитал, который через банки попадает в руки крупных капиталистов. Одна сторона этого процесса—это мощный рост производства, который благодаря утилизации всех общественных фондов накопления превращается по своему содержанию в действительно *«обобществленное производство»*. Однако обобществленное благодаря кредиту (и его акционерной форме, в особенности) производство сохраняет и еще более обостряет антагонистическую форму распределения общественного продукта или антагонизм «между производством и тем узким базисом потребления, на котором оно покоится» (Маркс).

Но в рамках этого неустранимого при капитализме антагонизма кредит *как форма накопления* создает возможность такого темпа подъема производства, при котором активизируется весь общественный фонд накопления.

Далее, в кредитной форме происходит перераспределение как вновь образованных, так и уже функционирующих капиталов между различными отраслями производства. Регулятор капиталистического хозяйства—закон стоимости—цен производства предполагает непрерывное действие тенденции равной нормы прибыли. Однако гигантские предприятия не могут «переноситься» целиком из одной отрасли в другую для уравнения нормы прибыли, «на чем покоится все капиталистическое производство» (Маркс). Это противоречие между мощным ростом предприятий, диктуемым самим законом капиталистического развития, а следовательно длительным закреплением капиталов в отдельных отраслях и законом равной нормы прибыли разрешается благодаря кредиту.

Сокращение кредитования отраслей с низкой нормой прибыли и расширение кредитования отраслей с высокой нормой прибыли дает возможность так регулировать объем производства отдельных отраслей, чтобы цены на товары имели тенденцию устанавливаться на уровне, возмещающем издержки производства и дающем среднюю норму прибыли.

Однако разрешение противоречия не устраняет его новой постановки, ибо кредит, развивая и укрепляя *монополистические тенденции*, тем са-

[1] См. «Капитал», т. II, изд. 1918, с. 34.

мым как раз и заключает в себе и противоположную тенденцию—разрывать индивидуальные нормы прибыли предприятий и отраслей и экспроприировать немонополизированные отрасли, следовательно парализовать действие единственного *стихийно*-действующего регулятора капитализма и подводить последний вплотную к необходимости *сознательно*-общественной его организации.

Во-вторых, при посредстве кредита совершается метаморфоза $Т^1$—$Д^1$—$Т^1$, т. е. реализация товарного капитала или превращение товарной формы в денежную. Это и есть процесс обращения. Кредит создает фиктивные деньги или заместителей денег в виде кредитных денег (векселя, чеки, банкноты), и благодаря этому капиталистическое производство освобождается от границ монетарной системы и создает для себя тот объем обращения, который необходим на данной точке промышленного цикла. Объем обращения при наличии *кредитной формы обращения* ставится благодаря этому в зависимость лишь от одного своего компонента—Т. Другой компонент—Д—создается благодаря кредиту самим процессом обращения или точнее, этот компонент вообще устраняется для данного процесса и заменяется Д" («деньгами в перспективе», по выражению *Ф. И. Михалевского*), который с тем же успехом выполняет данную функцию действительного Д. Здесь кредит разрешает противоречие между производством и обращением (подчиняя динамику второго динамике первого), или товаром, и его абстрактно-всеобщей формой—деньгами, но лишь на период подъема, ибо в кризисах, которые имманентны капитализму, это противоречие проявляется вновь с гигантской силой.

Банковский кредит, синтезирующий все основные функции кредита, является одновременно как *исходным моментом* нового воспроизводственного процесса, так и конечным моментом совершающегося процесса. Исходным,—поскольку деньги превращаются в капитал через форму денежно-ссудного капитала; конечным—поскольку товарный капитал превращается в денежный капитал через денежный кредит банка, который антиципирует это превращение до момента его действительного завершения, т. е. до обмена капитала на доход или капитал.

Кредит сохраняет свое значение и при простом воспроизводстве, но только при расширенном воспроизводстве становится очевидной необходимость кредита для капитализма, поскольку все отмеченные выше противоречия, разрешаемые кредитом, развертываются в *динамике* капиталистического процесса.

Капиталистическая динамика, развивая эти противоречия, тем самым дает простор развитию *кредита* вообще и банковского в частности, как единственной формы, которая в состоянии *на время* устранить *эти* противоречия, чтобы вплоть до момента кризиса осуществить самую возможность развития производственных сил. В этом—*необходимость* кредита *для капитализма*.

Банковский кредит есть всегда *денежный кредит*. Однако за денежной формой может скрываться совершенно различное содержание. Поскольку, с одной стороны, ссуженные банком деньги являются для заемщика авансом дополнительного капитала, мы будем, вслед за *Энгельсом*, этот вид банковского кредита называть *капитальным кредитом*. Поскольку, с другой стороны, ссуженные банком деньги не служат для такого авансирования капитала, но являются лишь превращенной формой (денежной) того капитала, которым располагает заемщик, и, следовательно, этой

ссудой, капитал последнего превращается из одной денежной формы (напр., векселя) в другую (напр., банкноту или действительные деньги), мы будем, согласно тому же принципу разграничения кредита *Энгельса и Маркса*, говорить о *денежном кредите*.

Основное противоречие банковского кредита заключается в том, что он является одновременно и денежным и капитальным кредитом, [1] и это основное противоречие действует в любом акте кредитования. Именно это основное противоречие банковского кредита породило противоречивое, диаметрально-противоположное по своим конечным выводам, решение вопроса о природе этой самой важной кредитной формы.

* * *

Банковский кредит является не чем иным, как одной из форм воспроизводственного процесса. Общественное воспроизводство здесь мы берем в состоянии равновесия: абстрагируемся от кризисов, предполагаем пропорциональный рост отраслей производства, оставляем в стороне более сложные виды кредита, как ипотечный, государственный, мелкоиндустриальный, кооперативный и пр.; далее, в стороне остаются международные отношения и предполагается наличие налаженной системы денежного обращения, напр. золотой монометаллизм.

Зная, что такое капитал и каковы основные звенья его кругооборота при расширенном воспроизводстве, нетрудно решить вопрос о том, как в этом абстрактном капитализме должно произойти приспособление формы банковского кредита к воспроизводственным процессам, в соответствии со сказанным о функциях этого вида кредита.

Денежный кредит банков, во-первых, может быть оказан без того, чтобы имелись действительные деньги (парадоксально, но это так). Поскольку промышленный капитал совершает кругооборот $Т^1—Д^1—Т^1$, деньги здесь являются мимолетной формой и поэтому могут быть заменены простыми знаками, в данном случае фиктивными кредитными деньгами. Эти представители денег, эмитируемые банками, являются в то же время и товарными знаками или номиналом вполне реальной ценности. Поэтому такие знаки и могут быть брошены в обращение, обменены на другие товарные ценности, и, таким образом, производительный капиталист, облекая свою капитальную стоимость в фиктивную стоимость кредитных денег, может возобновить производственный процесс до того, как завершен процесс обращения.

Во-вторых, объем денежного кредита банков должен соответствовать по номиналу своей фиктивной ценности объему товарной массы, реализуемой при его посредстве. В противном случае неизбежна диспропорция между товарами и их денежными знаками, т. е. кредитная инфляция и обесценение этих последних, если не действуют предохранительные клапаны, о чем ниже.

В-третьих, эмитируемые кредитные деньги нормально могут выполнять свое функциональное назначение только в том случае, если вся произведенная товарная масса размещается в обществе: средства производства между отраслями производства, средства потребления между реализующими доход классами, т. е. капиталистами и рабочими. Следовательно,

[1] Анализ денежного и капитального кредита будет дан ниже.

при предпосылке, что I V+m=II c [1], номинальная ценность выпущенных кредитных денег должна быть равна действительной ценности подлежащих реализации товаров, чтобы не наступила диспропорция между товарным и денежно-кредитным компонентами единого процесса обращения. При всех этих предпосылках и в полном соответствии с закономерностью воспроизводственного процесса мы можем установить тот общий закон, *что для денежного кредита банков не нужно ни одного атома действительных денег—золота.*

При этом банковский кредит здесь выполняет лишь *легитимирующую функцию* тех процессов, которые совершаются в обращении, а именно банковский кредит лишь дает *общественную санкцию* тем средствам обращения, которые *создает уже коммерческий кредит.* Денежно-кредитная эмиссия устраняет необходимость производства золота в качестве средств обращения и тем самым дает возможность развивать производство независимо от того, каким запасом золота обладает страна. Тем самым и достигается, говоря словами Маркса, «наивысшее развитие производительной силы капитала», производство переживает свой триумф, подчиняя себе обращение и уничтожая его металлическую границу (вплоть до момента кризиса).

Однако уже здесь возникает двоякое противоречие. С одной стороны, денежно-кредитная эмиссия банка может заполнять не всю, но лишь часть той сферы, которая отводится ей воспроизводственным процессом. Другая часть может быть заполнена аккумулированными банками денежными средствами, которые вместо превращения в новый производительный капитал бросаются в обращение для обслуживания процесса капиталореализации, напр. в форме учета векселей. С другой стороны, денежно-кредитная эмиссия при анархичности капитализма вообще и стихийного проявления всех его законов может быть направлена как раз не по тому руслу, которое объективно предназначено для нее законами воспроизводства. Таким образом эмиссия может (что фактически всегда и имеет место) выступить в качестве *дополнительной массы денежного спроса со стороны производительных капиталов*, спроса, которому при наших предпосылках не соответствует предложение. В каких формах этот процесс проявляется и какие последствия он может иметь, мы скажем ниже. Здесь же нам достаточно констатировать это противоречие, учет которого будет положен во главу угла дальнейшего анализа.

В отличие от чисто денежного кредита банков *капитальный кредит не может быть создан ad hoc, но предполагает предварительное аккумулирование денежных фондов* [2] которые, будучи представлены производительным капиталистам, составят сумму их производительного спроса.

---

[1] См. схемы воспроизводства Маркса во II томе «Капитала».

[2] При этом совершенно безразлично, в форме каких именно денег происходит аккумуляция денег и авансирование денежного капитала производственным капиталистам за счет аккумулированного фонда.

«Первое обстоятельство, именно, что авансируемый капитал приходится авансировать в денежной форме, не устраняется формой этих денег, т. е. будет ли то звонкая монета, кредитные деньги, знаки стоимости и т. д. На второе обстоятельство (размер авансирования в связи с продолжительностью оборота капитала.—*З. А.*) никакого влияния не оказывает, при помощи каких денежных средств или при помощи какой формы производства отвлекаются труд, средства существования и средства производства, причем в обращение не выбрасывается никакого эквивалента» («Капитал», т. II, с. 342).

Этот спрос при сделанных выше допущениях полностью удовлетворяется. Следовательно, этот вид кредита покоится на *накоплении прибавочной стоимости и вообще капитализации доходов или извлечении денежных капиталов из одних сфер и распределении их между другими сферами.*

Здесь банковский кредит выполняет функцию капиталообразования и капиталораспределения, причем для нас важно пока отметить только две возможности использования денежных сумм кредитованными банками: во-первых, на элементы *основного* и, во-вторых, на элементы *оборотного капитала*. Ниже мы увидим, какое важное значение имеет это разграничение.

Чтобы покончить с общей постановкой вопроса, нам остается только сказать, что при нарушении сделанного нами допущения о полной гармонии между отраслями производства и между производством и потреблением, конечно, рушится и тот нормальный процесс банковского кредитования, который выше был охарактеризован в общих контурах. Мы не можем здесь рассматривать вопроса о связи кредита с кризисами и конъюнктурой. Укажем только, что, создавая все необходимые предпосылки для энергичного развертывания производства, для усиления концентрационных процессов и т. п., банковский кредит в то же время ни в ксей мере не устраняет диспропорций общественного производства, но наоборот содействует более быстрому и резкому проявлению этих диспропорций, следовательно приближает и усиливает кризис; именно та внезапность, с которой обрушивается кризис, может быть как раз и приписана действию кредита, ибо банки до известной точки с полным успехом, при помощи своей кредитно-денежной эмиссии, замазывают те диспропорции, которые уже налицо. *Удаляя производство от потребления и вообще предложение от действительного спроса, антиципируя ту реализацию, которая в действительности уже не может быть совершена, развивая капитализацию, хотя капитал уже в избытке,— банковский кредит тем самым поддерживает иллюзии высокой конъюнктуры и максимального подъема как раз в тот момент, когда червь капиталистической анархии уже успел подточить капиталистическую систему и сделал абсолютно необходимым взрыв ее противоречий* (*кризис*).[1] Однако с ростом промышленных монополий и грандиозной концентрацией банков и особой ролью централизованного регулирования банковским кредитом на этой стадии капиталистического развития значительно *модифицируется* и нарисованная нами общая картина влияния кредита на ход конъюнктуры, что однако выходит за пределы нашего анализа.

II. ПРОТИВОРЕЧИЯ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА и БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ

1) ЕДИНСТВО ДЕНЕЖНОГО РЫНКА. НОРМА ПРОЦЕНТА

По вопросу о сущности и самом понятии денежного или ссудного рынка существует обильная литература. Прежде всего необходимо отвести в сторону отождествление некоторыми старыми и новыми экономистами (Оверстон, Дж.-Ст. Милль, у нас—З. С. Каценеленбаум) закономерностей

[1] «В периоды расцвета обратное возвращение капитала протекает легко и гладко. Розничный торговец с полной надежностью платит оптовому торговцу, этот последний фабриканту, фабрикант—импортеру сырья и т. д. *Видимость быстрого и верного обратного притока капитала сохраняется еще долго после того, как в действительности этого уже нет,—сохраняется благодаря наладившемуся кредиту, потому что возврат кредита замещает возврат действительного капитала*» [*Маркс*, Капитал, т. III, ч. 1, 1922 г., с. 434 (курсив наш—*З. А.*)].

денежного и товарного рынков[1], вытекающее вполне последовательно из их натуралистической концепции кредита. Различие между денежным и товарным рынками и связь этих различий с разграничением коммерческого и банкирского кредита, а также противоположный характер динамики этих рынков в конъюнктурном процессе, опровергающий указанные взгляды, рассмотрены в нашей литературе *С. Выгодским*, и поэтому мы не считаем нужным останавливаться здесь на этой теории.

Но следует подчеркнуть, что отождествление денежного (или ссудного) с товарно-капитальным рынком не может рассматриваться как характерный момент специальной и общей литературы. Напротив того большинство экономистов резко отделяют оба эти рынка, вполне правильно базируясь при этом на особых закономерностях и особом объекте денежно-ссудного и товарно-капитального рынков. Этими авторами проблема *единства или двойственности денежно-ссудного рынка рассматривается уже* в совершенно иной *плоскости*, что не всеми марксистами, писавшими по этому вопросу, в достаточной мере осознается.

Та плоскость, в которой обсуждают этот вопрос такие, например, авторы, как *Шпитгоф*[2], *Беккерат*[3], *Сомари*[4], *Прион*[5], *Ган*[6], *Аммон*[7] и т. д., в корне отлична от выше рассмотренной постановки проблемы. Никто из этих авторов не сомневается в том, что на ссудном рынке, как таковом, спрашиваются не товары или товарные капиталы, но деньги или денежные капиталы. Если же *Ган* и отрицает, что объектом денежного рынка (который он называет кредитным) являются деньги, как таковые, и признает действительным объектом этого рынка «кредит в буквальном смысле слова», т. е. доверие, то это лишь другое наименование того же самого явления, ибо у него «доверие» обладает *покупательской силой*. По существу же и для него объектом ссудного рынка являются деньги *во всех их формах* и в частности в депозитно-чековой форме. Что же касается *Шумпетера*, то у него даже нет и этой посредствующей ступеньки «доверия»: объектом ссудного рынка для него служит *покупательская сила* во всех формах и, в особенности, в тех формах, в которых таковая создается банками.

«Денежный», «кредитный» или «ссудный рынок» большинством авторов рассматривается как особый феномен по сравнению с товарным рынком. Но этот «ссудный» рынок большинство делит на два особых рынка—денежный и капитальный. При этом, однако, сохраняется понятие единства ссудного рынка: в то же время это единство трактуется чисто *идеалистически*, как «мысленное единство всех кредитных процессов» («gedenkliche Einheit aller Kreditvorgänge»)—формулировка, принадлежащая *Шпитгофу*. Но эту же чисто идеалистическую формулировку воспринимает и *Беккерат*.

Теория ссудного рынка этих авторов сводится главным образом к тому, что они разграничивают внутри этой «мыслительной» совокупности—кредитного рынка—два особых рынка, именно *денежный рынок*, где концентрируются спрос и предложение *краткосрочных ссуд*, и *капиталь-*

[1] С. *Выгодский*, Очерки по теории кредита Маркса, М. 1929.
[2] *A. Spiethoff*, Die äussere Ordnung des Kapital-und Geldmarktes «Schmoller's Jahrbuch», 1909, Bd. 33.
[3] *H. v. Beckerath*, Kapitalmarkt und Geldmarkt, Jena 1916.
[4] *Somary*, Bankpolitik, 1915.
[5] *Prion*, Die Geldmarktlage und Reichsbankpolitik, 1926.
[6] *A. Hahn*, Volkswirtschaftliche Theorie der Bankpolitik, Thübingen, 1920.
[7] *Alfred Ammon*, Grundzüge der Volkswohlstandslehre, T. 1, Jena 1926.

ный рынок для долгосрочных ссуд. Эту точку зрения разделяют не только специалисты-«кредитники», как *Беккерат*, *Сомари*, *Прион*, но и такой общий теоретик, как *Алфред Аммон* [1].

По *Беккерату*, который старается держаться за натуралистическую теорию, что не всегда ему удается, единство обоих рынков определяется тем, что на них осуществляются *кредитные процессы*, поскольку в обоих случаях «речь идет о предоставлении части богатства в пользование чужому хозяйству», а различие между ними проводится «по способу употребления предоставляемых в кредит средств» [2], что в конечном счете сводится к моментам долгосрочности и краткосрочности ссуд. Натурализм Беккерата прямо вопиет против себя. У него в обоих случаях происходит «предоставление части *богатства* в пользование чужому хозяйству». Но какое свое «богатство» предоставляет клиентам банкнотно-эмиссионный или депозитно-эмиссионный банк в порядке своих краткосрочных ссудных операций, если источником этих операций служит эмиссия нот и депозитов? Как раз в *данном* кредитном акте абсолютно никакого перераспределения богатства в натуралистическом смысле не происходит [3], поскольку ссужаемый денежный капитал лишь является превращенной формой того капитала, которым владеет заемщик.

У *Беккерата* идеалистическая трактовка единства кредитного рынка прекрасно уживается с натуралистической концепцией *об'екта* этого рынка и чисто механическим разграничением (и соединением) денежного и капитального рынка по моменту срочности ссуд. На бессодержательность и недостаточность этого последнего критерия уже указывалось в литературе, и мы не будем повторяться. Заметим только, что не краткосрочность и долгосрочность определяют характер этих двух типов кредитных сделок, но *экономическая природа самих этих сделок определяет обычную краткосрочность одних и сравнительную долгосрочность других сделок*. Следовательно, момент времени является производным, и поэтому он никак не может служить конститутивным признаком для разграничения «денежного» и «капитального» рынков.

* * *

Теоретики денежного рынка с полным пренебрежением относятся к марксовой теории кредита, в то время как именно эта последняя дает вполне исчерпывающее и вполне определенное решение этой проблемы. Прежде всего поставим в общей форме вопрос: что такое кредит? Под кредитом вообще мы понимаем сделку ссуды, т. е. передачу ценности с отсрочкой уплаты эквивалента плюс процент. Но этот плюс имеет весьма существенное значение, ибо в условиях «простого товарного хозяйства» проценту неоткуда взяться. Поэтому там имеется лишь *возможность* кредита, которая

---

[1] «Grundzüge», S. 230.

[2] «Geldmarkt u. Kapitalmarkt», S. 163.

[3] Ссылка на то, что при банкнотной эмиссии в конечном счете имеет место «передача вещного капитала» одним лицом другому лицу, неосновательна, ибо «вещный капитал» хотя и переходит в руки клиента банка, но не путем займа, а покупки за наличные. Следовательно, «вещный капитал» передается не в порядке ссуды, но продажи, а акт ссуды сам по себе не является передачей «вещного капитала». Кроме того, с точки зрения натуралистической теории получается парадоксальная ситуация: продажа за наличные рассматривается как ссудная сделка, а подлинная банковская ссуда лишается кредитной характеристики, поскольку вещи не «передаются».

превращается в *действительность* и *необходимость* лишь по мере развития капитала и соответствующих производственных отношений. Развитие кредитных отношений возможно только на базе капитала. Если же мы берем уже установившуюся в своих основных формах капиталистическую систему, то в этой последней *кредит является не формой временного отчуждения стоимости, «но соответственной формой для отчуждения стоимости как капитала, а не как денег или товара»* [1].

При *всякой кредитной сделке стоимость отчуждается как капитал, т. е. как самовозрастающая стоимость, независимо от того, будет ли эта стоимость функционировать в действительном процессе производства как капитал. На денежном рынке или, точнее, на денежно-ссудном рынке спрашиваются и предлагаются деньги как капитал, как самовозрастающая стоимость*. Этим именно определяется единство денежного рынка как *рынка ссудных капиталов*. Поскольку же и на товарном рынке совершаются кредитные сделки, эти последние подчиняются общей закономерности единого рынка ссудных капиталов: «всякий ссужаемый капитал, какова бы ни была его форма и как бы ни модифицировалась его уплата природой его потребительской стоимости, всегда является лишь особой формой денежного капитала. Ведь в ссуду здесь всегда отдается определенная денежная сумма, и на эту же сумму исчисляется процент» [2].

На денежном рынке мы имеем предельную фетишизацию общественных отношений: и именно здесь родятся теории «время—деньги», в том смысле, что деньги сами плодят деньги, и, мало того, даже в определенной сумме для каждого отрезка времени. Процент и есть иррациональная форма цены за эту «способность» денег плодить деньги. Кто ссужает деньги,—безразлично, в *какой форме* и кому,—получает процент; кто занимает деньги,—безразлично, *какие деньги* и для *каких целей*,—тот уплачивает этот процент: уплата требуется кредитором и в том случае, если никакой стоимости, эквивалентной ссуженным деньгам, уже давно не существует.

Действительным и единым объектом денежного рынка является этот ссудный или денежно-ссудный капитал, и этот единственный товар данного рынка имеет множество «сортов» при одной общей средней регулирующей «цене». Единство денежного рынка определяется единством его объекта и единством цены при многообразии «ценообразующих факторов» [3].

Но в чем разница между деньгами, поскольку они отчуждаются как капитал на денежно-ссудном рынке, и денежным капиталом вообще? Ведь «ссудный капитал,—отмечает Маркс,—это капитал, который ссужается в денежной форме в отличие от промышленного капитала, который, как таковой, ссужается в товарной форме» [4].

Понятие денежного капитала вообще *шире* понятия денежно-ссудного капитала, ибо не всякий денежный капитал отдается в ссуду, но «денежный капитал» *потенциально* есть *ссудный капитал*, ибо он в этой своей форме может быть ссужен. Точно так же и ссудный капитал *потенциально* есть действительный капитал, ибо он может быть передан функционирующему капиталисту.

---

[1] *Маркс*, Капитал, т. III, с. 335.
[2] *Маркс*, Капитал, т. III, с. 328.
[3] О единстве денежного рынка и его объекте Маркс высказывается во многих местах. Укажем на решающие цитаты в III томе «Капитала», ч. 1, изд. 1922, с. 322—323, 324, 328, 329, 333, 334, 336, 404, 413, 442, 445 и др.
[4] «Капитал», т. III_2, с. 38.

В процессе воспроизводства денежный капитал выполняет фактически *функции денег*; различия между товарным капиталом и денежным капиталом есть различия форм товара и денег (с точки зрения процесса воспроизводства). Поэтому денежный капитал есть лишь форма капитала, и капитал является капиталом лишь в общей связи всего процесса. Кругооборот капитала—это Д—Т—П...Т¹... Д¹—Т¹—П¹... Капитал принимает товарную форму для того, чтобы ее сбросить и облечься в денежную форму, как и, наоборот, он принимает денежную форму для того, чтобы ее сменить на товарную. *Поэтому капитал выступает как капитал лишь в процессе движения между полюсами товара и денег.* Поскольку денежный капитал в реальном процессе выполняет лишь функции денег как орудий обращения, постольку в этой форме абсолютно не нужна *стоимостная субстанция капитала*, и поэтому *денежный капитал может быть заменен и действительно заменяется простыми знаками стоимости—кредитными деньгами.* Следовательно, возможность фиктивного денежного капитала обусловлена самой природой капиталистического воспроизводственного процесса. Если производство растет, то для соответственного расширения обращения оборот либо *ускоряет* процесс обращения денежного капитала (смену всех метаморфоз), либо создает новый фиктивный денежный капитал, новые платежные средства, что было показано выше. Поэтому денежный капитал представляет собой форму, *подчиненную и обусловленную* всем процессом воспроизводства, следовательно производительным капиталом.

Но иной характер денежно-ссудного капитала—это, говорит Маркс, есть «капитал, который ссужается в форме денег, металлических денег или банкнот». Это *деньги*, которые должны быть превращены в капитал, причем это «превращение денег в ссудно-денежный капитал—история, гораздо более простая, чем превращение денег в производительный капитал» (т. III, ч. 2, с. 33). Итак, денежный капитал—это форма уже функционирующего капитала и, как таковая, есть только знак денег, а *ссудно-денежный капитал*—это, наоборот, *деньги*, являющиеся капиталом лишь в становлении, превращаемые в капитал.

Накопление ссудно-денежного капитала неразрывно связано с воспроизводственным процессом, ибо, с одной стороны, является его результатом (накопление реализованной прибавочной стоимости) и, с другой стороны, условием его расширения (превращение прибавочной стоимости в капитал через форму денежно-ссудного капитала).

Маркс дает отчетливую формулировку этих различий денежного и ссудно-денежного капитала: «Поскольку деньги функционируют в кругообороте капитала, они, конечно, в известные моменты образуют денежный капитал; однако они не превращаются в ссудный денежный капитал, но или обмениваются на элементы производительного капитала, или же выплачиваются как средство обращения при реализации дохода и, следовательно, не могут опять превратиться в ссудный капитал для своего владельца. Поскольку же они превращаются в ссудный капитал,—ясно, что они лишь *в одном пункте* существуют как металлические деньги; во всех *других пунктах они существуют лишь в форме притязаний на капитал*»[1].

Как деньги, ссудный капитал существует лишь в одном пункте, *а именно, когда они ссужаются.* После того как деньги *ссужены*, они перестают быть деньгами и превращаются в *капитал* в руках должника и в *при-*

[1] «Капитал». т. III₂, с. 47 (курсив наш.—*З. А.*)

тязание на капитал в руках заимодавца. Деньги превращены в капитал, и вместо денег налицо притязания на капитал, что не представляет собой удвоения капитала, но лишь отделение *функции* капитала от *собственности* на капитал, и самостоятельное бытие последней в форме *фиктивного денежного капитала*—это не «деньги и не капитал, но *тень денег*, перешедших в мир *капитала*, голое притязание на капитал как самовозрастающую стоимость. Не менее отчетливо дает Маркс и положительную формулировку ссудного капитала; «деньги, представляют ли они реализованный капитал или реализованный доход, становятся ссудным капиталом при помощи простого акта ссуды, при помощи превращения их во вклад»[1].

Именно потому, что всякий ссудно-денежный капитал потенциально есть действительный капитал, всякая ссуда денег рассматривается на денежном рынке как ссуда капитала, и поэтому за всякую ссуду денег уплачивается процент.

Итак, оставаясь в пределах денежного рынка, мы должны всякую ссуду денег рассматривать как *аванс*, как *ссуду дополнительного капитала в денежной форме*, который заемщик получает от заимодавца. Но это так *только* в пределах денежного рынка.

Однако стоит нам только покинуть эту точку зрения и эти узкие рамки денежного рынка и проследить за метаморфозами, совершаемыми ссуженными деньгами вне сферы денежного рынка, чтобы убедиться в *противоречии между возможностью превращения ссужаемых денег в производительный капитал и действительностью.*

Мы знаем, что с денежного рынка постоянно снимаются огромные массы денег такими заемщиками, которые к процессу производства капитала не имеют абсолютно никакого отношения. Достаточно указать на государство как постоянного и крупнейшего клиента всех денежных рынков всего мира. С другой стороны, мы имеем довольно широко развитый сельскохозяйственный и кустарнопромышленный кредит, и, следовательно, и в этих случаях, с точки зрения марксовой концепции капитала, ссуженные деньги не превращаются в капитал и не создают прибавочной стоимости как источника для уплаты процентов. Далее, деньги могут ссужаться просто расточителю (случай, который берет Маркс), не помышляющему не только о капиталистическом, но и вообще ни о каком «полезном» для общества занятии. Наконец, если мы даже берем кредитные отношения между ссудно-денежными и функционирующими капиталами, то и в этом случае ссуженные деньги не всегда превращаются в капитал: они могут служить простым средством *погашения долгов*, что характерно, например, для кризисных периодов.

Но до всего этого ссудно-денежным капиталистам нет никакого дела: они ссужают деньги и требуют за это процент в размере, скажем, 5 рублей на каждую сотню в год. Но можем ли мы в экономическом анализе удовлетвориться точкой зрения денежного рынка или денежно-ссудных капиталистов? Ни в коем случае: нашей точкой зрения должен быть процесс общественного воспроизводства, взятый как целое. Но с точки зрения этого последнего далеко небезразлично, превращаются ли ссуженные деньги в производительный капитал и вообще входят ли они в кругооборот капитала или не входят.

[1] «Капитал», т. III_2, с. 48. Интересна сноска Маркса по поводу вклада как денег: «Здесь-то и выступает,—говорит Маркс,—путаница понятий, происходящая вследствие того, что «деньгами» является и то и другое: и вклад как требование на платеж со стороны банкира, и вложенные деньги в руках самого банкира».

Все те случаи, когда ссуженные деньги не входят в процесс капиталистического кругооборота, качественно отличаются от случаев «нормальных», т. е. действительно капиталистических метаморфоз ссуженных денег.

Если деньги отдаются расточителю или одалживаются для расплаты по долгам, то «в обоих случаях,—говорит Маркс,—они отдаются взаймы как деньги, а не как капитал; но для их собственника они становятся *капиталом* благодаря только акту отдачи взаймы». Иное дело при дисконтировании векселей и ссуде под товары: здесь ссуда имеет непосредственное отношение к процессу обращения капитала, необходимому превращению товарного капитала в денежный капитал. «Поскольку,—говорит Маркс в «Теориях прибавочной ценности,—ускорение этого процесса превращения... ускоряет воспроизводство, следовательно производство прибавочной ценности, одолженные деньги являются капиталом. Поскольку они, наоборот, служат лишь для уплаты долгов, не ускоряют процесса воспроизводства или даже делают его невозможным или сокращают,—они представляют лишь *платежное средство* (только)—деньги для заемщика и для *заимодавца капитал*, на самом деле независимый от процесса капитала» [1].

Таково *первое противоречие* ссудного капитала: поскольку денежные ссуды не ускоряют процесса производства или даже делают его невозможным или сокращают, постольку мы имеем движение денег как капитала на денежном рынке без последующего их превращения в функционирующий (производственный или товарный) капитал.

Но более важное значение имеет *второе противоречие* ссудного капитала. Это противоречие заключается в том, что ссуда денежного капитала может быть *авансовой* и *реставрационной*. Или иными словами: деньги могут являться *авансом* нового денежного капитала, либо же могут лишь *восстанавливать в денежной форме стоимость ранее авансированного капитала*. Но и это различие выясняется опять-таки лишь в процессе воспроизводства, но не на денежном рынке, где процент взимается независимо от того, авансируется или лишь реставрируется денежная форма первоначально-авансированного капитала, ибо здесь всякие деньги должны плодить деньги. И вся трудность понимания этого противоречия заключается в том, что в обоих случаях ссужаются одни и те же деньги, т. е. *деньги в одной и той же форме*, но роль денег в первом и во втором случаях различна.

Поясним это примером. Капитал в 10 000 рублей совершает кругооборот по форме Д—«Т» $\begin{cases}\text{Ср. пр.}\\ \text{Раб. сила}\end{cases}$ ... П — T^1 — $Д^1$. Но совершение последнего момента кругооборота затрудняется отсутствием у покупателей денежной наличности. Выходом из этого затруднения служит продажа в кредит и превращение векселя в средство обращения. Когда же этот вексель учтен в банке, то, получив 10 100 р. в банкнотах, владелец этого капитала лишь *восстановил в денежной форме* ранее авансированный капитал с приростом прибыли. Это восстановление денежной формы капитала произошло при *содействии* банка, но во всяком случае банк не авансировал этому капиталисту капитала в 10 100 рублей, ибо таковой имелся у самого капиталиста.

---

[1] *Маркс*, Теории прибавочной ценности, т. III, с. 380.

Эту цитату приводит А. Брегель в своей статье в «Вестнике Коммунистической академии», кн. XXVII, но дает этой цитате иное толкование. Тов. Брегель видит противоречие между этой цитатой и теми местами «Капитала», где учет векселей трактуется как ссуда денег (денежной формы капитала). Но, как мы покажем, никакого противоречия здесь нет.

Далее, предположим, что этот капиталист А не желает продолжать производство и полученные в ссуду банкноты тут же кладет на вклад (долгосрочный) в банк. Банкноты возвращаются в эмиссионный банк, но не в порядке погашения эмиссии, как это было раньше, но как аккумулированный фонд, и как таковой они могут быть вновь и немедленно же брошены на капитальное кредитование. В этом случае те же самые банкноты, ссуженные заемщику В, *будут не реставрационной, но авансовой ссудой*, ибо В, в отличие от А, не располагал капиталом ни в форме товара, ни в форме притязаний на товар или деньги.

Что здесь произошло? *Реставрированный А в форме банктнот капитал (первоначально им авансированный), вновь авансируется на производство в этой форме, но не самим А, но В, и это происходит через посредство банка (вклада-ссуды).*

Это различие авансовой и реставрационной ссуд или «различие между займом и учетом, который лишь превращает денежные требования из одной формы в другую» (Маркс), не связано с различием форм ссуды, но только с их движением в воспроизводственном процессе. Но с точки зрения фондов кредитования и их реализации это имеет огромное значение: «аванс» всегда опирается на аккумулированные фонды, «учет» (т. е. вообще реставрационная ссуда)—на эмитируемые фонды, причем, как мы показали, если пользующийся этим последним функционирующий капиталист отказывается от дальнейшего производства или сокращает его, то образуется аккумулированный фонд, внешняя форма которого абсолютно ничем не отличается от эмитированного фонда.

Итак, если заемщиком является *капиталист* и деньги идут что называется «в дело», *то всякая ссуда и субъективно* и *объективно есть ссуда денежного капитала.* Но далеко небезразлично, какова роль того денежного капитала, который получает заемщик. А эта роль, как мы показали, может быть двоякой: либо этой ссудой капитала осуществляется простое изменение формы капитала, либо авансируется сама стоимость как капитал в денежной форме, т. е. капитал переходит из одних рук в другие, как это было в нашем примере. Или, как совершенно правильно формулирует *Зомбарт*, «*кредит требуется либо только для того, чтобы составные части капитала превратить в другую форму, либо для того, чтобы увеличить и расширить сумму капитала*, которой располагает предприятие» [1]. В первом случае, по Зомбарту, «*циркуляционный кредит*» (который он также называет Beschleunigungs-Liquidationskredit), во втором—«*производственный кредит*» или Erweiterungs-Ausdehnungskredit. В этом втором термине характеризуется его производственно-экспансивистическая функция, что вполне правильно: однако это не означает еще солидарности с экспансивистической теорией, ибо здесь пока речь идет об общем разграничении двух типов кредитования, но не об *источниках* и *границах* последних.

И когда Маркс говорит, что, «оставляя даже в стороне кризисы, существует крупное различие между займом капитала и учетом», то (вопреки мнению т. *Брегеля* [2] Маркс в этом случае разграничивает не с субъективной, но с *объективной точки* зрения функции ссужаемого денежного капитала в *общественном воспроизводстве*, и это разграничение имеет огромной важности и теоретическое и *практическое* значение.

---

[1] *W. Sombart*, Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus, S. 175.
[2] «Вестник Коммунистической академии», кн. XXVII, с. 58.

Конечно получается все же терминологическая неясность, когда обозначается тот случай учета векселей, который рассматривает *Энгельс*[1], как *ссуда денег* в отличие от чистого, непокрытого займа как ссуды капитала. Ибо, по Марксу, как мы выше показали, ссуда денег имеет место в том случае, когда заемщик *вообще не связан с капиталистическим оборотом* или когда ссуженные деньги служат средством погашения долгов. Во всех остальных случаях имеет место ссуда капитала. Отсюда как-будто можно притти к признанию противоречий у Маркса или между Марксом и Энгельсом. Но это совершенно неверно. Самое большее—это можно допустить лишь наличие *терминологической неточности*, но эта неточность неизбежна, если не вводится особый термин, как у Зомбарта—«циркуляционный кредит».

В «Капитале» Маркс по преимуществу абстрагируется от некапиталистических отношений и следовательно в плоскости анализа кредита— и от некапиталистических заемщиков. Он рассматривает процесс воспроизводства, и кредит здесь его интересует только с этой точки зрения. При этой предпосылке употребляемое в «Капитале» понятие *ссуды денег*, в отличие от ссуды капитала, может иметь только тот смысл, что в первом случае речь идет в точном смысле слова *не о ссуде денег и не о ссуде капитала, но о ссуде самой денежной формы капитала, как таковой. Капитал здесь не ссужается: капиталу заемщика лишь возвращается его первоначальная форма—денежная.*

Или в одном случае ссужается капитал в денежной форме, а в другом—только денежная форма капитала. А при введенном ограничении (т. е. при анализе только процесса воспроизводства) мы можем для краткости первый случай назвать ссудой капитала, а второй—ссудой денег, и именно в этом смысле употребляются эти термины в «Капитале». Также и *Ф. И. Михалевский* совершенно правильно разграничивает капитальный и денежный кредит в зависимости от того, что является «предметом кредитования»: «либо капитал—все равно, в форме товара или денег,—либо только специфическая денежная форма капитала. В первом случае мы имеем дело с *капитальным кредитом*. Во втором случае—*с кредитом денежным*»[2]. С такими оговорками мы считаем пользование этой терминологией вполне допустимым; при этом отпадает мнимое противоречие у Маркса и между Марксом и Энгельсом, которое открыл и сам же, но, к сожалению, неправильно разрешил Э. Брегель[3]. Наконец, и проф. *И. А. Трахтенберг* вполне правильно разграничивает ссуду денег и капитала[4]. Зато мы совершенно не можем согласиться с трактовкой этого вопроса С. Выгодским[5].

[1] «Капитал», т. III, Гиз, 1922, с. 413—415 и 441—443.

[2] *Ф. И. Михалевский*, Этюды по теории кредита, «Под знаменем марксизма», №№ 6—7 за 1924, с. 180.

[3] Цит. статья, с. 57—59.

[4] «Современный кредит и его организация», т. 1, с. 55.

[5] *С. Выгодский* в своей интересной работе «Очерки по теории кредита Маркса» утверждает, «что Энгельс переносит вопрос об обращении и капитале в другую плоскость, что он рассматривает этот вопрос под другим углом зрения. Маркс этого вопроса сам не ставил по той простой причине, что с точки зрения процесса воспроизводства, этот вопрос не существует». Обвинение Энгельса в привнесении в политическую экономию чуждой ей *частнохозяйственной, клиентской* точки зрения не выдерживает критики. Ведь клиенты банка—это прежде всего *функционирующие капиталисты*—агенты процесса воспроизводства, и, следовательно, анализ движения ссуженных денег в их руках, решение вопроса о том, в каких случаях расширяется величина их функционирующего капитала и в каких она остается без изменения,—имеет кардинальное значение для выяснения роли банковского кредита в процессе воспроизводства. Возражение *Энгельса*—«станем

Итак, резюмируем. С точки зрения противопоставления капиталистического кругооборота и принимающих форму такового, но в действительности отличных от него явлений, Маркс разграничивает ссуду капитала и ссуду денег. *С точки зрения* закономерностей самого капиталистического *воспроизводственного процесса* Маркс различает «заем капитала» и «учет» или ссуду *добавочного для предприятия капитала и ссуду денежного капитала, как трансформирующую наличный капитал заемщика, или, по Энгельсу, ссуду денег и ссуду капитала.*

Различие этих двух типов ссуд вытекает из различий *формы* и *содержания* кредита. Случай, когда ссуда фактически не увеличивает капитала заемщика, представляет собой ссуду капитала *только по форме*, но не *по содержанию*, ибо фактически никакого нового капитала заемщик не получил, и в этом смысле она для него есть ссуда денег или ссуда денежной формы капитала, как таковой.

Однако, вопреки мнению *А. Мендельсона* [1], это ни в коей мере не означает наличия двух рынков. Рынок один—это рынок ссудных капиталов. В тех случаях, когда движение денежного капитала от кредитора к заемщику как бы компенсируется движением реализованной в кредит стоимости товарного капитала, мы вслед за *Энгельсом* говорим о *номинальности* или *фиктивности* сделки по учету векселей, как ссуды капитала, ибо здесь фактически лишь имеет место превращение формы капитала...

Разграничение ссуды денег и ссуды капитала отнюдь не связано с различиями в самой форме ссуды, т. е. ссужается ли действительное золото или номинальные средства обращения. Выше мы показали, что и ссуда капитала, базирующаяся на аккумулированном кредитном фонде, может быть оказана в форме ранее эмитированных средств обращения. И обратно: ссуда денег, т. е. средств обращения, может иметь место и в том случае, когда ссужается действительное золото, а не простые бумажки. На этот последний случай указывает Маркс, критикуя неомеркантилистический взгляд Тука и Фуллартона на золото, как настоящий капитал. Отмечая имевший место момент, «когда иностранные рынки оказались переполненными не находящим реализации английским товарным капиталом», Маркс говорит: «Следовательно, при этом требуется *капитал* не как капитал, а капитал, как *деньги*, в форме, в которой деньги суть общий товар мирового рынка, а это—первоначальная форма денег—благородный металл. Следовательно, отлив золота не mere question of capital—не простой вопрос капитала, как говорят Фуллартон, Тук и другие, но question of money—вопрос денег, хотя и в их специфической функции» [2].

на точку зрения клиентов банка»—означает: «рассмотрим этот вопрос с точки зрения воспроизводства», поскольку именно клиенты банка являются, как отмечено, агентами воспроизводства.

Обвинение Энгельса в «клиентском», следовательно, частнохозяйственном подходе, бьет мимо цели, ибо бьет значительно *дальше ее*: не кто иной, как *Маркс* проводит принципиальное различие между капиталистическим и докапиталистическим кредитом как-раз по облику заемщика», т. е. с точки зрения анализа движения ссуженных денег в руках заемщиков («Капитал», т. III, ч. 2, Гиз, 1923 г., с. 141). Также неправильно категорическое утверждение, что «с точки зрения процесса воспроизводства этот вопрос не существует». Напротив того, этот вопрос имеет огромное значение именно с точки зрения воспроизводства, и притом значение вполне конкретное: на примере так наз. «аномалии» германского денежного рынка в 1926 г. мы покажем вполне реальное значение разграничения ссуды денег и ссуды капитала или «займа капитала» и «учета».

[1] «Средства обращения и капитал», «Под знаменем марксизма», № 8—9 за 1923 г.

[2] «Капитал», т. III, с. 438.

Из этой цитаты следует только то, что даже и ссуда золотых денег может быть ссудой денег, а не капитала, но отнюдь не то, что ссуда денег (оставляя в стороне некапиталистические кредитные отношения) имеет место только в период *кризиса*, как это старается доказать *Брегель*. *Маркс* как раз подчеркивал обратное, и то разграничение ссуды денег и капитала, с которым мы сталкиваемся во многих местах «Капитала» [1], отнюдь не ограничивается кризисным периодом, хотя этот последний действительно дает богатейший материал для теоретического анализа этого вопроса...

Мы определили самый денежный рынок, его единство и противоречия и его объект. Нам теперь остается дать в общей форме ответ на вопрос о «цене» этого товара денежного рынка—*ссудного капитала*, как его общей «цены», так и «цены» отдельных его «сортов».

Мы знаем, что кредитные сделки в форме коммерческого кредита имеют место и на товарном рынке. Однако процент не определяется в сфере этого последнего: «При коммерческом кредите,—говорит Маркс,—процент, составляющий разницу между ценой в кредит и ценой на наличные деньги, лишь постольку входит в цену товаров, поскольку векселя выдаются на срок более продолжительный, чем обыкновенно. В противном случае это не имеет места. Объясняется это тем, что каждый одной рукой получает такой кредит, другой оказывает его»[2]. Правда, Энгельс в своем редакторском примечании указывает, что «это (т. е. что процент не входит в цену товаров при продаже в кредит на нормальный срок) не согласуется с моими наблюдениями» [3]. Но «это» ничего не меняет в существе дела. Пусть процент входит в цену товара по *всем* абсолютно товарным сделкам в кредит. Но определяется ли этот процент спросом и предложением товаров или он является *данной величиной* для товарного рынка (коммерческого кредита) и целиком регулируется спросом и предложением *денежно*-ссудного капитала?

Маркс дает совершенно определенный ответ в пользу второго из двух указанных решений проблемы.

Маркс говорит: «*Изменения размера процента... зависят от предложения ссудного капитала* (предполагая равными все прочие обстоятельства, как например прочность кредита и т. п.), *т. е. капитала, который ссужается в форме денег, металлических денег или банкнот, в отличие от промышленного капитала, который, как таковой, в товарной форме, ссужается при помощи торгового кредита самими агентами воспроизводства* [4].

Это положение означает не что иное, как *признание* primus'а *ссудно-денежного капитала, в частности банкирского кредита над коммерческим кредитом в определении и регулировании нормы процента*. Но мы знаем, что ссудный или денежный рынок в свою очередь противоречив, так как на нем, с одной стороны, концентрируется грюндерский спрос на денежный капитал и, с другой стороны, спрос на денежный капитал для восстановления самой денежной формы, первоначально авансированной на производство стоимости. Мы уже отметили, что независимо от целей спроса процент уплачивается в обоих случаях, но одинаковая ли их роль в определении *общего* уровня процента?

[1] «Капитал», т. III, с. 405, 407, 411, 413—414, 415, 418, 419 и т. III, с. 54, 70—71, 82.
[2] Там же, с. 57. Также и старый русский финансист Бунге утверждал, что «в кредите коммерческом процент за пользование ссудой не представляется безусловной принадлежностью сделок» (*Бунге*, Теория кредита, с. 43).
[3] «Капитал», т. III, с. 57.
[4] Там же, с. 38.

По этому вопросу Маркс высказывается также вполне определенно: «Чтобы найти среднюю норму процента, необходимо: 1) высчитать средний размер процента из его изменений во время крупных промышленных циклов; 2) *высчитать размер процента при таких приложениях капитала, когда последний ссужается на сравнительно продолжительное время*» [1] (курсив наш —*З. А.*).

«Что касается постоянно колеблющейся рыночной нормы процента,— говорит далее Маркс,—то для каждого момента она, подобно рыночной цене товаров, является определенной величиной, потому что на денежном рынке весь ссужаемый капитал, как общая масса, постоянно противостоит функционирующему капиталу, и, следовательно, отношение между предложением ссужаемого капитала, с одной стороны, и спросом на него, с другой стороны, всякий раз определяет рыночный уровень процента» [2].

Итак, нужно различать *среднюю норму процента* и *рыночную норму процента каждого дня*. Спрос и предложение в сфере денежного кредита постоянно влияют на колебания этой последней, но *устойчивой точкой этих колебаний является процент по капитальному (долгосрочному) кредиту*. Это не требует дальнейших доказательств: процент есть часть прибыли; норма же прибыли определяется, конечно, не в обращении, но органическим составом *производительного капитала* и *нормой эксплоатации*. Поэтому *средняя норма процента показывает лишь, какая часть созданной при помощи ссуженных капиталов прибавочной стоимости досталась собственникам этих капиталов*.

И *Беккерат* вполне прав, подчеркивая «ведущую роль индустриального кредита на кредитном рынке, как целом» [3]. Но это отнюдь не изобретение Беккерата или плод его абстрактного анализа. Это *факт*, доказанный статистическими исследованиями *Альберта*[4], *Приона*, *Феликса Мораля* и др.[5].

Только забывая то положение, что процент есть часть прибыли, а следовательно и прибавочной стоимости, можно утверждать приус спроса и предложения денежного кредита при определении средней нормы процента или даже равноправное значение этого кредита наряду с капитальным. Эту последнюю точку зрения развивает *Штейнберг*, с аргументацией которого небесполезно познакомиться.

«Эти платежные обязательства (частные коммерческие векселя—*З. А.*) говорит Штейнберг,—которые собственно только для контрагентов должны быть обязательны, обращаются и среди других хозяйствующих субъектов и именно тем быстрее и шире, чем *центральнее* та хозяйственная роль, которую играет эмитент. В кредитных деньгах (под последними Штейнберг понимает только банковскую форму кредитной эмиссии—*З. А.*) выписанные на будущее платежные обязательства непосредственно становятся платежными средствами» [6]. Здесь же Штейнберг указывает, что если обычно ссуда денег создает денежное обязательство, то здесь, наоборот, само денежное обязательство создает деньги и является объектом ссуды.

---

[1] «Капитал», т. III, с. 347.
[2] Там же, с. 351.
[3] «Kapitalmarkt und Geldmarkt», Jena, 1916, S. 146.
[4] *Prion*, Das Wechseldiskontgschäft, Leipzig, 1907.
[5] *Albert*, Die geschichtliche Entwicklung d. Zinsfussen in Deutschsland», Leipzig, 1913.

Felix Moral, Akticnkapital unb Aktien-Emissionskurs bei industriellen Unternehmungen, 1914.
[6] *Steinberg*, Das Geldkapital, S. 97.

Штейнберг прежде всего неправ, отрицая за коммерческими векселями функции кредитных денег. Товарный вексель есть первичная форма кредитных денег, и из нее нужно исходить, чтобы понять более развитые формы. Кроме того, если отвлечься от средневековой банковской депозитной эмиссии, то и исторически коммерческие векселя, как кредитные деньги или как средство обращения, предшествуют более развитым формам кредитных денег. Но и при более развитых формах, поскольку вексель еще остается орудием коммерческого кредита, он не исключается из процесса создания кредитных денег, но, как нами было показано в другом месте, его создание и превращение в другую форму, рассматриваемое диалектически, есть не что иное, как процесс *становления* кредитных денег [1].

Однако этот процесс становления завершается превращением векселя в высшие формы кредитных денег. И только в этом смысле прав *Штейнберг*, говоря, что «векселя представляют собой выраженное в деньгах требование платежа, но еще не свободно-текучую (freie-flüssige) покупательскую силу, ибо они обычно не могут быть употреблены непосредственно на покупку других товаров. Чтобы такие притязания могли выступить в качестве покупательской силы на рынке, они должны еще принять форму, в которой они были бы акцептабельными на рынке. Только как свободно-текучая покупательская сила эти денежные притязания превращаются в денежный капитал и становятся объектом желания со стороны хозяйствующих» [2].

Конечно, эта «акцептабельность» денежных требований должна быть рассматриваема как необходимый заключительный момент процесса становления кредитных денег. Однако Штейнберг утверждает еще и нечто иное, а именно то, что благодаря этой акцептабельности создается *денежный капитал*, что, конечно, совершенно неверно, ибо банковская акцептабельность лишь превращает *одну денежную форму капитала в другую, но никакого денежного капитала не создает*. Вот почему спрос на эту «акцептабельность», т. е. *на превращение денежных требований из одной формы в другую, не есть авансовый спрос на денежный капитал*. Это спрос на деньги как средство обращения наличного капитала или на его денежную форму, но *отнюдь не спрос на капитал*, что далеко не безразлично для решения вопроса об уровне процента на ссудный капитал.

Хотя, как мы указывали, ведущая роль на ссудном рынке принадлежит капитальному кредиту, но это не значит, что спрос на денежную форму капитала, предъявляемый промышленниками и купцами, и предложение таковой со стороны депозитных и банкнотно-эмиссионных банков не влияют на уровень процента. Это было бы так только в том случае, если бы все требования на превращение капитала в денежную форму, например товарных векселей в банкноты, могли бы всегда полностью удовлетворяться, что как раз и вводит в качестве обязательной предпосылки *Бендиксен* в своей теории klassische Geldschöpfung.

Однако на практике такой неограниченной свободы превращения векселей в банкноты и жиро-счета, в силу целого ряда условий, нет, и поскольку налицо всегда *ограниченные возможности* кредитной эмиссии банков, постольку повышение спроса на средства обращения должно при прочих равных условиях повышать уровень процента. Или, как говорит Маркс, «первая трудность»—учесть вексель или получить ссуду под залог товара.

[1] См. нашу статью «К теории банковского кредита», «Под знаменем марксизма», №№ 6 и 7—8 за 1929.

[2] Ibidem, S. 69.

Трудность состоит в том, чтобы превратить в деньги капитал или торговый знак стоимости капитала. И эта трудность выражается, между прочим, в высоком размере процента» [1]. Поскольку же в данном случае мы имеем спрос на деньги, а не на капитал, то этот спрос, конечно, целиком определяет колебания учетного процента, но *верхним лимитом этих колебаний, за исключением кризисов, является процент по капитальным вложениям.*

Дисконтная политика эмиссионного банка не может не считаться с этим лимитом: «официальный уровень процента Английского банка в общем представляет собой в точности,—говорит Яффе,—рыночную цену за ссуды на *более долгий срок*: если эта норма повышается сверх 4%, то тогда становится выгодным продавать соответствующие ценные бумаги». [2] Следовательно, средний уровень процента определяется не в сфере *денежного*, но в сфере *капитального кредита*, хотя на рыночный процент каждого дня всегда влияют спрос и предложение в сфере денежного кредита, где большую роль играет дисконтная политика центрального эмиссионного банка [3]. Как увеличение средней нормы прибыли открывает возможность увеличения нормы процента, так и увеличение последней открывает возможность повышения официального и частного дисконта. Но это повышение может и не произойти, если отношение спроса и предложения в сфере денежного кредита изменилось в обратном направлении. В общем, отношение дисконта к средней норме процента в некотором отношении аналогично отношению последнего к норме прибыли.

Наибольшее ограничение банкнотной эмиссии, ввиду Пилевского акта 1844 г., имелось в Англии, и именно в Англии официальный дисконт подвержен более частым и резким колебаниям, чем, например, во Франции, где наибольшая эластичность банкнотной эмиссии дает и наибольшую устойчивость официального дисконта. Впрочем, Английский банк, по выражению *Уэйда*, играет на денежном рынке скорее роль «пассивного зрителя», чем активного регулятора, и это вполне понятно, ибо благодаря Пилевскому акту в Англии широко развилась иная форма кредитной эмиссии, именно *депозитно-чековая*, которая влияет на колебания *частного дисконта*, оторвавшегося поэтому от официального дисконта.

Наше решение вопроса о проценте, с одной стороны, согласуется с марксовой теорией, а с другой,—как показывает приведенная выше справка из труда *Яффе*—в полной мере соответствует и действительному положению вещей.

---

[1] *Маркс*, Капитал, т. III, ч. 1, с. 417.

[2] *Jaffe*, Das englische Bankwesen, 1924.

[3] Дисконтная политика Английского банка, конечно, главным образом имеет целью поддержание золотого резерва в связи с мировым значением английского денежного рынка и центральной ролью Английского банка в денежном обращении страны. Кроме того, целью дисконтной политики Английского банка, по мнению Яффе (цит. соч., с. 244), служит также стремление сдерживать спекуляцию, подрывающую солидность английской кредитной системы. Но при всем этом Английский банк в своей дисконтной политике действует обычными рыночными методами, т. е. через спрос и предложение. Повышая дисконт, Английский банк сокращает спрос на денежный кредит, но это сокращение спроса могло бы произойти только в том случае, если бы Английский банк был бы абсолютным монополистом в сфере денежного кредита, чего на самом деле нет. Поэтому дисконтная политика без применения «искусственных», по выражению Яффе, мероприятий (цит. соч., с. 255) не является определяющей для уровня дисконта денежного рынка. Ср. *Karl Lumm*, Diskontpolitik, Berlin, 1926.

Однако в период кризисов все эти отношения переворачиваются вверх ногами. Во-первых, ввиду скапливания нереализованных товарных масс, товарный капитал не может сбросить своего мундира и переодеться в денежный мундир. Между тем, производство не может продолжаться без совершения этой метаморфозы. Поэтому товарный капитал все настойчивее добивается этого сбрасывания формы. Отсюда *повышенное предложение товарного капитала и усиленный спрос на деньги*. Во-вторых, поскольку резко сократилось действительное движение капитала в кредитном процессе—не только в товарной форме, но и в денежной (сокращение инвестиций капитала), поскольку ссужаемый капитал в обоих направлениях вынужден бездействовать и, следовательно, не используется как капитал, *постольку парализуется возможность циркуляции кредитных документов*, ибо теперь уже кредитный документ—это деньги лишь в очень отдаленной или вообще сомнительной перспективе. Таким образом *росту спроса на денежную форму капитала противостоит парализовавшаяся возможность создания этой формы при посредстве кредита*.

Вот почему Маркс и говорит: «Абсолютная величина обращения оказывает определяющее влияние на размер процента *только* в периоды угнетения» [1]. Спрос на кредит здесь является спросом на действительные деньги, на всеобщий эквивалент, и резкий подъем уровня процента в этот период есть лишь показатель нарушенных пропорций в экономической системе, имманентных противоречий этой последней. *И поэтому никакого предела для уровня процента в эти периоды указать нельзя*: он может поглощать не только *всю прибыль, но и пожирать капитал*. Кто имеет золото, тот может в эти периоды за бесценок скупать предприятия, на что указывает также и Маркс [2]. Процент по капитальным вложениям резко падает, инвестиции вообще прекращаются в эти периоды; непомерно высокий процент выражает собой глубокое потрясение всего хозяйственного организма, прерванные метаморфозы капитала, невозможность превращения Т в Д. Следовательно, в эти периоды указанный выше лимит уничтожается, и *уровень процента определяется исключительно спросом на деньги и на все те формы платежных средств, которые общественно признаны*. Между тем, *Штейнберг* признает и для нормальных периодов равноправную роль как спроса на деньги, так и спроса на капитал в определении среднего уровня процента: «Независимо от того,—говорит Штейнберг,—что в первом случае заемщик не получает дополнительного капитала в свое распоряжение, но только превращает свою собственность в имеющую всеобщее хождение (gangbare) форму, а во втором случае заемщик приобретает в свое распоряжение дополнительный капитал—в обоих случаях одинаково принимается во внимание и оценивается роль кредитующего и оказываемые им народному хозяйству услуги» [3].

Это положение может быть принято лишь cum grano salis: «услуга», конечно, «принимается во внимание» в обоих случаях, но это не значит, что оба эти «случая» имеют одинаковый вес в определении среднего уровня процента единого ссудного рынка.

Что же касается тех форм, в которые могут быть превращены частные платежные обязательства, возникающие в товарном обороте, то в этом отношении мы можем вполне согласиться с Штейнбергом: «ликвидными формами»

[1] «Капитал», т. III, ч. 2, с. 70 (курсив мой.—*З. А.*)
[2] *Маркс*, Капитал, т. III, с. 346.
[3] «Das Geldkapital, S. 69.

этих частных платежных обязательств могут быть как звонкая монета, так и *банкноты* и *банковские текущие счета*» [1].

В этой связи небезынтересно отметить то своеобразное положение, которое создалось на ссудном рынке Германии в 1926 г. и которому главным образом посвящена работа *Prion'a*, Die Geldmarktlage und Reichsbankpolitik. Своеобразие положения заключалось в том, что в то время как на рынке капитальных вложений (т. е. в сфере капитального кредита) имелся большой спрос, который удовлетворялся лишь частично, на «денежном рынке» (т. е. в сфере денежного кредита) предложение, как выражается *Прион*, «краткосрочных ссудных капиталов» значительно превышало спрос на них. Отсюда основная задача кредитной политики для того момента, по мнению *Приона*, заключалась в том, чтобы «перекинуть мост через пропасть между денежным и капитальным рынком». Оценивая с этой точки зрения кредитную политику банков, Прион выдвигает ряд своих предложений, имеющих целью стимулировать приток ссудных капиталов на «капитальный рынок» [2].

Эти мероприятия сами по себе нас сейчас не интересуют. Но общая ситуация ссудного рынка в Германии в 1926 г. очень показательна и представляет несомненный теоретический интерес. Эта ситуация говорит прежде всего о том, что отчетливо проведенное еще *Марксом* и *Энгельсом* разграничение ссуды денег и ссуды капитала имеет огромное значение для капиталистической действительности и что эти два типа кредитования должны быть поэтому строжайшим образом разграничены и в теории, что положено во главу угла настоящего очерка.

Ссудный или кредитный рынок есть, конечно, *единство*, и это единство дано *единым средним уровнем процента* для всех видов кредитования. Но *единство системы* не есть нечто тождественное какой-то сплошной массе: единство не отрицает, но, наоборот, обязательно предполагает различия, и именно противоречивые различия. Такими противоречивыми элементами единого кредитного рынка являются прежде всего сферы *денежного* и *капитального кредита*.

Конкретно спрос в сфере *денежного кредита* есть по преимуществу спрос на *краткосрочный кредит, обслуживающий лишь процесс товарного обращения*; спрос же в сфере *капитального кредита* единого ссудного рынка есть по преимуществу спрос на *долгосрочный кредит, т. е. на кредит, предназначенный как для нового грюндерства, так и для расширения масштаба функционирующих предприятий*. Обе эти сферы единого ссудного рынка питаются *различными по своей природе фондами банковского кредитования*. В то время как капитальный кредит с точки зрения нормального хода воспроизводственного процесса может обслуживаться только *аккумулированными фондами*, а если речь идет о банках, то аккумулированными депозитами, источником денежного кредита могут быть *эмитированные банками депозиты* или равноценные им по своей природе «свободные», т. е. непокрытые золотой наличностью, банкноты. В соответствии с различной природой этих двух фондов банковского кредитования, каждая из указанных

---

[1] «Товарные притязания («Güteransprüche»), возникшие благодаря продаже товаров, должны, следовательно, быть превращены либо в деньги, эмитируемые государством или нотным банком, либо должны принять гарантируемую банком денежную форму (банковских денег), чтобы стать способными к циркуляции деньгами» («Das Geldkapital», S. 69).

[2] *Prion*, Die Geldmarktlage unb Reichsbankpolitik, Leipzig, 1927, S. 10.

сфер единого ссудного рынка наряду с общими имеет и свои *специфические закономерности*.

Что касается общей закономерности ссудного рынка как целого, то таковая дана закономерностями самого воспроизводственного процесса, а именно с расширением капиталоаккумуляции (капитализации *m*—прибавочной стоимости), а следовательно с ростом капитального кредита, происходит общее расширение как отраслей, производящих средства производства, так и отраслей, производящих средства потребления. Это расширение производства означает вместе с тем и расширение объема товарной реализации, следовательно *товарного обращения*. С ростом же этого последнего расширяется и *коммерческий кредит*, следовательно и первичная кредитная эмиссия (вексельная), чем *создаются необходимые предпосылки и для расширения всех форм банковской эмиссии*, т. е. *денежного кредита*.

Таким образом увеличение предложения в сфере капитального кредита порождает и расширение возможностей кредитования в сфере денежного кредита. *Общий объем ссудного рынка расширяется в обоих направлениях*, и если спрос все же растет сильнее предложения, а норма прибыли, в связи с поднимающимися вверх товарными цепами, также растет, то *происходит и постепенное повышение среднего уровня процента*, что всегда имеет место в первой стадии подъема конъюнктуры. С ростом же среднего уровня процента, поскольку банковская эмиссия на практике никогда не безгранична, повышается верхний лимит для процента по денежным ссудам, т. е. *дисконта*. Такова общая закономерность единого ссудного рынка, в основе которой лежат, как мы видели, общие закономерности циклического движения капитализма.

Но наряду с этим, сфера денежного кредита имеет и свои специфические закономерности. Эти последние в значительной мере зависят от тех конкретных норм, которые регулируют банковскую эмиссию в каждой данной стране. *Эти специфические закономерности денежного рынка и определили собой ситуацию германского ссудного рынка в 1926 г.* В то время как Германия в этот период испытывала острую нужду в капитальном кредите для развития производства при благоприятной общерыночной конъюнктуре, денежный кредит не испытывал никаких стеснений в связи с *форсированием банковской эмиссии*. Дело в том, что к этому моменту Германия получила «стабилизационные кредиты» в сумме 2,4 млрд. марок, целиком брошенные в обращение [1]. Кроме того, Рейхсбанк сам широко развивал банкнотную эмиссию, выбросив на ссудный рынок миллиард марок (Prion, цит. соч. S. 30). Но это только та сумма банковской эмиссии, которую может учесть официальная статистика. Однако помимо этого произошло и значительное расширение *депозитно-чековой эмиссии*, объем которой не поддается цифровому учету. В результате сфера денежного кредита ссудного рынка оказалась перенасыщенной. Производство, сравнительно слабо питаемое капитальным кредитом, не могло дать основы для такого расширения коммерческого кредита, при котором был бы создан достаточный по объему для этой широкой банковской эмиссии материал, нуждающийся в банковской «переработке». Таковы действительные причины аномалии германского ссудного рынка в 1926 г., но выходом из этой аномалии не мог быть тот «мост», который предлагал «перекинуть» *Прион* между «денежным и капитальным

[1] Прион считает, что *эта* эмиссия не оказала влияния на цены, так как увеличение денежной массы на 2,4 млрд. марок было компенсировано сильным уменьшением скорости обращения денег (Prion, цит. соч. S. 30).

рынком». Только следуя за *Ганом* и *Шумпетером*, можно надеяться на привлечение так называемых «капиталов» «из денежного» на «капитальный» рынок. Не расширение капитального кредита за счет денежного, что невозможно, а либо расширение самого капитального кредита за счет внутренних сбережений или иностранных займов, либо сокращение банковской эмиссии—таков был действительный выход из создавшегося положения.

Но допустим обратное: налицо достаточное предложение в сфере капитального кредита и недостаточное предложение в сфере денежного кредита. Первое может быть обусловлено интенсивным ростом внутренней аккумуляции доходов и притоком иностранных капиталов, второе—теми стеснениями, которыми связывается эмиссия как в банкнотной, так и в депозитно-чековой формах.

В этом случае должны быть изменены регулирующие банковскую эмиссию нормы в направлении экспансии этой последней. Перелив же капиталов в сферу денежного кредита с общественной точки зрения был бы нерациональным, ибо при этом, без какой-бы то ни было действительной к тому нужды, сократился бы объем капитального кредита, следовательно, *объем производства* и производительные возможности не были бы полностью использованы. Таковы противоречия единого ссудного рынка: приведенный нами конкретный пример вполне подтвердил наличие этих противоречий и их реальное значение.

2. ИММАНЕНТНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА. НЕВОЗМОЖНОСТЬ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ЭКСПАНСИИ.

Как же действуют установленные нами в 1 разделе общие закономерности банковского кредита или каким образом устанавливается равновесие его элементов? Ответ может быть только один: дело обстоит так же, как и со всеми прочими законами политической экономии—стоимостью, деньгами, воспроизводством и т. д. *Тенденция стихийного нормирования осуществляется непрерывным процессом нарушений нормы, и иначе этой последней вообще не существует.* Или, говоря словами Маркса, «при капиталистическом способе производства пропорциональность отдельных отраслей производства выступает из диспропорциональности, как постоянный процесс» [1].

Точно так же и в отношении банковского кредита: пропорциональность отдельных его элементов и всего банковского кредита в системе капиталистического воспроизводства «выступает из диспропорциональности как постоянный процесс». Наше задача теперь заключается в том, чтобы охарактеризовать эти основные диспропорции и формы их проявления, поскольку через них и только через них достигается с большим или меньшим приближением равновесие банковского кредита в системе воспроизводства. Начнем с *капитального кредита.*

Этот кредит выполняет уже известную нам функцию капиталообразования и капиталораспределения. Здесь же, между прочим, нужно заметить, что безусловно неправильна трактовка марксовых взглядов на кредит, как равнозначных взглядам *Рикардо—Дж. Ст. Милля.* В отличие от этих последних, Маркс не уставал подчеркивать, что «деньги и товары точно так же, как средства существования и средства производства, отнюдь не являются капиталом сами по себе. *Они должны быть превращены в капитал*»[2]. И сущ-

[1] «Капитал», т. III, с. 233.
[2] «Капитал», т. I, с. 707.

ность кредита Маркс как-раз видит в *особой форме* этого превращения денег в капитал, о чем мы уже говорили. При посредстве капитального кредита деньги превращаются в капитал: источником же этого кредита служат аккумулированные денежные фонды. Однако под формой капитального кредита происходит реализация этих фондов в порядке, противоречащем капиталу. Достаточно указать на *государственный кредит*, а в особенности в тех случаях, когда этот последний финансирует разрушение народного хозяйства (война). Сюда же относится и финансирование коммунального хозяйства, поскольку это последнее не связано с капиталистической эксплоатацией городских предприятий (например, городского благоустройства) и т. п. В банковских портфелях всегда находится огромное количество этого рода цепных бумаг, и, таким образом, на всю их сумму сокращается объем возможного капитального кредитования за счет этих фондов. *Можно установить как общее правило, что при отсутствии кредитной инфляции* (финансирования производства за счет эмитируемых средств обращения) *объем капитального кредита всегда меньше соответствующего ему фонда кредитования.*

Из этого противоречия между возможным и действительным объемами капитального кредитования, между кредитным фондом и его реализацией вытекает новое противоречие между капитальным и денежным кредитом, к анализу которого мы переходим.

Вообще говоря, кредитная эмиссия всегда ограничена наличными материальными фондами воспроизводства. Далее, так как все *эти фонды в каждый данный момент находятся в собственности тех или иных лиц*, то в случае финансирования оборотных капиталов за счет эмиссии ad hoc (речь идет о приобретении добавочной массы сырья и найме рабочей силы, а не о реализации товаров), произойдет перекачка этих фондов от их собственников к капиталистам, пользующимся эмиссией. Но в конце-концов ведь кто-то должен оплатить этот инфляционный налог, так как в этом случае банк выпускает товарный знак (например, банкноту) несуществующей в распоряжении заемщика ценности (в противоположность обычному учету товарных векселей). Этому знаку банк придает такие же права на товар, как и действительному товарному знаку; инфляционный налог в конце-концов заплатит тот, кто продал свои x ценностей за y в банкнотах и купил на эти y банкнот x других ценностей. Таким образом даже расширение кредитования в оборотный капитал предприятий за счет банковской эмиссии может привести к инфляции (общей или частной).

Однако этого рода инфляционный кредит имеет свою строго определенную границу, определяемую структурой производительного капитала. В самом деле: величина оборотного капитала всегда находится в определенной пропорции к величине основного капитала. Техническое оборудование предприятия x допускает определенную максимальную нагрузку рабочей силой и сырьем, и сверх этой границы невозможно финансирование оборотного капитала данного предприятия. Конечно, коэфициент производственной нагрузки предприятия обладает широкой эластичностью на различных этапах промышленного цикла. Этот коэфициент может падать до нуля в момент кризиса (т. е. имеет место временное консервирование оборудования, следовательно сохранение основного и уничтожение оборотного капитала), затем этот коэфициент выражается в более или менее низком проценте в период депрессии, и, наконец, непрерывно растет при подъеме, пока не достигает

предельной цифры—100% нагрузки. *Таким образом высший коэфициент полезного действия основного капитала является вместе с тем и высшей границей роста оборотного капитала, а вместе с тем и высшей границей кредитной эмиссии, но лишь постольку, поскольку эта последняя не обслуживает грюндерства.*

Но этим дело никогда не ограничивается. Производственная экспансия в период подъема, правда, никогда не начинается, вопреки мнению *Гана* и *Шумпетера*, с кредитной экспансии. Толчком для подъема служат аккумулированные денежные фонды, которым соответствуют наличные в обществе материальные фонды производства. Но первая грюндерская волна, базирующаяся на аккумулированных кредитных фондах и выражающаяся в новом промышленном строительстве, сама по себе расширяет спрос на средства производства и средства потребления, что и вызывает общую повышательную волну. Естественно, что этот новый спрос прежде всего удовлетворяется наличными производственными предприятиями, которые от полной консервации или частичной нагрузки переходят к максимальной нагрузке. Но так как аккумулированные фонды уже использованы для грюндерства, то вполне естественно повышение требований к эмитируемым фондам для экспансии оборотных капиталов. Это в свою очередь еще более усиливает повышательную волну, так как приводит к дальнейшему росту цен, что открывает новые возможности для рентабельного приложения аккумулированных фондов, и, следовательно, стимулирует накопление. Так рост аккумуляции идет рука об руку с ростом кредитной экспансии. Спрос и цены растут настолько быстро, что находящихся в действии производительных капиталов и имеющихся в наличии аккумулированных фондов уже недостаточно для обуреваемых грюндерской горячкой капиталистов...

Здесь-то и наступает самый трагический момент капиталистической конъюнктуры. Если в начале подъема, как мы указали, кредитная экспансия лишь сопутствовала этому процессу, то чем ближе дело приближается к развязке, тем все более активной и ведущей становится роль кредитной экспансии. Когда расширение оборотных капиталов уже достигло своего предела, а спрос и цены продолжают расти, естественно спрос на ссудные капиталы достигает высшей точки. При этом, так как аккумулированные фонды уже исчерпаны, то вполне естественно, что банки, обладающие возможностями кредитной эмиссии, не могут устоять перед соблазном финансировать грюндерство за счет этой последней. Тем самым как бы компенсируется отмеченный выше дефицит в объеме капитального кредита по сравнению с теми фондами капитального кредитования, которыми располагает общество. И в этом признании необходимости кредитной экспансии вполне правы все экспансивисты, но они не учитывают той «мелочи», что талое финансирование не есть в обычном смысле «нормальный процесс», но *«начало конца» конъюнктуры*, последний этап подъема. И нет никакого сомнения, что такое финансирование са счет ad hoc создаваемой покупательской силы, противоречащее выше обрисованным функциям кредитной эмиссии, не может не обострять имманентных капитализму противоречий и, следовательно, не приближать трагический момент взрыва этих противоречий—кризиса. *Таким образом «специальное» противоречие кредитной эмиссии находит свое разрешение в той общей форме, в которой проявляется вообще противоречивость капиталистической динамики—в кризисах.*

Капитализм снова и снова наталкивается на ту самую металлическую границу, от которой его освобождает кредитная эмиссия, и наталкивается

на эту границу именно в силу имманентных самой кредитной экспансии противоречий, обрисованных выше. «С развитием кредитной системы капиталистическое производство непрерывно стремится разрушить... металлическую границу—эту одновременно вещественную и фантастическую границу богатства и его движения,—но все снова и снова разбивает себе голову об эту границу» [1] и поэтому *«банки и кредит становятся в одно и то же время и самым сильным из средств, выводящих капиталистическое производство за его собственные пределы, и одним из самых мощных очагов кризисов и спекуляции»* [2]. Именно этого имманентного кредиту и кредитной экспансии противоречия не могут понять ни натуралисты, ни экспансивисты, хотя *Зомбарт* из числа этих последних ближе всех подходит к пониманию этого противоречия.

Присущее вообще капитализму противоречие между общественным характером производства и частным присвоением находит свое адэкватное выражение в противоречии между общественной функцией кредитной эмиссии и частнокапиталистическими методами ее реализации.

Кредитная эмиссия выполняет, как это было выше показано, положительную общественную функцию: она сокращает faux frais обращения, заменяя металл простыми бумажками. Но самое важное—это то, что благодаря возможности создания нот и текущих счетов *обращение становится эластичным*, расширяющимся и сокращающимся в зависимости от производства и сбыта, а не *металлического фонда*. Отсюда теоретически нетрудно установить и возможную границу этого создания средств обращения. Она дана объемом товарного обращения. Однако эластичной является и *сама эта граница*, ибо этот процесс создания средств обращения есть *стихийный анархический* процесс; общественная функция (создание определенной необходимой для обращения массы средств обращения) выполняется *частными, разрозненными действиями отдельных банков*. Каждый из этих эмитирующих средств обращения банков стремится к увеличению своей собственной прибыли и не имеет в виду общественных функций, хотя только эти последние и обусловливают самую возможность создания средств обращения. Поэтому масса средств обращения всегда больше или меньше, но *никогда не равна* ценности реализуемой товарной массы. Расширение и сокращение массы эмитируемых средств обращения всегда идет скачками, и никогда в точности не пропорционально сокращению и расширению общественного производства. В одни периоды эмиссия средств обращения обгоняет, в другие отстает от роста товарооборота. В *игнорировании этого закономерного несовпадения в каждый данный момент при наличии постоянной тенденции к совпадению этих двух компонентов (товарного и денежного) и заключается основная ошибка banking school*. В основе их концепции лежит ложная и свойственная всей вообще классической школе предпосылка о совпадении частных и общих интересов в результате свободной конкуренции. Между тем, хотя общественный закон и господствует над частными действиями, но соответствие этих последних общественной функции выясняется *лишь post factum*, когда равновесие уже нарушено, и *именно только через это нарушение и может проявляться общественный закон в анархическом, капиталистическом строе*. Между тем, banking school идеализировала капиталистический строй и принцип свободной конкуренции, по-

[1] «Капитал», т. III, с. 114.
[2] Там же, с. 148.

лагая, что если будут соблюдены выдвигаемые ими требования в отношении условий банковской эмиссии, то эта последняя всегда будет равна объему товарного обращения, и никакие кризисы невозможны. «Невежественное и нелепое банковое законодательство—вроде законов 1844—1845 гг.,—говорит Маркс,—может усилить этот денежный кризис, но никакое банковое законодательство не может устранить кризиса» [1].

Концепция этой школы неверна потому, что она игнорирует самую сущность капитализма, анархию производства и обращения, каковая не может быть устранена без того, чтобы не был уничтожен самый капитализм. Поэтому ни currency school, ни banking school не видели истины, поскольку обе школы надеялись путем определенной кредитно-денежной политики устранить кризисы. Ниже мы покажем, что в самой природе активных банковских операций заложено противоречие между частными действиями банков и их общественной функцией. Но banking school имеет точки соприкосновения с экспансивистической теорией: обе эти школы устанавливают объективную необходимость для капитализма эмиссии средств обращения...

Итак, в самой возможности кредитной экспансии заключается противоречие. В интересах общественного хозяйства, как целого, необходима экспансия лишь в объеме, соответствующем товарному обращению (а последнее соответствует объему производства), в интересах же *отдельных банков и отдельных предпринимателей* необходима экспансия, далеко выходящая за эти пределы, а именно поощряющая широкое грюндерство в целях использования конъюнктуры. Натуралисты же считают, что поскольку необходима экспансия первого типа, постольку так и *должно быть*. Они «устраняют» противоречие на бумаге, но оно существует в действительности. Они рассуждают точно так же, как классики (Сэ, Рикардо) в отношении кризисов вообще. Классики, как известно, признавали единство потребления и производства (покупки и продажи) и отрицали их противоречие и на этом основании не допускали возможности всеобщих кризисов. По поводу этой теории Маркс вполне резонно заметил: «но на самом деле кризис существует, так как эти противоречия существуют. Всякий довод, который они приводят против кризиса, есть *противоречие, которое устранено ими лишь в воображении*; следовательно, это реальное противоречие, значит и довод, говорящий в пользу кризиса. Их попытки устранить противоречия фантастическими доводами являются лишь подтверждением действительно существующих противоречий, которые согласно их благочестивому желанию не должны существовать» [2].

Но это замечание Маркса в полной мере относится к современным теориям кредита, как экспансивистической, так и натуралистической, ибо обе эти теории с разных сторон игнорируют имманентные капитализму противоречия. Принципиальный спор о сущности и роли кредита между теоретиками этого направления есть отражение противоречий самого кредита, изолированных в своих полюсах...

Thomas'у Hankey, бывшему в свое время авторитетным управляющим Английского банка, казалось, что он открыл секрет банковского кредита. Он утверждал, что для устранения всех трудностей банковского дела достаточно только.... понять различие между *ипотекой и векселем*, т. е. краткосрочными и легко реализуемыми и долгосрочными и трудно реали-

[1] «Капитал», т. III_2, с. 114.
[2] «Теории прибавочной ценности», т. II_2, с. 187.

зуемыми обязательствами [1]. Конечно, в некотором отношении Hankey был прав, ибо на самом деле за этим различием ипотеки и векселя скрывается имеющее кардинальное значение для банковской теории и политики проанализированное выше различие между денежным и капитальным кредитом или авансовой и реставрационной ссудой. Но если даже это различие правильно понято, то этого еще недостаточно: нужно понять еще и противоречия этих двух видов кредита в единстве—банковской ссуде. Однако *понять* противоречие еще не значит *устранить* таковое, ибо, поскольку сохраняется капитализм и банковская система как его составная часть, постольку существуют и не могут быть устранены реальные и органически присущие банковскому кредиту противоречия.

Вся история европейских банков красноречиво говорит о том, что эти противоречия имманентны капиталистической динамике. Кризисы и многочисленные крахи банков сопутствовали во всех странах развитию кредитной системы. Устранение основных противоречий банковского кредита возможно было бы только в том случае, если бы: 1) две сферы кредитования (денежного и капитального) были бы строжайшим образом диференцированы и 2) каждая сфера регулировалась бы исключительно центральным органом в общественных интересах в соответствии с охарактеризованными выше нормальными их закономерностями. Но такое регулирование означало бы конец свободной конкуренции и частнокапиталистического строя и при последовательном проведении потребовало бы общественного регулирования всего воспроизводственного процесса: между тем «плановое капиталистическое хозяйство» невозможно: оно есть nonsens! [2]

В то же время история капитализма показывает, что даже первый шаг на пути разрешения данного противоречия не под силу этой системе, хотя стихийно тенденция диференцирования денежного и капитального кредита имеет место. Так, например, лондонские депозитные банки до начала XX столетия (особенно 70—80-е годы) в наибольшей мере приблизились к типу банков чисто денежного кредита. С другой стороны, такого рода учреждения, как «Trust-Companie» или «Beteiligungs-und Finanz erungsgesellschaften», как-будто представляют собой чисто финансирующие учреждения, т. е. обслуживающие сферу капитального кредита.

В противоположность этим типам, наибольшая степень *интегрирования* функций кредита достигнута в банках немецкого типа, где мы имели систему «соединения труда» в отличие от английской системы «разделения труда» (прошлого века).

Но эти чисто организационного порядка особенности английской системы не дают того *действительного диференцирования функций*, которое необходимо для регулирования кредита: при всей видимости диференциации, функции по существу интегрированы даже в английской системе, что *объясняется единством ссудного рынка и невозможностью это единство разорвать*. Капитальное кредитование в оборотный капитал представляет собою тот мост между денежным и капитальным кредитом, который не может быть устранен никакой организационной структурой кредитной системы. В пассиве же этому капитальному кредиту соответствуют *аккумулированные депозиты*.

---

[1] См. *Jaffe*, Das englische Bankwesen, 1924.

[2] Это отмечает и Карл Диль в своей критике идеи «кредитного контроля» (см. «Theoretische Nationalökonomie», B. III).

Коль скоро мы имеем *депозитный банк*, который не только эмитирует, но и аккумулирует депозиты; коль скоро действует закон стабильности вкладов, функции денежного кредита не могут быть практически отделены от функций капитального кредита, ибо аккумулированные депозиты всегда образуют фонд капитального кредитования. *Таким образом, депозитные банки по самой своей природе не могут отказаться от капитального кредитования, по крайней мере, в оборотный капитал*, и только смешением денежного кредита с капитальным кредитом в оборотный капитал можно объяснить ошибку тех, которые видят глубокие принципиальные отличия в немецком и английском типах кредитных систем.

Но если устранить эту путаницу, то все же как-будто остается важное различие между банками, обслуживающими процесс товарной реализации (денежный кредит) плюс кредитование в оборотный капитал, и банками, которые наряду с этим «финансируют» [1] предприятия, т. е. занимаются капитальным кредитованием в основной капитал—грюндерством. Повидимому, все же в первом случае мы имеем диференциацию функций в отличие от полной их интеграции во втором случае, что соответствует установленному *Вебером* различию между «депозитным» банком английского типа и «депозитным и спекулятивным банком» немецкого типа. Но и это неверно и вот почему:

Во-первых, коль скоро мы имеем *депозитный банк*, последний всегда располагает не только относительно стабильными, но и абсолютно стабильными депозитами, которые образуют фонд кредитования в основной капитал. Следовательно, закрепление части депозитов в грюндерство прямо вытекает из природы «чисто» депозитного банка. С другой стороны, в процессе развития конъюнктуры экспансия кредитования в оборотный капитал всегда наталкивается на ограниченность наличных основных капиталов. Поэтому, *если, например, состояние депозитов позволяет расширять капитальное кредитование, а расширение оборотных капиталов уже достигло своих пределов, то либо депозиты должны осесть мертвым грузом в кассах банков, что невозможно, либо расширение капитального кредитования должно пойти по линии «финансирования», т. е. кредитования в основной капитал. Так, чисто «депозитные банки» с объективной необходимостью вынуждены «ввязываться» в грюндерство, и именно этой необходимостью объясняется победа немецкого типа банков во всех странах, и в том числе в Англии* [2].

[1] «Финансирование»—термин вообще неопределенный. Лифман понимает под финансированием получение денег для создания основного капитала предприятия, что он называет stehendes Kapital (См. *R. Liefmann*, Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften, S. 387). Однако, всякое вновь создаваемое предприятие нуждается не только в основном, но и в оборотном капитале. Поэтому финансирование должно доставить предприятию и оборотный капитал. Но специфичным для финансирования, и в этом мы согласны с Лифманом, нужно считать капитальное кредитование в основной капитал в отличие как от капитального кредитования, обслуживающего расширение только оборотного капитала, так и от чисто денежного кредитования, не изменяющего величины функционирующего капитала.

[2] По сводному балансу 10 крупнейших английских банков (за исключением Английского банка), на 1926 г. капиталы и резервы вместе взятые составляют 6% баланса; в то же время «инвестиции» или эффекты (investments)—16,2% (см. *Wade*, Moderne Finance and Bankirg, London, 1926, p. 19). Таким образом, и английские банки уже в достаточной мере ввязались в операции по финансированию за счет депозитов, а не только собственных капиталов. Нужно полагать, что и в составе статьи ссуды (advances), равной 40,6%, немалая доля падает на финансирование.

В специальной литературе долгое время господствовало мнение о том, что английские так называемые «депозитные банки» не имеют тесных связей с промышленностью, если не считать обычных, кассового характера текущих счетов промышленников в этих банках и краткосрочных учетно-ссудных операций. Наряду с этим считалось общепризнанным, что немецкие «депозитные банки» находятся в такой тесной «деловой» связи с промышленностью, что трудно разграничить интересы банков, с одной стороны, и связанных с ним отраслей промышленности, с другой стороны. Именно этот момент дал основание *Гильфердингу*, опиравшемуся на конкретно-описательные исследования *Ейдельса*, *Риссера*, *Приона* и др. немецких авторов, дать определение новейшей стадии капитализма как эпохи *финансового капитала*. Однако поскольку все эти исследования давали определенный ответ об организационных формах капитализма лишь по отношению *одной Германии, могли возникнуть сомнения относительно правильности общей характеристики современного капитализма, как эпохи финансового капитала.*

Как бы высоко мы ни оценивали удельный вес Германии в мировой системе капитализма, однако исследования эволюции организационных форм капитализма только в одной этой стране не могут быть прямо, как выражаются статистики, *экстраполированы* на всю мировую капиталистическую систему. Повидимому, в пользу невозможности подобной экстраполяции говорил тот факт, что как раз большинство исследователей эволюции германского капитализма не только не распространяло своих выводов на другие страны, но, наоборот, организационные формы германского капитализма всегда *противопоставлялись* экономической системе других стран, и в первую очередь Англии—столь же первоклассной, как и Германия, передовой капиталистической стране.

Эта противоположность финансовой организации капиталистических систем Германии и Англии выпукло подчеркивалась такими авторами, как *Фогельштейном* (Vogelstein) [1], *Яффе* [2], *Гасбахом* (Hasbach) [3], *Вебером* [4] и др., которые в один голос повторяли, что лондонские банки совершенно не занимаются промышленным кредитованием или финансированием на манер немецких банков. Эти категорические заявления немецких исследователей имели опору в публичных выступлениях некоторых крупных практиков, и в результате эта точка зрения, ставившая вместе с тем под сомнение правильность марксистской характеристики современного капитализма, стала общепризнанной и даже как бы элементарной истиной. Как же эта версия не могла быть истиной, если такой опытный и широко известный в деловых кругах банковский практик, как *Людвиг Иозеф* (Ludvig Joseph), лондонский директор *Schweizer Bankwesen*, заявил однажды, что «банки (английские.—*З. А.*) не принимают совершенно никакого участия в финансировании железоделательной промышленности в Бирмингаме, Шеффильде и т. д., хлопчатобумажной и ткацкой промышленности в Ирландии, машиноделательной и кораблестроительной промышленности в Клайде».

---

[1] *Vogelstein*, Die Industrie und der Kapitalmarkt, Bankarchiw, Jahrg. 1908—09, S. 342.

[2] *Jaffe*, Das englische Bankwesen, 2 Aufl. Leipzig, 1910, S. 213 и след.

[3] *Hasbach*, Zur Charakteristik der englischen Industrie, Schmollers Jahrbücher, 26 Jahrg, 1902, H. II S. 131.

[4] *A. Weber*, Depositen-unb Spekulationsbanken, изд. 1-е, 1902, S. 105.

Однако новейшее исследование «Финансовая надстройка английской промышленности» *Карла Визера*, вышедшее посмертным изданием в 1919 г., совершенно опровергает эту версию, ставшую штампованной формулой. Визер начинает с того, что приводит список советов (Verwaltungsrat) английских банков, в котором красуются имена крупнейших английских промышленников, и заявляет, что «это только пара примеров из длинного ряда фактов, говорящих о том, что английский банковский мир должен находиться в более близких отношениях с промышленностью, чем это обычно считается. Это положение подтверждается многочисленными балансами английских промышленных обществ, которые либо открыто показывают банковские кредиты, либо их проводят среди своих кредиторов таким образом, что едва ли могут возникнуть сомнения о природе этих сумм» [1]. Но вместе с тем Визер отмечает действительное различие в характере деятельности немецких и английских банков, заключающееся в том, что последние *избегают эмиссионных операций за свой счет*. Лишь «в этой особенности,—подчеркивает Визер,—английских банков по сравнению с немецкими коренится в конечном счете глубокое различие во взаимоотношениях немецких и английских банков с промышленностью», но отнюдь не в том, что английские банки вообще изолированы от своей промышленности.

Но мы сомневаемся, насколько эта констатированная Визером особенность английской кредитной системы дает основание говорить о «глубоких» различиях между английскими и немецкими банками. Правда, Визер после тщательного, повидимому, «обследования» не нашел в портфелях английских банков акций и облигаций промышленных предприятий. Визер ничего не говорит о *залоговом портфеле*: между тем в этом последнем несомненно постоянно имеется солидный запас эффектов, о чем свидетельствует тот же Яффе. И это вполне естественно: Визер приводит целую серию фактов *банковского финансирования грюндерства* в форме так называемого «Vorläufigen Anlagekredit» («предварительный кредит в основной капитал»), чем и создается солидная база для грюндерства. Возьмем на выбор несколько примеров, которые смогут иллюстрировать типичные в Англии приемы финансирования грюндерства. Mond Nichel Company берет этот «предварительный кредит» в сумме 150 000 ф. ст. для постройки нового предприятия в Уэльсе. Вскоре же этот заем погашается выпуском акций. Аналогичным образом London Country and Westminster Bank вместе с Barclay and C° Ltd производит финансирование крупной эмиссии Bansomes, Sims and Jeffers Ltd; Capital and Country Bank ставит на ноги тем же приемом фирму Thomas Bolton and Sons Ltd, а Boston Proctor and C° получает те же «предварительные», но солидные по величине кредиты (свыше 150 000 ф. ст. от Union of London and Smith's Bank. Не подлежит сомнению, что все эти «предварительные кредиты» подвели финансовую базу под английскую промышленность, и дело отнюдь не заканчивается простым содействием по реализации эмиссии или временной поддержкой до получения акционерно-облигационных кредитов от широкой публики.

После того как эмиссия совершена и предприятие получило финансовую базу, связь с банком обычно не порывается: она поддерживается и, повидимому, довольно энергично в форме overdraft, т. е. *контокоррентного*

[1] *Carl Wieser*, Der finanzielle Aufbau der englischen Industrie, Jena, Gustav Fischer, 1919, S. 227. Здесь же Визер указывает, что лишь в виде исключения в портфелях английских банков можно найти акции и облигации промышленных предприятий, находящиеся в собственности банков.

кредита. Симптоматично, что английский «Economist» 28 марта 1913 г. писал, что Cammel Laird and C° Ltd живет за счет overdraft'ов банков, а приводимый Визером анализ финансового положения этого предприятия вполне подтверждает мнение «Economist'a». Если Cammel Laird and C° Ltd только и держался на overdraft'е, то многие другие промышленные компании по крайней мере энергично «поддерживаются» overdraft'ом.

И на прямой вопрос о том, где же больше развит промышленный кредит, в Англии или Германии, Визер отказывается дать ответ. С одной стороны, он ссылается на наличие таких моментов, которые вообще не поддаются цифровому учету, а с другой стороны, полагает, что отмеченные выше «качественные раличия делают невозможной постановку такого сравнения. Не в количестве, но в качестве, не в объеме, но в характере банковского кредитования по ту и по сю сторону Немецкого моря заложено, как я думаю, существо различий во взаимоотношениях немецких и английских банков с промышленностью» [1].

Факт широчайшего финансирования промышленности английскими банками вполне доказан. Если же в Англии несколько иные формы финансирования, то это существо дела не меняет: «сращивание» банковского капитала с промышленным налицо в Англии, и раз так, то *отпадает мнимая противоположность капиталистических систем Англии и Германии, и вполне подтверждается общая характеристика современного капитализма как эпохи финансового капитала* [1].

В Америке (США) мы наблюдаем ту же самую картину. Так же, как и в Англии, здесь до самого последнего времени в специальной литературе понятие банка вообще отождествлялось с чисто депозитным банком, занимающимся исключительно приемом депозитов до востребования, эмиссией банкнот и предоставлением краткосрочных кредитов *торговле*. Такую характеристику банка можно встретить даже в новейших работах, посвященных банкам, как, например, у Willis'a [2], Holdsworth'a [3] и Westerfeld'a [4]. Все эти авторы характеризуют банк как предприятие, занимающееся торговым и именно *краткосрочным, коммерческим* кредитом («Commercial credit»).

Однако все эти авторы не учитывают того обстоятельства, что если с точки зрения банка деньги вложены в краткосрочные или так называемые «легкомобильные активы», то это еще не значит, что деньги не идут на финансирование промышленности. Автор самого новейшего исследования американской банковой системы Hellwig констатирует тот факт, что средства, собираемые местными банками, концессионированными в пределах отдельных штатов (Staatenbanken), «концентрируются в огромные суммы и крупных денежных центрах, прежде всего в Нью-Йорке и Чикаго, *и служат там в подавляющей массе для финансирования биржевой эффектной спекуляции, следовательно, в конечном счете идут на кредитование в основной капитал* (Anlagekredit)[5]. Курсив наш.—*З. А.*). В связи с этим Hellwig приходит к совершенно правильному выводу, что вовлечение банков в грюн-

[1] Ср. *Carl Wieser*, Der finanzielle Aufbau der englischen Industrie, Jena, Gustav Fischer, s. 313—314.

[2] *H. P. Willis*, American Banking, Chicago, 1924, p. 7.

[3] *Holdsworth* Money and Banking, New-York, 1925, p. 129.

[4] *Westerfield*, Banking Principles and Practice, New-York, 1924, p. 73

[5] *Rudolf Hellwig*, Das Bankwesen der Vereinigten Staaten von Amerika, Struktur und Entwicklungstendenzen, Jena 1928, S. 28.

дерские операции и долгосрочное кредитование промышленности «не дает уже больше возможности штатные банки (Staatenbanken) в своей массе рассматривать как чисто депозитные банки» [1].

Так разрушается теория «чистых» депозитных банков... В связи с этим мы напомним ту характеристику эмиссионных операций банков, которую дал еще Ейдельс в своей известной работе о взаимоотношениях немецких банков и промышленности. С одной стороны, он рассматривает эмиссионные операции как «банковскую сделку с определенными особенностями». Однако «в рамках современного банковского кредитования промышленности,—говорит Ейдельс,—эмиссия также должна рассматриваться как звено большого целого (als Glied eines Ganzen), которое в своей совершеннейшей форме есть длительная, охватывающая все операции, коммерческая связь предприятий с отдельным банком. *Эта сторая сторона эмиссионного дела становится все более характерной чертой современных промышленных отношений.* Для вопроса о взаимоотношениях банка и промышленности значительно менее важна эмиссия, как таковая, как отдельная сделка,—как бы ни была она важна для промышленного предприятия,—чем как звено в общем ряду сделок, которым эта связь с банком осуществляется. Только в общем итоге, в связи с другими операциями, следовательно, как введение в регулярные, длительные, определяющие все судьбы предприятия коммерческие взаимоотношения, эмиссия является выражением тесных связей между банками и индустрией» [2].

Но развитие этих связей между индустрией и банками [3] не устраняет того, что банки остаются *депозитными банками* но, конечно, не «чистыми» депозитными банками в обычном смысле, и что *именно за счет депозитов банки создают финансовую базу современной индустрии.*

Теоретически выше нами было доказано, что так называемые «депозитные банки» не могут не заниматься финансированием промышленности. Закон стабильности депозитов при наличии непрерывно растущих финансовых потребностей капиталистической промышленности, которая не может ограничиться эпизодическими эмиссиями, но нуждается в постоянной кредитной поддержке и при том в эластичных формах контокоррентного кредита, с принудительной необходимостью заставляет банки порывать с прежними представлениями «чистоты» и «краткосрочности» операций и все больше ввязываться в *долгосрочное финансирование промышленности.*

Мы не можем не согласиться с *Вебером*, что, вопреки мнению апологетов старой английской кредитной системы, сочетание так называемых «регулярных» операций с «иррегулярными» или «спекулятивными» дает основание для относительно большей устойчивости немецких депозитных банков и вместе с тем всей немецкой кредитной системы по сравнению с староанглийской системой. Вебер считает, что в Германии грюндерство находится в твердых руках солидных банков, ведущих умелую банковскую политику, что до известной степени страхует Германию от фиктивного грюндерства, столь распространенного в Англии [4]. Для Вебера, немецкие банки—это национальная гордость Германии: «Немецкое грюн-

[1] *Rudolf Hellwig*, Das Bankwesen der Vereinigten Staaten von Amerika, Struktur und Entwicklungstendenzen, Jena 1908, S. 28.

[2] *Jeidels*, Das Verhältniss der deutschen Grossbanken zur Industrie, 1905, S. 107.

[3] Приведенную в тексте характеристику эмиссии целиком принимает и Визер в отношении Англии. См. *Wieser*, цит. соч., с. 227—228.

[4] См. статью Вебера, специально написанную для русской «Банковской энциклопедии», под ред. проф. Яснопольского, т. I, с. 166.

дерство,—торжествующе восклицает Вебер,—оказалось, бесспорно, самым солидным в мире» [1].

Патриотические чувства Вебера нас здесь, конечно, не интересуют, но эта самая «мировая солидность» немецкого грюндерства легко объяснима с точки зрения данной нами теоретической модели. В самом начале очерка мы установили, что в форме банковского кредита синтезируются все функции капиталистического кредита; в дальнейшем мы показали, что по условиям капиталистической динамики невозможно диференцирование этих функций. *Отсюда следует, что задача банковской политики должна заключаться не в том, чтобы диференцировать эти функции, как это имело место в Англии, но в том, чтобы найти модус для такого их сочетания, при котором в период бури и натиска сохранилась бы устойчивость банка, а вся тяжесть кризиса была бы переброшена на другие плечи.* Наоборот, стремление строго диференцировать функции между определенного типа кредитными институтами в такой же мере покоится на ложной теории кредита, как и злополучный акт Роберта Пиля 1844 г. Несомненно, в рассуждениях Вебера-практика проявляется достаточное теоретическое чутье, и новейшая эволюция кредитной системы Англии вполне это подтвердила...

Теоретически доказанная нами и эмпирически подтвержденная невозможность в условиях капитализма диференцирования функций банковского кредита вместе с тем позволяет априорно установить невозможность той рационализации кредитных процессов, о которой выше шла речь. *Эта невозможность вытекает из того, что, как ранее было отмечено, первой и необходимой предпосылкой такой рационализации служит как раз то диференцирование функций, которое заключает противоречие в себе...*

* * *

Нам теперь остается проанализировать те конкретные формы, в которых функциональные противоречия банковского кредита проявляются. Или иными словами: наша задача заключается в том, чтобы особые формы банковского кредита свести к его общим формам и функциям и тем противоречиям, которые за ними скрыты.

Общее противоречие этих особых форм кредитования («активных операций») *заключается в том, что, с одной стороны, равнозначные по своему существу экономические процессы могут выражаться в формах внешне противоположных, а с другой стороны, совершенно противоположные по своему существу экономические процессы могут выражаться в одних и тех же формах банковского кредита.*

(Окончание в след. номере).

---

[1] См. статью Вебера, специально написанную для русской «Банковской энциклопедии», под ред. проф. Яснопольского, т. I, с. 150.

ПСЕВДО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ ГЕЙНРИХА

Балков, В.

1. ОТМАР ШПАНН И ЕГО ШКОЛА

Новая фаза в развитии капитализма вызвала к жизни новые течения в буржуазной экономической науке. Индивидуалистически-психологическая теория австрийской школы не соответствует потребностям монополистического капитализма. На первое место выдвигается „социальное" направление буржуазной политической экономии, которое отображает специфические тенденции современного капитализма. В связи с этим новое освещение приобретает теория кризисов и цикла.

Одним из крупнейших вождей „социального" направления является профессор Венского университета Отмар Шпанн. Шпанн возвещает новую государственную философию, новую „социально-органическую" теорию капиталистического хозяйства. Он тесно связывает частно-капиталистическое хозяйство с областью государственной политики, выдвигает на первый план социологическое единство общественного хозяйства и роль регулирующих органов. Шпанн обосновывает идею нормального соотношения и развития отдельных частей капиталистического хозяйства, идею справедливой цены и стабилизации конъюнктуры. Он выступает в качестве решительного противника как по отношению к Марксу и классикам, так и по отношению к крайним субъективистам. Шпанн и его школа, исходя из методологических принципов неокантианской школы, отвергают каузальный метод и обвиняют марксизм и всю политическую экономию в „каузально-механическом" подходе. Они отвергают также тот абстрактно-дедуктивный метод, который был разработан классиками и Марксом. В основу социологии и политической экономии они кладут учение о *функциональной* связи частей общественного целого, об их *соотношении и взаимодействии*. Отсюда они гордо именуют свою теорию универсалистической, социологической и органической.

Недавно в V томе «Deutsche Beiträge zur Wirtschafts und Gesellschaftslehre», издаваемых Отмаром Шпанном, вышла большая и интересная работа Вальтера Гейнриха *„Основные положения универсалистической теории кризисов"* [1]. Гейнрих поставил своею задачей конкретное применение универсалистической теории Шпанна к теории кризисов.

---

[1] *Dr. Walter Heinrich*, Grundlagen einer universalistischen Krisenlehre, Jena, 1928. Verlag von Gustav Fischer.

На основе экономической системы Шпанна Гейнрих пытается построить новую теорию кризисов, которая могла бы охватить всю полноту условий возникновения и проявления этого феномена. Универсалистическая теория кризисов по замыслу ее автора должна представлять собою всестороннюю социологическую концепцию развития хозяйственного организма общества.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ У ГЕЙНРИХА

С точки зрения универсалистической школы вся история теории кризисов представляет собою процесс постепенного раскрепощения от механистической идеи равновесия и подготовки элементов новой, универсалистической теории, свободной от автоматизма в понимании капиталистического цикла.

История исследования кризисов представляется Гейнриху в следующем виде. Первая фаза—reine Krisentheorien, основанные на механическом принципе равновесия. Дальше идет фаза реализма в теории кризисов. Историко-реалистические исследования германской исторической школы—это первая или предварительная фаза реализма, в отличие от современных теорий кризисов и конъюнктуры, которые представляют вторую или главную фазу реалистических исследований и отличаются стремлением к теории совокупного хозяйственного движения («универсалистические тенденции») и включением этой теории в общую систему политической экономии («аксиоматические тенденции»). Наконец, наступает новейшая фаза, когда на смену прежним теориям, которые в той или иной степени восприняли от классиков и Маркса «каузально-механический» подход к явлениям динамики, господствующее положение должна занять новая теория структуры и динамики капитализма—универсалистическая. Последняя должна дать для капиталистического государства и монополистических организаций те принципы, в соответствии с которыми можно будет установить организованное и плавное движение капиталистического хозяйства и прежде всего народного хозяйства собственной страны.

В постановке проблемы теории кризисов и конъюнктуры Гейнрих исходит из оценки современного состояния теории. По его мнению, большинство современных теоретиков неверно суживают объект познания теории кризисов и конъюнктур до понятия «экспансионной конъюнктуры» (business cycle), для объяснения динамики цикла односторонне выдвигают те или иные моменты и объясняют движение конъюнктуры, исходя из механистических представлений об автоматической смене одной фазы цикла другою. Несмотря, говорит он, на ограничение объекта познания «циклом конъюнктуры» и даже лишь первичными причинами цикла, до сих пор мы наблюдаем среди теоретиков массу разногласий. Еще менее достигают единства взглядов те эклектики, которые выступают со своим списком конъюнктурных «компонент» или «факторов» (Фогель, Рёпке и др.). Несравненно более продвинули дело теоретики, которые пошли по пути историко-реалистических исследований конъюнктуры и кризисов (Митчель и др.). Вообще, указывает Гейнрих, лишь постепенно господствующие учения освобождаются от цепей вредного понятия «нормального», что соответствует глубокому методологическому и теоретическому перевороту: отказ от механистической идеи равновесия классической школы и, наконец, от их атомистического понятия о «чистой», незатрагиваемой «внешними» факторами эконо-

мике [1]. Явления, которые должны быть связаны со столь важным орудием познания, как объект теории кризисов и конъюнктуры, по существу обладают целостной природой и принадлежат к области хозяйственной деятельности, которая скрыта за оболочкой явлений стоимости и цены: к области разделения действий (Gliederung der Leistungen) и их изменения (195) [2].

Не случайно, говорит Гейнрих, что конъюнктурные исследования были более удачны там, где они протекали в связи с представлениями исторической школы (Шпитгоф и Кассель в «реалистической» части их теорий конъюнктуры, Зомбарт и др.). Один путь, по которому пошли экономисты для того, чтобы обойти противоречия их систем с их собственными конъюнктурными теориями—путь историко-реалистических исследований—ведет не к теории, а от нее. Другой путь—разделение науки на два совершенно различных направления и разрыв теоретических систем на две совершенно особые области—«статику» и «динамику» (Шумпетер и др.),—или аналогично этому на «чистую» и «политическую» экономию (Оппенгеймер и др.). В одной области сохраняются теоретические и методологические основы старой системы, в то время как вторая борется за новое («аксиоматическая» тенденция современной науки). Эта работа с «двумя теоретическими аппаратами» разрушает необходимое единство познания и системы, что является так же неверным, как и искусственное раскалывание единой хозяйственной действительности на «противоречие двух реальных явлений»... «Мы должны этот поворот к параллельному установлению двух наук для того, чтобы сохранить старую систему, считать неудачным и выводы, связанные с ним, недостаточными» [3]. Неверен и тот выбор объекта, который производит современная наука,—признание теоретического интереса за узкоограниченным кругом явлений. „Современная капиталистическая экспансионная конъюнктура", „индустрия посредствующего потребления", которая является предметом познания наибольшей части современных учений о кризисах и конъюнктуре, никоим образом не представляет собою единое явление, протекающее в условиях действительной однородности и закономерности. Она связана с историческим положением различных народных хозяйств, что, по нашему мнению, имеет такой же теоретический и практический интерес, как и часто сомнительное выдвижение одного или нескольких факторов и описание „идеал-типического" движения „цикла" (l. c.).

Из этого положения вещей вытекает необходимость другой системы (Systembau), которая совершенно отбрасывает старый исходный пункт; необходимо изменение всей системы представления. «Если удастся достичь построения системы, логика и учение которой доставят масштаб правильности и ранга отдельных основ кризисов, то может быть дана неэклектическая, целостная теория кризисов и конъюнктуры. Вместе с систематической оценкой и соответствующим рангу разделением основ кризисов возникает по нашему мнению первый шаг построения теории, которую еще предстоит создать. Концепция и метод кинетического универсализма, которые основал Отмар Шпанн, на наш взгляд соответствуют этим требованиям. Мы надеемся, что нам удастся на базе его основных положений построить целостную теорию хозяйственного развития (wirtschaftlichen

[1] Grundlagen. S. 194.
[2] Ibid., S. 195.
[3] Ibid.. S. 196.

Umgliederungen), в рамках которой тогда, может быть, получила бы разрешение еще неразрешенная проблема „экспансионной конъюнктуры". «волнообразных движений» хозяйственного развития,—теория, которая позволила бы нам по-новому понять формы проявления кризисов и конъюнктуры, их понятие и разделение и, прежде всего, построить возможно более „неантиномичное" по отношению к общей системе науки учение о кризисах и конъюнктуре» [1].

«Когда откроется новый взгляд на понятие кризисов и конъюнктуры, то мы сможем считать это не столь незначительным результатом, поскольку теперь после следов насильственных ран, которые были нанесены последними большими хозяйственными кризисами всем народам западных стран,— а с наибольшей силой нашему немецкому,—все настойчивее выдвигается требование научного руководства хозяйственной политикой, и распространяется вера в высшую жизненную помощь и достоинство социальной науки...» [2]

3. «СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ» ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ КРИЗИСОВ

Учение Шпанна об общественном хозяйстве представляет собою *абстрактно-формальную* систему экономического строения общества.

Для Маркса предмет политической экономии—это капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные отношения людей. Общественное хозяйство для него—совокупность определенного рода производственных отношений людей. Для Шпанна предмет политической экономии—организация, распределение и изменение системы хозяйственных целей, действий и средств. Цель Шпанна—дать организационно-функциональную схему частей народного хозяйства. В этой схеме Шпанн дает такую абстрактно-механическую конструкцию, которая 1) применима к самым различным типам общественного хозяйства, 2) смешивает техническую сторону процесса производства общества с его социальной стороной, 3) вносит в науку о капиталистическом хозяйстве вульгарную поверхностно-идеалистическую терминологию и телеологический принцип, 4) замазывает все имманентные противоречия капиталистического общества и 5) устраняет возможность понимания внутренних сил развития капиталистического способа производства. Таковы особенности «универсалистической» системы, если ее сопоставить в самых общих чертах с теорией Маркса. С другой стороны, Шпанн и вся формально-социальная «школа» отвергают индивидуалистическую точку зрения теории предельной полезности. Но поскольку перед нами система формально-социологических воззрений на структуру и динамику капиталистического хозяйства, постольку эта система является абстрактно-метафизической. Подобно австрийцам, новое направление лишено социально-исторического понимания капиталистического общества и отправляется от абстракций, лишенных конкретно-исторической базы. Понятия хозяйства, цели, капитала, кредита и воспроизводства, которыми оперируют представители этой новой теории, совершенно не отражают соответствующее им социальное содержание.

Сначала мы изложим точку зрения Шпанна и Гейнриха на структуру и динамику капиталистического хозяйства.

[1] Grundlagen, S. 197.
[2] Ibid., l. c.

Хозяйство для Шпанна есть «применение средств для целей на основе уравненного и экономного взвешивания при наличии избытка целей и ограниченности средств» [1]. «Хозяйство образует как систему действий, так и систему величин этих действий или стоимостей и цен». «Хозяйство есть система действий или функций и система действующих средств». «Хозяйство основывается на достижении цели, а не на издержках или труде» [2]. «Хозяйство есть для нас строение средств, действующих ради цели и находящихся в определенном порядке сочетания» (rangordnungsgemäss gegliederte leistende Mittel) [3].

В понятии хозяйства универсалистическая школа усматривает следующие основные моменты: 1. Общественное положение хозяйства, которое является строением, служащим для исторически данной системы общественных целей. 2. Строение действующих средств, определенный порядок их распределения и организации. 3. Ступенчатое строение частей общественного целого, расчленение целого на части и соподчинение этих частей соответственно закону первенства. «Сообразно сущности и роду действий, совместная связь которых образует хозяйство, необходимо систематически исследовать несколько областей действия (система органов) или видов сфер (Reifearten)», частей целого (Th ilganz:) хозяйства: «Сфера общих связей (Gemeinsamkeitsreife), или область действий капитала высшего порядка, предварительная сфера (Vorreife), или область подготовительных действий (Vorleistungen) (изобретения и науки), сфера производства (Hervorbr ngungsreife), как область функций пользования и капитала (Gebrauchs- und Kapitalleistungen) перед обменом (Werkreife), как и эти действия на рынке (Marktreife). Из этих частей целого состоит все хозяйство... Оно—структура действий или образований (Gebilden) (функциональных связей) всех этих областей и вид в сфер» [4].

«Мы называем эти конкретные хозяйственные образования со свойственным им развитием и соединением частей целого—*ступенями хозяйства:* напр., мировое хозяйство, народное хозяйство, отрасль хозяйства, хозяйственный союз, предприятие, домашнее хозяйство, отдельный хозяин. Каждая из этих ступеней приобретает особенное существование в рамках его собственной позиции (ihrer Gl edstellung), способность, с одной стороны, себя отделить от нижней ступени (сила расчленения) и, с другой стороны, развернуть особую область вещного значения (круг действия), что в различных ступенях соответствует различной полноте расчленения (Ausgl ederungsfülle) и этим придает им форму и определенность. Поскольку основное расчленение хозяйства на части целого (области действия, виды сфер) (широкие абстрактные подразделения хозяйства), как и их существование в ступенчатом строении (исторически-конкретное подразделение хозяйства) определяется законом преимущества, который состоит в отношении частей целого друг к другу (преимущество по сущности) и в отношении ступеней (преимущество по ступени). Этот закон преимущества является также необходимым познавательным орудием в учении о кризисах. Содержание всего этого закона преимущества сводится к безусловному (wesenhafte) господству (логическому приоритету) *целого над частями*, вследствие которого целое есть предпосылка, условие, главная основа собственной жизни этих частей» (l. c.).

---

[1] *Spann O.*, Fundament der Volkswirtschaftslehre, Jena, 1918, S. 54.
[2] L. c , S. 76.
[3] Grundlagen, S. 198.
[4] Ibid., S. 199.

Вследствие целостной природы хозяйства между всеми его членами господствует полнейшая согласованность и разделение силы (Gültigkeitsgliederung), всеобщее взаимное сотрудничество (Aufeinanderangelegtsein) или *соответствие* (Entsprechung) (корреляция) всех действий, всех частей целого, всех ступеней. Эта соразмерность или соответствие так строги и точны, что всякое незначительное изменение одного члена означает существенное изменение всех других членов. В понятии соответствия, которое представляет собою всеобщий закон строения всей хозяйственной жизни, мы имеем понятие, противоположное старому «равновесию»... Если и необходимо применение столь спорного понятия «нормального», то оно должно принять значение правильного, т. е. согласованного с законом соответствия расчленения всех органов, частей целого и ступеней хозяйства.

В тесной связи с этим стоит понятие производительности (Fruchtbarkeit), как общей категории выручки (Erfolgskategorie) хозяйства. Прежде всего, плодотворность всякого действия, всякого образования, всякой хозяйственной ступени—равнозначность цели всегда предполагается—зависит от его соучастия (Gliedstellung) (действенности) в целом хозяйстве; точно так же и производительность народного хозяйства зависит, прежде всего, от его положения в мировом хозяйстве.

Уже из этого определения производительности через комплекс действий обнаруживается, что никогда нельзя говорить просто о производительности отдельных действий, но что производительность дана лишь как выражение оптимального соотношения части и целого. Отсюда следует, что действие данной хозяйственной ступени в рамках определенной позиции (Gliedstellung) тогда достигнет высшей производительности, когда эта ступень находится в состоянии наибольшего соответствия. Следовательно, народное хозяйство тогда осуществляет высшую производительность, когда в нем обеспечена соразмерность всех отраслей производства. Тогда нет ни одного непроизводительного элемента, каждое действие оказывается вполне уравновешенным, и наступает равновесие всех действий при достижении и сохранении определенного состояния деятельности (Leistungstandes). Всякое продолжительное нарушение этой соразмерности (кризис) означает потерю достигнутой производительности.

Для универсалистического учения «распределение», в смысле распределения и образования доходов определяется общим разделением функций; в широком, правильном смысле слова, распределение вообще равнозначно со строением (Gliederbau) самих совокупных хозяйственных средств [1]. Высота доли определяется соответственно принципу равновесия и из относительного соответствия членов, ступеней и частей целого друг с другом. Общее разделение хозяйственных средств, в широком смысле слова, есть первичное и определяющее для распределения доходов. [2]

«Цена есть выражение или показатель этого общего разделения действий, и она представляет величину действий средств в области межиндивидуальной связи всех средств. Из этого систематического положения цен, как показателя разделения действий и их соответствия, возникает *органическая цена*, поскольку она есть органическая цена правильного строения элементов хозяйства (Gliederbaues), т. е. стала *справедливой ценой*, в которой проявляется закон преимущества: строение (Gliederbau) дей-

[1] *Spann O.*, Tote und lebendige Wissenschaft. Jena. 1921, S. 79.
[2] Grundlagen, S. 202.

ствий перед распределением, распределение перед ценой, разделение действий перед ценой» [1].

Отклонения от нормального уровня цен происходят вследствие нарушения закона преимущества и нормальных пределов деятельности каждой отдельной хозяйственной сферы или группы предпринимателей. Так, напр., политика монополий может нарушать целое и создавать неверное строение действий и неверное выражение их в ценах. Конкуренция разрушает целое, но может действовать и созидающе, именно через перегруппировки (Umgliederungen), которые она вызывает в данном хозяйственном образовании...

Действительное хозяйство представляет собою нечто живое, не только в смысле общей жизнедеятельности хозяйственного целого, но также и в смысле собственной жизнедеятельности каждой части целого. Важнейшее для нашей проблемы—это изменение или нарушение однообразия кругооборота. Сущность хозяйства и его «двойственное» существование, с одной стороны—отображение общества, с другой стороны—его собственная жизнь, соответствуют двум большим областям, в которых могут возникать изменения, превращения, нарушения. Первая есть *система общественных целей*, которая находится постоянно в движении; вторая—это *мир хозяйственных средств*. Обе области осуществляют свою жизнедеятельность в непрестанном движении, и поэтому само действительное хозяйство находится в процессе постоянного изменения [2].

«Мы называем отвлеченное (abgeleitete) движение хозяйства, совершающееся посредством изменения целей, *новоустановлением* (Neustellung); собственное движение, которое состоит в изменении средств, просто хозяйственным *движением*. Вследствие целостной сущности и структуры хозяйства новое установление и движение происходят как *перерасчленение* (Umgliederung). Umgliederung (или развитие) есть способ расчленения целого во времени. Поскольку вся жизнь и вся действительность представлены во времени, Umgliederung есть просто категория историчности. Хозяйственное перерасчленение (Umgliederung) (как высшее понятие движения и нового установления) есть всеобщая форма хозяйственной жизни и самая важная категория для понимания динамики народного хозяйства и сущности кризисов. Если изменяется цель хозяйства (мода, война, новое знание и т. д.), то должны быть изменены и служащие для нее средства; всякое изменение средств или группы действующих средств происходит в полнейшей связи со всеми действующими средствами (хозяйственными элементами) и, следовательно, не может ограничиться изменением какого-нибудь члена или образования (Gebildes), как обособленным явлением. По структурному закону соответствия, присущему всякому целому, с каждым изменением средств или образования должны произойти полнейшие изменения во всем остальном. Всякое развитие или развертывание хозяйства возникает, поэтому, таким путем, что 1) изменяется одно действие или образование (или одна ступень или часть целого) (первое Umgliederung), причем это изменение первоначально может быть вызвано целями (новое установление) или самими средствами (движение), и что 2) все прочие действия должны искать новых соотношений (Entsprechungen) (продолжение первого развития или передвижение). Первое изменение или сдвиг вместе

[1] Grundlagen, S. 203.
[2] Ibid., S. 207.

образуют общее движение развития... Таким образом, анализ явлений, заключающихся в развитии сочленения, показывает: 1) передвижку всех членов; 2) перегруппировку (перерасчленение) образования в измененный вид. Это происходит через посредство новых членов или изменения в самом очаге движения, из которого исходил повод к повороту, и далее через изменение всех прочих членов с той целью, чтобы достичь соответствия в новых условиях; 3) выпадение членов, которые не соответствуют новому состоянию и не могут быть оставлены на своих прежних местах» [1].

Благодаря этому определению всякое развитие приобретает черту *непостоянства* (скачкообразности, прерывистости); самое незначительное изменение означает скачок целого вперед или назад...

«Еще большее значение имеет для учения о кризисах то, что всякое развитие, как отмена или новое установление, как исключающее и утверждающее, имеет двойственное лицо; следовательно, необходимо различать две линии развития—нисходящую и восходящую, отставание (Rückbildung), уменьшение действия и значения, забракование старых элементов и усовершенствование (Ausbildung), подъем новых элементов. Всякое развитие есть общий процесс, в котором мы наблюдаем одну восходящую (усовершенствование) и одну нисходящую ветвь развития (выделение)» [2].

«Действительное хозяйство, как живое образование, всегда находится в развитии: новое установление и движение неотделимо от этого процесса, следовательно, действительное хозяйство всех времен следует рассматривать как „динамическое" (кинематическое) причем под „динамическими" прежде всего понимаются явления движения в широком смысле слова (новое установление; сдвиги=Umgliederung) с уничтожением однообразного кругооборота» (I. c.) [3].

4. ПОНЯТИЕ КРИЗИСА И КОНЪЮНКТУРЫ ПО ГЕЙНРИХУ

По своей сущности Umgliederung есть поворот, период решения (об обратном приеме и новом расчленении) и отделения устойчивого от неустойчивого, забракование отстающих и устаревших элементов хозяйства, короче—*кризис*. Всякое развитие (как новое установление, так и движение, от которых в обоих случаях неотделимо и неустранимо связанное с ними явление передвижки) происходит кризисообразно. *В этом широком смысле слова, все нарушения отношений соответствия, поскольку они связаны с развитием хозяйства, суть кризисы* [4].

«Этому понятию кризисов соответствует понятие конъюнктуры, подразумевающее под конъюнктурой в широком смысле слова совокупный процесс явлений хозяйственного развития—новое установление, движение, сдвиги (Verschiebungen). Конъюнктура, следовательно, обнимает первое Umgliederung (новое установление или движение) и все последующие явления восстановления соответствия (явления сдвигов), следовательно, и кризисы в широком смысле слова, посредством которых необходимо устанавливается такое обновление (Neuherstellung).

В отличие от наиболее общей и широкой трактовки понятия кризисов мы будем в связи с обычным словоупотреблением называть кризисами

[1] Grundlagen, S. 208.
[2] Ibid., S. 210.
[3] Ibid.
[4] Ibid., S. 211.

лишь *широко распространенные, резкие и продолжительные нарушения отношений соответствия, которые связаны с известными перегруппировками* (Umgliederungen) *хозяйства*» (курсив автора)[1].

«Между конъюнктурой и кризисом существует отношение в том ограниченном и собственном смысле, что резкие нарушения соответствия возможны при известных условиях, но не представляют собой явлений, неизбежно сопровождающих конъюнктуру»[2]. Обычное в современных исследованиях конъюнктуры понимание кризиса родственно второму определению и представляет лишь его сужение, когда под конъюнктурой понимают движение хозяйственного развития в эпоху развитого капитализма, так наз. «цикл экспансионной конъюнктуры»[3], «конъюнктуру», как внезапное скачкообразное расширение производства, прежде всего, в отраслях, производящих капитальные блага; в таком случае «кризис» представляет собою поворот, проявляющийся в тяжелых нарушениях соответствия, поворот, в котором внезапно обнаруживается перепроизводство индустрий, работавших на «подъем»... (l. c.).

«„Всеобщего" кризиса, в том смысле, что вообще отсутствует восходящая линия, никогда не может быть, и, следовательно, напр., никогда не может быть и никакого всеобщего перепроизводства»[4]

Типичная экспансионная конъюнктура с ее явлениями кризисов сводится к особому случаю конъюнктуры и кризисов вообще...Следовательно, руководящим для нас остается и здесь познание разделения хозяйства, как строения средств для цели в части целого и их строения в ступенях, так и выявление сущности развития (der Umgliederung) просто в качестве явления кризисообразного рода[5]. Таким образом предметом универсалистического учения о кризисах является конъюнктура как совокупное движение хозяйственных перегруппировок (Gesamtverlauf der wirtschaftlichen Umgliederungen)[6].

Хотя всяким хозяйственным перегруппировкам (Umgliederungen) соответствует нечто кризисообразное, кризисы в собственном смысле слова возникают при известных, типичных изменениях в ходе явлений общего развития, в ходе конъюнктуры, заключающей в себе глубокие нарушения соответствия в функциональной структуре хозяйства. Мы различаем кризисное развитие хозяйства 1) по изменениям цели (война, мода, целевые превращения и т. д.), которые ведут к новому установлению, и 2) по изменениям в строении самих средств. Эти изменения средств (движение хозяйства) происходят либо из части целого, либо из несоответствия в ступенчатом строении.

Ход кризиса вследствие изменения средств определяется частью целого, в которой лежит основа кризиса. Существуют следующие группы основ кризисов (Krisengründe): основы кризисов в *не-монетарной области сферы общей организации*, как то: ошибки в хозяйственном плане, измене-

---

[1] L. c. Приведем это определение в оригинале: «nur die heftigen und nachaltigen Störungen der Entsprechungsverhältnisse einer grösseren Ausbreitung, die mit gewissen Umgliederungen der Wirtschaft verbunden sind».

[2] Ibid., S. 212.

[3] Термин Зомбарта. Автор имеет в виду «Der moderne Kapitalismus», B. III, 2 Halbband.

[4] Ibid., S. 212. В своем отрицании всеобщего перепроизводства Гейнрих ограничивается указанным положением.

[5] Ibid., S. 214.

[6] Ibid., S. 213.

ние величины рынков в силу торговых договоров и т. д., регулирование распределения, влияние налогового дела, действие общей организации хозяйства и др. Далее—основа кризисов в *денежном* и *кредитном* деле: кредитная инфляция и кредитная политика, денежно-банковское устройство. Деньги и кредит вследствие их *первенствующего* положения являются чрезвычайно важной сферой возникновения кризисов. Основы кризисов в *предварительной* сфере ведут к типичным явлениям сдвига цен вследствие прогресса производительности: понижение цен ведет к освобождению покупательной силы и к повышению конъюнктуры; отсюда нарушение прежнего соответствия. Наконец, то же самое в сфере *производства* (Hervorbringungsreife), где спекулятивные ошибки в сфере рынка и перекапитализация или недокапитализация в сфере производства (Werkreife) обнаруживаются, как особенно важные нарушения. Третья группа кризисов та, которая возникает из затруднения в *ступенчатом строении* и основывается на неполном развитии собственной жизни. Эти основы кризисов коренятся в подразделении этого строения ступеней (Stufenbau) и в положении народных хозяйств в мирохозяйственной структуре; это—чрезвычайно важные кризисы ступени мирового хозяйства, для которых не требуется никакой первичной основы кризисов в самом народном хозяйстве. С разделением этих трех групп кризисов—кризисы вследствие изменения *цели*, кризисы, происходящие из *части целого*, и кризисы, проистекающие из определенного положения *ступеней строения*, прежде всего, кризисы *мирового хозяйства*—устанавливается чрезвычайно важное разделение хозяйственных кризисов, как они представляются социологическому и универсалистическому пониманию хозяйства. Все кризисы возникают в конкретных подразделениях хозяйственной системы, хозяйственной структуры и никогда не являются всеобщими[1]. В противоположность этим конкретным кризисам ступеней как кризисам известных домашних хозяйств предприятий, отраслей, хозяйственных союзов, областей и целых народных хозяйств,—явления развития (Umgliederungsvorgänge) в *частях целого* (in Theilganze) (новое установление и движение) рассматриваются как предварительные кризисы (Vorkrisen), но также и здесь они преимущественно охватывают лишь определенные сферы[2]. Это лишь *потенциальные* кризисы; они получают конкретную форму проявления в виде кризисов ступеней, в определенной хозяйственной отрасли или группе.

Благодаря исследованию отношений первенства между частями целого, а также в ступенчатом строении хозяйства мы, говорит Гейнрих, получаем не только важнейшие основы кризисов в виде превышения известных первенств (переизбыток одной области, недостаток усовершенствования собственной жизни в другой), но также и не менее важные выводы о законе распространения перегруппировок (Umgliederungen) и его нарушениях. Наконец, открывается возможность—и это есть важнейшая заслуга универсалистического учения о кризисах—связать столь различные выводы прежних теорий конъюнктур и кризисов, без того, чтобы впасть в эклектику. Понятие *первенства* является необходимым путеводителем в том, чтобы привести все основы кризисов к систематическому порядку соответственно их «весу» и соподчинению, что не только устанавливает взгляд

[1] Ibid., S. 345.
[2] Ibid., S. 346.

на силу распространения вызываемых ими кризисов, но также с достаточной теоретической точностью намечает пределы возможного предупреждения кризисов (l. c).

«В то время как все прежние теории кризисов выводили кризисы из одной частной области, напр., из перекапитализации или монетарного механизма, в качестве существенного преимущества универсалистического учения о кризисах следует подчеркнуть то, что оно повсюду объясняет возникновение и ход нарушений из совокупного целого народного хозяйства, из порядка строения действий и из категорий производства и хозяйства вообще. Таким образом в качестве общего следствия из этой теории кризисов вытекает *иерархия основ кризисов*» [1].

Соответственно установленному порядку первенства основы кризисов распадаются на следующие области (причем высшей области соответствует высшая сила первенства, наибольший «вес» и следовательно, эту область наиболее трудно предохранить от кризиса). 1. Область целей: предотвращение кризисов, возникающих из изменения целей в самом хозяйстве, невозможно, ибо установление цели принадлежит к внеэкономическим областям общественной жизни, культуры и политики. 2. Кризисы мирохозяйственной ступени: вследствие преимущества мирового хозяйства перед народным хозяйством нет никаких защитительных средств против этого кризиса. Иначе обстоит дело с другими областями, которые порождают кризисы. 3. Основы кризисов в не-монетарной сфере общественных связей (торговые договоры, свободная конкуренция, налоги, организации). 4. Основы кризисов в денежной и кредитной сфере, которая обычно является выражением других предшествующих сдвигов (в предварительной сфере и т. д.), но со своей стороны может порождать кризисы, поскольку она представляет собою первоначальный капитал высшего порядка с высоким преимущественным положением. 5. Основы кризисов в предварительной сфере, которые являются решающими, особенно в высоко развитом капиталистическом хозяйстве и в эпоху технического прогресса. 6. Основы кризисов в рыночной сфере (переспекуляция) и после нее. 7. Те основы кризисов в области производства, которые особенно типичны в вспомогательных отраслях, производящих капитал.

«Из относительно небольшого значения (Ranglage) хозяйственных ошибок в области капитала (пере- и недовложения), с одной стороны, и преимущества кредитного дела перед областью производства, с другой стороны, проистекает возможность предупреждения тех кризисов, которые называют „экспансионными кризисами", посредством соответствующей кредитной политики и регулирования денежного обращения и, прежде всего путем всеобъемлющей организации народного хозяйства („стабилизация экспансионной конъюнктуры"» [2].

В качестве важнейших мероприятий против основ кризисов, которые заложены в 3, 4 и 6 области, необходимы соответствующая организация налоговой системы и влияние на распределение, мероприятия государства по присбретению новых рынков, что прежде всего требует возможно большего объединения и укрепления народного хозяйства.

Такова, в основных чертах, концепция Гейнриха. Автор ограничивается построением основных методологических и теоретических принципов ис-

---

[1] Ibid., S. 347.
[2] Ibid., S. 348.

следования проблемы кризисов. Его работа носит чисто теоретический характер и не заключает в себе анализа каких-либо конкретно-исторических явлений кризисов и цикла. Основные черты универсалистической теории кризисов, несомненно, выступили бы перед нами с большей ясностью и определенностью, если бы автор попытался дать разбор нескольких конкретных явлений капиталистического кризиса. Здесь же мы видим чисто дедуктивное построение, которое, с одной стороны, опирается на основные теоретические принципы Шпанна, а с другой — стремится объединить в некую целостную систему те «положительные» элементы, которые автор считает нужным заимствовать из других буржуазных теорий.

Итак, в чем состоит действительное содержание понятия кризисов, как оно представлено в новой, универсалистической теории?

Шпанн и Гейнрих сводят понятие цикла к общему принципу хозяйственного развития. Они усматривают сущность кризисов в явлениях «Neueinstellung der Wirtschaft oder Wirtschaftsumgliederung». Теория капиталистического цикла, которая пытается выяснить имманентные закономерности капитализма и проследить строгую последовательность в смене подъема кризиса и депрессии, такая теория представляется «универсалистическим» теоретикам «каузально-механистическим» измышлением Рикардо-Марксовой школы. У Шпанна движение конъюнктуры рассматривается как тождественное движению цикла, а цикл как явление передвижки составных частей общественного целого, понимаемое в общем смысле хозяйственного развития и лишенное признака стихийной регулярности, периодичности и причинной обусловленности одной фазы цикла со стороны другой предшествующей фазы. Таково то «целостное и объективное» понятие конъюнктуры Шпанна, которое Гейнрих противопоставляет более узкому объекту познания современных конъюнктурных теорий. Объективность понятия конъюнктуры Шпанна сводится к абстрагированию от всех важнейших особенностей капиталистического цикла. Что же касается целостности этого понятия конъюнктуры, то она сводится к особой иерархической лестнице разнокалиберных «основ» возникновения кризисов, куда включаются даже такие факторы, как изменения в области торгового права, налогового дела и... полицейского вмешательства в область хозяйственной деятельности.

Кризисы универсалистическая теория рассматривает как временное нарушение соответствия между отдельными частями экономической системы общества. Кризисы у Гейнриха представляют один из моментов хозяйственного развития, момент, не связанный с какими-либо существенными особенностями капиталистической организации производства. Кризисы не рассматриваются как взрыв противоречий, назревающих в ходе капиталистического цикла. Здесь проблема кризисов не стоит и в какой связи с проблемой социологии капиталистического способа производства, с проблемой познания специфических производственных отношений буржуазного общества. Кризисы по Гейнриху просто-напросто симптом прогресса, продвижения на новую ступень развития техники и организации народного хозяйства. В момент крупных сдвигов в сторону развития новых способов производства, новых форм организации социально-экономических связей, некоторые отрасли хозяйства не имеют возможности приспособиться к новым условиям в отношении издержек производства, заработной платы и цен и оказываются обреченными на ликвидацию. Отсюда, по мнению Гейнриха, тот поворот конъюнктурного цикла вниз, который называется кризисом.

Такова интерпретация кризисов, преподносимая нам «социологической» школой Шпанна. В дополнение к этому объяснению сущности кризисов новая теория перечисляет десятки других, частных Krisengründe, означающих резкое нарушение обычного хода производства, обмена или распределения и представляющих собою конкретизацию того общего понятия кризиса, который выводится из нарушения соответствия между частями целого и отдельными ступенями общественного хозяйства, в силу непрерывной тенденции общества к экономическому прогрессу.

Мы не будем здесь разбирать все те частные положения, которые высказаны Гейнрихом по вопросу о причинах и условиях проявления кризисов. Все эти частные моменты целиком и полностью определяются общей установкой Гейнриха в понимании методологии исследования и объяснения явлений цикла и конъюнктуры. В концепции Гейнриха, как, впрочем, и у других буржуазных экономистов, мы видим замазывание специфических особенностей капиталистического хозяйства, игнорирование свойственных ему противоречий, идеализацию кризисов, специфическим выражением которых они являются, отождествление кризисов с нарушением хозяйственного равновесия вообще, выхолащивание из понятия кризисов их социального содержания.

Все современные теории буржуазной науки занимаются апологией, увековечением, идеализацией капиталистического хозяйства и либо возведением кризисов в добродетель, в кратковременный и целебный «эпизод прогресса» [1], либо отрицанием того, что кризисы представляют собою необходимый элемент современных циклов. К группе теоретиков первого рода относится Гейнрих. В его изображении капиталистический способ производства оказывается способным к безграничному развитию материальных производительных сил. Это достигается путем: 1) сведения всей проблемы теории цикла и кризисов к теории динамики вообще, к теории технического и организационного прогресса, за вычетом всех тех специфических общественных предпосылок и результатов, с которыми связан этот прогресс; 2) отрицания абстрактно-дедуктивного анализа основных закономерностей капиталистического хозяйства и замены его формально-механистической схемой организации народного хозяйства и 3) смешения теоретической проблемы цикла с теорией конъюнктуры. Гейнрих дает не монистическое, а *плюралистическое* объяснение причины кризисов. Универсалистическая теория совершенно не различает проблемы обоснования кризисов из основных экономических категорий буржуазного общества и внутренних законов его развития от проблемы познания конъюнктурных нарушений, в которых явления цикла переплетаются с различного рода индивидуальными явлениями конкретно-исторической действительности. Последнее является характернейшей чертой новейших теорий, пытающихся представить кризис как проблему теории конъюнктуры.

5. ГЕЙНРИХ ПРОТИВ МАРКСА

С точки зрения Гейнриха в природе не существует никаких других социологических теорий цикла и кризисов, кроме универсалистической

[1] «A crisis is essentially an episode of progress». *Taylor*, The kinetic theory of Economic crises, в «University Studies» of the University of Nebraska, vol. IV, Lincoln, 1904, p. 19. Цитир. у *E. Vogel*, Die Theorie des volkswirtschaftlichen Entwicklungsprogresses und das Krisenproblem, 1917.

теории. С его точки зрения не было и нет целостных концепций, объясняющих с единой точки зрения структуру и динамику буржуазного общества.

У Гейнриха теория Маркса представлена как «односторонняя социалистическая теория недопотребления».

Против Маркса автор выставляет следующие положения: а) его теория базируется на «каузально-механическом» принципе равновесия, выдвинутом классической школой; б) теория недопотребления, выставленная социалистами, не соответствует действительности и представляет собою чисто догматическую конструкцию. Теория Маркса по существу своему тоже является теорией недопотребления, хотя Маркс и обосновывает ее особыми теоретическими положениями; в) неверно учение о том, что только труд является производительным, а следовательно, неверна и теория понижения нормы прибыли («marxistische Einseitigkeit in der Anschauung von der alleinigen Fruchtbarkeit der Arbeit (sinkende Profitrate)»[1].

Почтенный доктор не дал себе труда внимательнее ознакомиться как с теорией Маркса, так и с его критикой классической школы. Принцип равновесия и теория недопотребления не стоят ни в какой связи с концепцией Маркса. Маркс отрицал как гармонистическое учение о рынке, так и теорию Сисмонди.

Воспроизведем вкратце основные положения теории кризисов Маркса. Более подробно наша точка зрения на истинный смысл марксовой теории кризисов будет изложена отдельно.

По Марксу кризисы являются выражением и временным разрешением основного противоречия капиталистического способа производства, противоречия между капиталистическим характером распределения и общественным характером производства. В качестве основной причины внезапного поворота цикла вниз Маркс выставляет не избыток средств личного потребления, а *избыток капитала*, выражающийся в резком понижении нормы прибыли по отношению к авансированному капиталу. Здесь лежит центральный пункт *монистической* теории кризисов Маркса. Динамика общественного процесса производства контролируется законом увеличения стоимости капитала, т. е. нормой прибыли. Развитие капиталистического производства периодически наталкивается на «сильное и внезапное понижение общей нормы прибыли» в силу *перенакопления капитала*, а не на недостаток платежеспособного спроса. Последнее является только функцией наступившего кризиса, выражением того общего нарушения в процессе воспроизводства и обращения, в котором обнаруживается кризис. Понижение общей нормы прибыли превращается «на известном пункте в препятствие для развития этого самого производства, в препятствие, которое каждый раз может преодолеваться не иначе, как только кризисами»[2].

Но что такое *перепроизводство капитала*? Устраняется ли при отрицании теории недопотребления понятие всеобщего *перепроизводства товаров*? Перепроизводство капитала означает перепроизводство товаров, но перепроизводство товаров еще не исчерпывает перепроизводства капитала. Понятие перепроизводства капитала шире и сложнее, чем понятие перепроизводства товаров, точно так же, как категория капитала сложнее, чем категория товара. Перепроизводство капитала—это не просто избыток меновых стоимостей, но избыток стоимостей, являющихся для их владель-

[1] Ibid., S. 24 und 41.
[2] «Капитал», т. III, 1, гл. XV.

цев капиталом, приносящих прибавочную стоимость, что выражается в известной норме прибыли. Правда, к перепроизводству средств производства и средств существования, рассматриваемых как капитал, на высшей стадии циклического подъема присоединяется также избыток ссудного и фиктивного капитала. Последний еще более заостряет всеобщее товарное перепроизводство и представляет явление, дополняющее это последнее. Но если перепроизводство капитала включает в себя перепроизводство товаров, оказывается понятием более сложным, чем понятие перепроизводства товаров, то не следует ли оставить последнее в стороне? Ни в коем случае. Перепроизводство капитала необходимо предполагает перепроизводство товаров. Исключая второе, мы пришли бы к бессмыслице[1]. Поскольку капиталисты противостоят друг другу как капиталисты, постольку они противостоят и как товаровладельцы. Но допустима ли обратная крайность, когда теоретики недопотребления сводят кризисы к перепроизводству товаров? В простом товарном обществе не может быть кризисов. Кризисы—продукт капиталистического способа производства. Перепроизводство товаров может возникнуть лишь как перепроизводство капитала, вне этой формы оно не может быть представлено как категория политической экономии. «Переход от фразы „перепроизводство товаров к фразе „избыток капитала"—на самом деле представляет *прогресс*. В чем же он состоит? В (признании) того, что производители противостоят друг другу не только как товаровладельцы, но и как капиталисты» (l. c.). «Что, следовательно, означает перепроизводство капитала? Перепроизводство стоимостей, которые должны создать прибавочную стоимость, или, с точки зрения вещественного содержания, перепроизводство товаров, которые нужны для воспроизводства,—следовательно, воспроизводство в слишком больших размерах; а это означает то же самое, что и перепроизводство вообще»[2]. Где же, в условиях капиталистического общества, тот специфический критерий, который показывает наступление перепроизводства товаров как капитала? Это—резкое понижение нормы прибыли и нормы накопления капитала, явление, непосредственно предшествующее кризису.

Что является результатом перепроизводства капитала, как стоимостей, которые должны доставлять прибыль не ниже известного минимума? *Обесценение наличного капитала*. Последнее образует сущность кризиса и вызывает на поверхность капиталистического общества все противоречия, которые связаны с нарушением всеобщего процесса капиталистического воспроизводства и обращения. «Периодическое обесценение наличного капитала,—это имманентное средство капиталистического способа производства, которое служит тому, чтобы задерживать понижение нормы прибыли и ускорять накопление капитальной стоимости путем образования нового капитала,—нарушает сложившиеся отношения, в которых совершается процесс обращения и воспроизводства капитала, и потому сопровождается внезапными остановками и кризисами процесса производства»[3].

С точки зрения Маркса «понижение нормы прибыли и перепроизводство капитала вытекают из одних и тех же причин»[4]. Не из недопотребления, а наоборот, внезапное и резкое падение спроса на предметы производительного

---

[1] *Marx*, Theorien über den Mehrwert, Berlin, 1923, B. II, S. 272.
[2] Ibid., S. 317.
[3] «Капитал», т. III, 1, 1927, с. 188.
[4] Ibid., S. 191.

потребления и частичное сокращение спроса на предметы личного потребления являются *в результате* нарушения отношений, соответствующих «нормальному» движению капиталистического производства. Сжатие платежеспособного спроса—не предпосылка, а результат сильного понижения общей нормы прибыли в важнейших сферах капиталистического производства. Сжатие спроса есть момент „насильственного уравнения" противоположностей и диспропорциональностей, т. е. момент самого кризиса. Причина перепроизводства капитала и понижения нормы прибыли состоит в том, что развитие производительных сил происходит во *всеобщей социальной форме капитала*[1]. Прогрессирующее увеличение стоимости капитала—форма, в которой только и может совершаться прогресс производительных сил в условиях капиталистического общества — периодически приводит к такому соотношению между стоимостью наличного овеществленного капитала и величиной производимой прибавочной стоимости, которое дает сильно пониженную норму прибыли, обостряет концентрацию капитала и его централизацию, стремление переложить тяготы понижения общей нормы прибыли на плечи конкурентов путем дальнейшего повышения техники, увеличивает конкурентную борьбу. Все это еще более расширяет перепроизводство капитала и приближает кризис, приближает то кровопускание капитала, которое должно, на мгновение, восстановить равновесие путем вынужденного бездействия и уничтожения капитала в большем или меньшем объеме.

Итак, в основном, кризис—это *периодическое обесценение наличного капитала* плюс все те сопутствующие явления, которые связаны с этим процессом. *Причина, непосредственно вызывающая кризис, — перепроизводство капитала.* Перепроизводство капитала—это перепроизводство товаров, выраженное в норме прибыли. *Причина, непосредственно вызывающая перепроизводство капитала и понижение нормы прибыли,—конфликт между расширением производства и увеличением стоимости существующего капитала.*

Явления избытка капитала диалектически взаимосвязаны с всеобщим законом капиталистического накопления, с явлением *относительного перенаселения*, «хотя оба они находятся на противоположных полюсах; на одной стороне—незанятый капитал, на другой стороне—незанятое рабочее население»[2]. Но понимание этой взаимосвязанности у Маркса не стоит ни в какой связи с теорией недопотребления. Учение Маркса о перепроизводстве капитала и кризисах в такой же степени не может быть названо теорией недопотребления, как и вся его экономическая теория в целом. Верно, что рабочий класс не потребляет всего продукта своего труда. На основе экспроприации его прибавочного продукта зиждется вся капиталистическая система. Но разве отсюда следует, что Маркс объясняет кризисы недопотреблением рабочего класса? Конечно, нет. Маркс объясняет кризисы, исходя из анализа и синтеза всей капиталистической системы производственных отношений. Учение о прибавочной стоимости непосредственно не может объяснить кризисов, так же, как основные законы физики непосредственно не могут объяснить появления солнечных пятен. На основе учения о субстанции капитала необходимо было развить учение о всеобщей социальной форме капитала (учение о средней

[1] См. нашу статью «Капитал как историческая категория» в № 5—6 журнала «Социалистическое хозяйство» за 1928 г.

[2] «Капитал», т. III, 1, с. 190.

норме прибыли и накоплении капитала), чтобы затем разрешить проблему кризисов. Таким путем шел Маркс при теоретическом исследовании капиталистического способа производства [1].

Если ставить вопрос о кризисах так, как ставит его сам Маркс, тогда все разговоры о теории недопотребления свидетельствуют лишь о полнейшем непонимании теории Маркса, о том, что, читая Маркса, между строк вычитывают теорию Сисмонди и Родбертуса. Ведь показалось же Гейнриху, что теория недопотребления образует «основу и важнейшее зерно» теории кризисов Маркса (с. 24). А ведь Маркс указывал, что «было бы простой тавтологией сказать, что кризисы вытекают из недостатка платежеспособного потребления или платежеспособных потребителей» [2]. Впрочем, для Гейнриха это не такой уже большой грех, поскольку в такого же рода преступлении повинен и «марксист» Каутский.

Гейнрих представил дело так, что Маркс, как и Сисмонди и Родбертус, выдвигает теорию недопотребления, но лишь с другим обоснованием. По его мнению, Маркс обосновывает эту теорию своим учением о прибавочной стоимости и накоплении капитала. На самом же деле именно потому, что Маркс исходит из своей концепции капитала и нормы прибыли, он должен был решительно отбросить точку зрения, которая сводит все дело к проблеме распределения национального продукта.

Что касается «единственной производительности труда» (alleinigen Fruchtbarkeit der Arbeit), то здесь автор ограничивается одним отрицанием, не приводя никаких аргументов в защиту другого мнения. Такие аргументы Гейнрих на худой конец мог бы заимствовать у Тугана, который всерьез доказывал, что «средства производства играют в процессе производства и в процессе образования нормы прибыли ту же роль, что и рабочие», и что «в капиталистическом хозяйстве люди и орудия производства играют одинаковую роль в деле создания прибыли» [3].

Глава о классической школе и группе «социалистических теорий кризисов» в работе Гейнриха заканчивается тем, что классики, Маркс и

---

[1] Необходимо отметить, что т. Губерман в своей работе К теории капиталистического рынка и кризисов» ошибочно отрицает наличие у Маркса законченной и целостной теории кризисов. В самом начале главы о кризисах, заявивши о сложности этой проблемы, автор несколько претенциозно замечает: «Что касается Маркса, то мы у него находим только отдельные отрывки по вопросу о кризисах, разбросанные в «Капитале» и в «Теориях прибавочной ценности». Эти положения являются только материалом для конструирования марксистской теории кризисов, но сами по себе они законченной теории кризисов не содержат» (с. 124). Далее, в разделе «Теория кризисов» Губерман «конструирует» такую «теорию» кризисов, которая содержит законченное извращение марксова «материала». По существу Губерман, варварски искажая действительный смысл марксовой теории кризисов и закона тенденции нормы прибыли к понижению, преподносит читателю теорию Митчеля. Митчель установил определенную эмпирическую закономерность: периодическое расхождение уровней цен на сырье и готовые изделия. По мнению Митчеля вздорожание сырья ведет к резкому понижению прибыли в обрабатывающей промышленности, к сокращению инвестиций и кризису. То же «расхождение издержек производства и рыночных цен» кладет в основу кризиса и Губерман, благо, что соответствующая аргументация уже построена буржуазными конъюнктуристами. Тов. Спектатор, в своей книге «Мировое хозяйство до и после войны», т. III, высказывает взгляд, аналогичный точке зрения Губермана. Производя митчелизацию марксовой теории кризисов, Спектатор прямо указывает на действительный источник своей «концепции».

[2] «Капитал», т. II, 1927, с. 296.

[3] *М. И. Туган Барановский*, Периодические промышленные кризисы. Неменк. изд., с. 225 и 229.

различного рода вульгарные экономисты (от Сэя до Тугана) получают одну общую оценку. «Все теории кризисов,—говорит Гейнрих,—гармонистические учения о перепроизводстве и недопотреблении, как оптимистическое, так и пессимистическое крыло кластической школы, социалистические теории разных видов—дети одной и той же крови и одинакового духа. У всех у них в основе лежит механистическое и изолирующее воззрение на хозяйственную жизнь... Мы видим, что в учении о кризисах остается господствующим механистическое представление о равновесии, которое всегда препятствует проникновению в более глубокие хозяйственные связи и их движение» [1].

6. ОТРИЦАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Гейнрих постоянно повторяет, что теория Маркса проникнута каузально-механистическим подходом к явлениям капиталистического развития и цикла. Он даже в современных буржуазных теориях и исследованиях по кризисам и конъюнктуре видит следы зловредного марксистского влияния. Конечно, теория Маркса оказала огромное влияние на буржуазную политическую экономию. Туган, Бунятян, Шпитгоф и др. обкрадывали теорию Маркса и переделывали ее на свой лад, создавая таким образом «теории» собственного производства. Что же наиболее ценного могла заимствовать буржуазная наука о кризисах из теории Маркса? Что понимает школа Шпанна под каузально-механистическим подходом к явлениям кризисов и конъюнктуры? Это: 1) учение о том, что кризисы должны быть рассматриваемы как выражение имманентных закономерностей капиталистического способа производства, как выражение тех противоречий, которые необходимо и неизбежно возникают в ходе капиталистического развития; 2) учение о том, что между всеми отраслями капиталистического хозяйства существует неразрывная цепная связь и что циклические явления отличаются всеобщим характером; 3) учение о том, что причины кризисов коренятся в специфической общественной форме капиталистического процесса производства; 4) учение о том, что движение капиталистического цикла представляет собою стихийно-регулирующийся и строго закономерный переход от одной фазы к другой, и 5) учение о периодическом характере кризисов.

Все эти исходные и руководящие методологические предпосылки марксовой теории кризисов оказали значительное влияние и на буржуазные теории цикла и конъюнктур. И лишь поскольку исследование кризисов и конъюнктуры ведется на основе этих принципов, постольку возможно сколько-нибудь плодотворное освещение данной проблемы. Все современные теории кризисов, за исключением разбираемой здесь универсалистической концепции, в той или иной степени руководствуются этими общеметодологическими принципами. Что же касается «универсалистической теории», то она решительно отвергает все перечисленные принципы, объявляет их «каузально-механистическими». По мнению Гейнриха, учение о стихийных регуляторах капиталистической системы, о всеобщем характере цикла, о социальных причинах кризисов и периодичности кризисов представляет собою собрание фикций, в плену которых находится большинство буржуазных экономистов.

[1] «Grundlagen», S. 43—44.

Принцип соответствия, лежащий в основе универсалистической теории кризисов, является воспроизведением той же самой идеи равновесия, против которой так рьяно высказывается Гейнрих в историко-догматической части своей работы. Механистическое понятие соответствия (Entsprechung), установленное Шпанном и Гейнрихом, есть та фикция, без которой сами теоретики универсализма не могут сделать ни шагу в своих построениях. Принцип соответствия находится в непримиримом противоречии с теми обвинениями по адресу классиков и других экономистов, которые выдвигаются универсалистической школой. Но этот принцип целиком вытекает из общей функционально-механистической и телеологической концепции Шпанна.

Гейнрих неоднократно возражает против понимания циклического движения как саморегулирующегося, автоматического движения. Это совершенно неверная точка зрения. Несмотря на то, что всякий конкретный кризис связан с определенными частными явлениями и пертурбационными моментами, история кризисов показывает нам определенную закономерность в смене циклов и отдельных фаз цикла, систематическое воспроизводство определенных явлений циклического развития. Теория кризисов была бы немыслима, если бы капиталистическое хозяйство не знало тех имманентных противоречий, которые стихийно и неуклонно воспроизводятся в ходе капиталистического цикла. Вот почему Гейнрих оказывается совершенно неправым, когда он в разделе о эмпирически-статистических исследованиях конъюнктуры пишет, что «хозяйство в действительности развивается не так механистично, как это предполагает эмпирическая конъюнктурная статистика, оно не есть „саморегулирующий" автоматизм, в котором конъюнктурное колебание вызывает известную реакцию. Это воззрение о механическом изменении хозяйственной жизни, лежащее в основе чистой конъюнктурной статистики—марксистское наследие,—не только теоретически неверно, но и затемняет ее выводы или приводит к их переоценке» [1].

Здесь наш доктор путает две различные вещи. Нельзя строить теорию непосредственно на данных конъюнктурной статистики, ибо внутренние закономерности капитализма не всегда и не во всем совпадают с формою их проявления (вернее, *как правило*, скрыты под оболочкой этих форм). Верно и то, что гарвардская школа руководствуется в своей работе неверными и не только механистически-количественными принципами, но и вообще фетишистическим, буржуазным представлением о капитале, воспроизводстве, прибыли, деньгах, ценах и др. категориях. Но из того, что эмпирические исследования конъюнктуры проникнуты формально-механистической методологией, вовсе не следует необходимость отрицания стихийных закономерностей капитализма, закономерного автоматического повторения капиталистического цикла. Гейнрих отрицает важнейшую специфическую черту капиталистического хозяйственного процесса: стихийные регуляторы капиталистического воспроизводства и автоматизм в развитии конъюнктурного цикла, строго-закономерное перерастание одной фазы в другую.

Гейнрих аргументирует очень своеобразно: «Наиболее открыто абсолютизирование количественного и механического, которое лежит в основе всей конъюнктурной статистики, от которой не свободны также

[1] Ibid., S. 160.

и все теории кругооборота конъюнктуры, предполагающие „автоматическое“, „эндогенное“, необходимое и вечное повторение фаз, обнаруживается в учении о так называемых „длинных волнах“ конъюнктуры, как его выдвинул Н. Д. Кондратьев» [1].

Здесь, опять-таки, автор смешивает две различные вещи. Конъюнктурные исследования буржуазных экономистов, их теоретические обобщения, в том числе и работы Н. Д. Кондратьева, действительно базируются на механистических, поверхностно-эмпирических представлениях и на неправильной теоретической концепции. Но разве это доказывает, что конъюнктурный процесс не обладает характером стихийной регулярности? Разве из признания ошибочности концепции Кондратьева следует отрицание стихийных, автоматически действующих и осуществляющихся закономерностей капиталистического цикла? Отнюдь нет.

Гейнрих не только отрицает последовательное превращение одной фазы цикла в другую, но и понятие всеобщей конъюнктуры. «Кроме,—говорит он,—предположения неизменности „структуры“ и „автоматизма“ циклического движения, т. е. рядом с механистической фикцией, именно в основе эмпирической конъюнктурной статистики лежит еще одна фикция обобщения: предполагается почти беспрепятственная тенденция распространения волнообразных движений и в результате этого наступление общего выравнивания рыночных условий. Такое единство в действительности не существует, средняя состояния всех отраслей хозяйства, которая могла бы быть обозначена как выражение „всеобщей конъюнктуры“, представляет незначительную познавательную ценность и даже должна дать искривленную картину» (164). Так с легкой руки теоретика «социально-органической» школы превращается в фикцию еще одна из важнейших особенностей капиталистического цикла. Сначала отрицался тот факт, что одна фаза цикла порождает другую. Теперь отбрасывается в сторону другое, не менее важное понятие—всеобщий характер конъюнктурного процесса, единство и взаимосвязанность всех отраслей капиталистического хозяйства. Универсалистическая теория оказывается универсальным отрицанием самых существенных моментов капиталистической динамики.

Без понятия стихийной закономерности и всеобщего характера в развитии цикла нельзя построить никакой теории кризисов и конъюнктуры. Это—не только точка зрения марксистов, но и всех буржуазных экономистов: Шпитгофа, Афтальона, Шумпетера, Митчеля, Туган-Барановского и т. д. Отрицая conjunctio rerum omnium капиталистического хозяйства, отрицая реальное единство «специальных конъюнктур», Гейнрих отрицает самую теорию цикла и конъюнктуры.

Гейнрих объявляет понятие единства капиталистического конъюнктурного процесса фикцией на том основании, что каждая отрасль хозяйства имеет свои особенности. Здесь Гейнрих ссылается на Эйленбурга и Мюленфельса. Последний в своей работе о специальной и всеобщей конъюнктуре требовал от теории: 1) объяснения частных конъюнктур отдельных отраслей хозяйства; 2) исследования тенденций распространения частных (partieller) конъюнктурных колебаний и их препятствий; 3) объяснения особенного своеобразия «всеобщей конъюнктуры», т. е. такой, которая охватывает наиболее крупные и важнейшие области хозяйства [2]. Эти со-

[1] Ibid., S. 169.

[2] *A. v. Mühlenfels*, Spezielle und allgemeine Konjunktur, in Jb. für Nationalökon. und Stat., B. 122, 1924.

вершенно справедливые требования, предъявляемые к теории конъюнктуры, не так новы. Едва ли кто-либо из теоретиков цикла и конъюнктуры станет отрицать своеобразие специальных конъюнктур в отличие от всеобщей и особые условия преломления всеобщей капиталистической динамики в отдельных сферах общественного хозяйства. Но разве отсюда следует, что всеобщность циклических процессов есть фикция? Разве отсюда следует, что понятие всеобщей конъюнктуры обладает незначительной познавательной ценностью? Разве отсюда следует, что общее выравнивание рыночных условий не характерно для капиталистического хозяйства? Яснее ясного, что моменты, которые кажутся «социально-органической» школе фикцией и результатом зловредного марксистского влияния, эти моменты лежат в самой природе капиталистического хозяйства.

Мы видели, что универсалистическая теория отрицает: 1) стихийно-закономерное развитие цикла и 2) всеобщий характер капиталистического цикла. Наконец, эта теория отрицает 3) периодический характер циклических движений. Гейнрих верно усматривает в качестве важнейшей черты современных теорий кризисов понятие периодичности. «Понятие периодичности различает: 1) что за подъемом следует падение и застой, 2) что новый подъем чисто „эндогенно" возникает из депрессии, которая, следовательно, обеспечивает постоянное повторение цикла, поскольку он возник хотя бы один раз, 3) что цикл имеет одинаковую продолжительность, следовательно, имеет не только ритм, но и равномерность» [1]. «Именно в понятии периодичности становятся очевидными для нас основные черты современных теорий. Ни одно из приведенных выше положений—менее всего второе—не свободно от вышеуказанной механистической фикции, согласно которой хозяйственные явления возникают автоматически и должны двигаться с естественной, механической закономерностью. Это представление обязано Рикардо-Марксову пониманию хозяйства и еще теперь является господствующим способом понимания в теории кризисов. Сравним тот типичный выбор объекта, как он выступает через понятие «эндогенности» и «экспансии»,—далее объяснение падения «экспансионной конъюнктуры» путем перекапитализации, появляющейся снова и снова с естественной необходимостью. Это есть то механистическое понимание хода кризисов, которое лежит также в основе «барометра» «хозяйственной погоды» (l. c.).

Отрицание периодичности кризисов и закономерной смены фаз цикла как нельзя лучше показывает ошибочность позиции, занимаемой Гейнрихом и его духовным патроном.

Универсалистическая теория не хочет считаться с внутренними законами капитализма, периодически воспроизводящими все противоречия данной системы и обусловливающими строгую последовательность в развитии конъюнтурного процесса. В результате мы получаем такое объяснение кризисов и конъюнктуры, которое по своей ошибочности и неосновательности превосходит все, когда-либо существовавшие теории.

7. СУЩНОСТЬ УНИВЕРСАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КРИЗИСОВ

Для того, чтобы оценить новую буржуазную теорию кризисов и конъюнктуры, необходимо, прежде всего, выяснить следующее:

1) На какие вопросы должна дать ответ современная теория кризисов и конъюнктуры? 2) Почему господствующие теории дают неудовлетво-

[1] «Grundlagen», S. 192.

рительное разрешение проблемы кризисов и конъюнктуры? 3) В чем заключается современный кризис буржуазных теорий кризисов? 4) Что вносит нового в проблему кризисов и конъюнктуры универсалистическая теория по сравнению с другими буржуазными теориями? 5) Разрешается ли кризис в буржуазной науке с появлением новой универсалистической теории?

Всякая теория кризисов должна прежде и раньше всего объяснить циклический характер развития капиталистического хозяйства. Без проблемы капиталистического цикла нет и теории кризисов. Отказываясь от рассмотрения периодических циклов, мы отказались бы от той единственной основы, на которой только и может рассматриваться проблема кризисов и конъюнктур. Все крупнейшие теоретики кризисов должны были в цикличности капиталистической динамики видеть summa summarum всей проблемы. Современная теория кризисов призвана объяснить весь тот огромный материал эмпирических данных в области капиталистической динамики, который накопился к нашему времени. Она вооружена достаточным опытом наблюдения, чтобы раскрыть сущность циклического процесса. Вместе с тем растут те требования, которые жизнь предъявляет к теории цикла и конъюнктуры. Все более усложняется организм капиталистического хозяйства. В результате—усложнение и заострение противоречий капиталистического производства и обращения.

Новая фаза капитализма—монополистический капитализм, мировая война и послевоенные сдвиги в структуре мирового хозяйства привели к тому, что циклический процесс принял чрезвычайно сложную и завуалированную форму. Соответственно этому изменились и те задачи, которые должна решать наука о цикле и конъюнктуре.

Проблема кризисов в ее старой постановке гласила: в чем заключается сущность и причина общих периодических кризисов? Впоследствии все более стал возрастать интерес к познанию всех элементов цикла в их связи и взаимодействии. Перед теорией кризисов встала еще более важная задача—расшириться в теорию капиталистических циклов, т. е. не только объяснить причины, порождающие кризис, но и показать весь механизм развития и воспроизводства капиталистических циклов. И именно в XX столетии проблема цикла и кризиса стала чрезвычайно большой и сложной проблемой. Можно сказать, что теория капиталистического цикла получила наиболее актуальное значение лишь в эпоху монополистического капитализма.

После тех сдвигов, которые имели место в технике капиталистического производства, в области средств сообщения и мирового рынка (в последней четверти XIX века), после того как произошел переход к монополиям, к слиянию индустриального, банковского и торгового капиталов в единую форму монополистического капитала, в порядок дня встали новые вопросы теории кризисов и конъюнктуры. Мировая война и условия послевоенной мировой экономики еще более обогатили проблематику современной экономической теории.

Современная теория кризисов и конъюнктуры должна ответить на такие вопросы:

1) Имеет ли место в действительности равномерность циклов? 2) Наблюдается ли строго-последовательная смена одной фазы цикла другою? 3) Существуют ли различные виды циклов? 4) В каком направлении изменяется в условиях современного капитализма продолжительность цикла и его отдельных фаз? 5) Стоим ли мы перед фактом

растворения общего периодического кризиса в явлениях хронической депрессии. 6) Возможно ли предупреждение кризисов и стабилизация конъюнктуры? 7) Каков темп роста производительных сил при новой фазе капитализма в отличие от предшествовавших стадий капиталистического хозяйства? 8) Увеличивает или уменьшает развитие монополий равномерность в росте отдельных отраслей капиталистического хозяйства и, прежде всего, производства средств производства по сравнению с производством средств потребления? 9) Какое влияние оказывают монополистические объединения на общий уровень цен и на их соотношение в различных сферах производства? 10) Чем объясняется высокий уровень цен в эпоху монополистического капитализма? 11) Каковы причины высокого уровня цен во время и после мировой войны? 12) Сводится ли капиталистическая динамика послевоенного периода к чисто циклическим и конъюнктурным процессам? Не переплетаются ли последние с процессом развития структурных нарушений? 13) Правильна или неправильна точка зрения, что послевоенный период есть период всеобщего структурного кризиса капитализма как определенной исторически-преходящей системы общественного производства?

Каждый их этих вопросов представляет собою сложную проблему, которая может быть разрешена лишь при наличии правильной методологической и общетеоретической базы. Проблема кризисов и конъюнктуры в современной их постановке предъявляет к экономисту-теоретику такие требования, каких еще не знает история теорий кризисов.

Актуальный характер проблемы, возрастание глубокого интереса к познанию капиталистической динамики предвоенного и позднейшего периода породили на Западе огромную литературу по теории кризисов и конъюнктуры, по истории и практике капиталистического развития за отдельные периоды и по отдельным отраслям воспроизводства и обращения. Какое же разрешение находят в современной буржуазной экономической науке вышеперечисленные вопросы? Что отвечает эта наука по вопросу о модификации: 1) темпа роста производства, 2) соотношения отдельных сфер капиталистического производства, 3) процесса ценообразования и 4) циклического процесса—в условиях современной фазы капиталистического развития?

Из общей массы «теорий» и «систем», которые возникают в области исследования цикла и конъюнктуры, можно выделить два основных направления, чаще всего тесно связанных друг с другом. Это—денежно-кредитное обоснование цикла и обоснование цикла из момента технического прогресса и перепроизводства «капитальных благ». К первым относятся: Хеутри, Фишер, Лавингтон, Митчель, Хестингс, Кейнс, Ган, Штюкен, Фостер, Кетчингс, Зомбарт, Рёпке, Гайк, Таушер и др. Ко вторым: Шпитгоф, Лифман, Робертсон, Тейлор; соединяют оба момента—Кассель, Шумпетер, Амонн, Рош, Шпанн, Афтальон. Денежно-кредитная интерпретация цикла и конъюнктуры пользуется большим успехом, особенно среди экономистов Америки (цикл как «purely monetary phenomenon»).

Названные теоретики не в состоянии разрешить ни общетеоретических, ни чисто современных проблем теории цикла и конъюнктуры. В ответ на усложнение явлений капиталистической динамики буржуазные теоретики реагировали в той форме, что: 1) были развиты теории вековой тенденции, больших, средних и малых циклов; 2) появилась легенда о

трехлетием нормальном цикле; 3) появилась теория, объясняющая сдвиги в послевоенной экономике изменением ценности денег (Кейнс); 4) были резко противопоставлены друг другу статическая и динамическая точки зрения на капиталистическое хозяйство (Кларк, Шумпетер, Кассель и др.); 5) появилась новая теория, теория конъюнктуры, где понятие кризисов растворяется в общем понятии о цикле и смешиваются такие различные категории, как капиталистическая динамика в целом, цикл и конъюнктура; 6) были построены «конъюнктурные барометры» и связанные с ними наблюдения; 7) в ряде работ были развиты идеи о предупреждении и смягчении кризисов; 8) был предпринят опыт регулирования американской конъюнктуры через федеральную резервную систему.

Для того, чтобы объяснить динамику капиталистического хозяйства в период монополистического капитализма, буржуазная наука пришла к отрицанию кризисов, как необходимого элемента циклов. Вместо того, чтобы уяснить особенность каждой эпохи развития капитализма, ряд исследователей в той или иной форме развивает теорию «больших циклов» (Афтальон, Лескюр, Кассель, де-Вольф, Кондратьев), где вся история развития капиталистического хозяйства сводится к смене прогрессивных и депрессивных периодов. Динамика военного и послевоенного периода рассматривается исключительно под углом зрения конъюнктурных процессов. Развитие структурного кризиса капиталистической формации остается вне поля зрения буржуазных экономистов. Все планы восстановления равновесия в мировом хозяйстве, которые вырабатываются лучшими представителями буржуазной экономической науки, целиком базируются на денежно-кредитной теории. Проблему высокого уровня цен до войны и еще большего роста его во время войны и сохранения этого уровня в послевоенную эпоху большинство буржуазных теоретиков конъюнктуры решают лишь с точки зрения динамики производства золота, изменений ссудного процента и уровня заработной платы.

Жизнь и факты разбивают все те новые построения и эксперименты, которые производят экономисты для исследования и урегулирования динамики новейшего капитализма. Рост капиталистических противоречий и ожесточенная борьба за рынок, назревание новых военных конфликтов, борьба крупнейших держав за гегемонию в мировом хозяйстве, мечты «побежденных стран» о возвращении колоний, новые и новые кризисы в отдельных странах и отраслях капиталистического производства, провал утопических планов федеральной резервной системы, репарационный тупик—все это убеждает нас в том, что современные теории мирового хозяйства, его динамики и конъюнктуры не дают ничего, кроме апологии капиталистического строя и жалких иллюзий.

Господствующие теории кризисов и конъюнктуры дают неудовлетворительное разрешение проблемы благодаря ошибочной методологии исследования и непониманию основных законов капиталистического способа производства. Для того чтобы дать объяснение сущности кризисов и цикла, а также механизма капиталистической динамики и конъюнктуры в условиях современного монополистического капитализма, необходимо проникнуть в существо структуры и законов развития капиталистического хозяйства. Без правильного понимания процесса капиталистического воспроизводства и закона накопления капитала нельзя понять циклическое развитие капитализма. Без историко-материалистической интерпре-

тации капиталистического цикла, в свою очередь, нельзя построить теорию конъюнктуры. И, наконец, без понимания особенностей новой фазы капитализма нет возможности разобраться в проблеме современного цикла и современных кризисов.

Гейнрих считает, что непригодность современных теорий кризисов и конъюнктуры объясняется тем, что они продолжают традиции марксова подхода к явлениям цикла и его отдельных фаз. В действительности же дело обстоит как раз наоборот. Если бы исследование кризисов и конъюнктуры велось марксовым методом и в соответствии со всей экономической теорией Маркса, то результат был бы другой. Буржуазная наука о циклах и конъюнктуре зашла в *тупик голого конъюнктурного эмпиризма и вульгарно-фетишистических денежно-кредитных иллюзий*. С точки зрения современной буржуазной науки, даже теория Бунятяна выглядит как опасная, революционная доктрина. Недаром Гейнрих заявляет, что фундаментом теории Бунятяна является концепция Маркса [1].

С легкой руки Зомбарта, теория кризисов теперь заменяется теорией конъюнктуры. Рёпке прямо указывает, что сейчас наука переходит от фазы теории кризисов к новому периоду, к периоду теории конъюнктур. Если прежние теоретики кризисов исходили из определенной теории воспроизводства и рынка, то теперь теоретики конъюнктуры эмпирико-статистическим путем выводят разного рода циклы и тенденции и составляют каталог конъюнктурных компонент и феноменов, сознательно обходя теоретические вопросы капиталистического хозяйства (ср. Митчель, Рёпке, Кондратьев, Вагеманн [2] и др.). Теоретическое банкротство австрийской и англо-американской школ политической экономии в сильной мере способствовало тому, что проблема кризисов и цикла была растворена в болоте конъюнктурного эмпиризма и денежно-кредитного фетишизма.

В противовес современному конъюнктурному прагматизму и эмпиризму, новое «социальное направление» пытается вновь поднять знамя абстрактной теории капиталистической динамики. Век монополистического капитализма похоронил субъективно-психологическую школу политической экономии и создал основу для новой псевдо-социологической теории политической экономии. На основе этой теории производится попытка построить некую целостную, самостоятельную концепцию кризисов и конъюнктуры. Причем, с одной стороны, эта «универсалистическая теория» совершенно правильно подчеркивает тот факт, что сейчас наступил кризис науки о кризисах и конъюнктуре, что существующие буржуазные теории ошибочны, проникнуты механистическим подходом к явлениям капиталистической действительности и не имеют необходимой социологической базы. Гейнрих совершенно правильно подметил, что «это неудовлетворительное положение теории кризисов и конъюнктур связано вообще с кризисным состоянием науки о народном хозяйстве» [3]. С другой стороны, эта теория пытается напугать буржуазию жупелом марксизма, на базе которого якобы построены современные теории и эмпирические исследования кризисов и конъюнктуры. В качестве характерной черты современных исследований кризисов и конъюнктуры, Гейнрих решительно

---

[1] Grundlagen, S. 84.

[2] *E. Wagemann*, Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft, Berlin, 1928.

[3] Ibid., предисловие, S. VI.

подчеркивает «огромное и глубокое неосознанное влияние марксистской теории кризисов на основные понятия современных теорий кризисов и конъюнктуры. Этот марксизм является со своей стороны результатом того каузально-механического метода, который получил верх в нашей науке благодаря Рикардо и его школе и лежит не только в основе господствующего теперь понятия «экспансионной конъюнктуры», но эти капли марксистской крови определяют также и объяснение конъюнктуры, напр., в понятии «перекапитализации» и предположении о механическом движении конъюнктуры, которое после Маркса не оставлялось ни одним из прежних учений» (l. c).

Современные теории кризисов и конъюнктуры, по мнению Гейнриха, не могут соответствовать своему назначению, поскольку они рассматривают конъюнктурный цикл как процесс автоматического перерастания одной фазы в другую, а каждую отдельную фазу цикла как подготовление следущей фазы. По мнению Гейнриха, принцип периодичности и учение о стихийном выравнивании рынка, лежащие в основе современных представлений о конъюнктуре,представляют собою вредную марксистскую традицию, которая препятствует правильному пониманию кризисов и конъюнктуры. Каузальный подход к проблеме кризисов и всего цикла универсалистическая теория опять-таки считает ошибочным и неприменимым к области социальных явлений.

Критика универсалистической школы, направленная по адресу всех других теорий, не ограничивается констатированием кризиса современной теории цикла и конъюнктур и представляет собою отрицание всех элементов научного подхода к проблеме кризиса и конъюнктур: 1) причинного объяснения кризисов, депрессии и подъема и анализа имманентных противоречий капиталистического способа производства, создающих циклическое движение, периодически разрешающихся в форме кризиса и затем воспроизводящихся с увеличенной силой в новом цикле, 2) причинной взаимообусловленности отдельных фаз цикла, 3) всеобщности капиталистического цикла и конъюнктуры. Все эти общеметодологические принципы универсалистическая школа рассматривает как каузально-механистические фикции, унаследованные от классиков и Маркса. Универсалистическая теория при разрешении проблемы кризисов и конъюнктуры отбрасывает в сторону все те экономические теории, которые связывали с этой проблемой классики и Маркс. Теоретическая система политической экономии, основанная на абстрактно-дедуктивном изучении капиталистического хозяйства, по мнению Гейнриха, не нужна для теории кризисов и конъюнктуры. Правда, автор милостиво соглашается заимствовать зерно истины из всех существующих теорий; «все они нашли их систематическое место в нашем учении о кризисах без того, чтобы это было эклектичным» [1].

Гейнрих уверен в том, что именно проблема кризисов должна показать всю силу и глубину универсалистической теории: «Универсалистическая теория по своей методологической натуре является в особенности подходящей для проблемы кризисов» [2]. Что же нового внесит универсалистическая теория в науку о кризисах и конъюнктуре? Выше мы видели, какие сложные требования предъявляет современная действительность к теории кризисов и конъюнктуры. Крайняя усложненность капиталистической динамики в период до и после мировой войны требует глубокого понимания

[1] Grundlagen, S. VII.
[2] Ibid., S. VI.

как всего внутреннего механизма капиталистического хозяйства, так и его новейшей фазы. Буржуазная наука не в силах объяснить сущность кризисов и движущие силы циклического процесса, а тем паче объяснить особенности кризисов и цикла в условиях новейшего капитализма. Денежно-кредитная интерпретация одних, натуралистическое объяснение других, туган-барановщина у третьих, плоский эмпиризм у четвертых—одинаково непригодны для разрешения загадки кризисов и конъюнктуры. Кризисы и циклы послевоенного мирового хозяйства, поскольку они обладают несравненно более сложным характером и более причудливой формой проявления, вынуждают буржуазных исследователей плыть по поверхности капиталистического процесса воспроизводства.

Новая теория хочет подвести под проблему кризисов и конъюнктуры широкую социологическую базу, устранить «односторонность» господствующих теорий и положить предел ошибкам и разноголосице среди буржуазных теоретиков.

То новое, что на самом дело вносит универсалистическая теория по сравнению с другими буржуазными теориями, заключается в следующем. Прежде всего, устраняются те важнейшие методологические принципы исследования цикла и конъюнктуры, без которых вообще невозможна никакая теория: каузальный метод исследования, учение о периодичности кризисов, о всеобщем характере капиталистического цикла, о противоречиях, разрешающихся и воспроизводящихся в ходе цикла, и о стихийных регуляторах конъюнктуры. Все это отметается в сторону. Поставив себя таким образом вне рамок сколько-нибудь научного подхода к проблеме, универсалистическая теория конструирует новые методологические принципы. Капиталистическое хозяйство, с точки зрения школы Шпанна, представляет собою строение всех «частей целого», которые, за вычетом временных нарушений, находятся в определенной функциональной связи, соподчинении друг другу и гармоническом соответствии. Цель является высшей силой развития хозяйственного целого и его отдельных частей. Изменение целей—исходный пункт в развитии общественного процесса производства и всей системы общественных связей. Сдвиги в общественном хозяйстве происходят в силу изменения обычного соотношения частей всего целого. Кроме изменения в целях, нарушение прежнего строения частей общественного организма может быть вследствие перемены в степени развития монополий, в области кредита и денежного обращения, цен и покупательной силы отдельных хозяйственных групп, в сфере права и государственного регулирования, в области образования и технических открытий, в области вкусов и мод. Все это означает либо предварительные изменения в целях, преследуемых отдельными группами или лицами, либо то, что изменения в распределении средств производства и средств обращения вызывают новые цели и стремления. Отсюда масса источников нарушений «соответствия», т. е. масса кризисообразующих моментов, которые неизбежно сопровождают развитие общественного хозяйства. Главное и основное во всех нарушениях соответствия между частями общественного целого и его ступенями—это постоянный прогресс техники и организации общественного воспроизводства[1]. В связи с этим

[1] Для большей ясности мы излагаем теорию Шпанна и Гейнриха, прибегая отчасти к марксистской терминологии. На самом деле, конечно, ни понятие капиталистического воспроизводства, ни понятие распределения средств производства и т. п. не применяются этими теоретиками.

школа Шпанна отрицает понятие всеобщего перепроизводства, так как по ее мнению ни период кризиса, ни период депрессии не исключают наличия отраслей, которые в данный момент прогрессируют, переживают подъем. Сам кризис объясняется именно тем, что прогресс общественного хозяйства является двойственным процессом: для одних отраслей он означает восходящую линию развития, а для других нисходящую. Кризис означает лишь то, что нарушено обычное соответствие между частями общественного целого и его ступенями, и в силу технического прогресса, происходящего в данное время, ряд отраслей, остающихся за бортом этого прогресса и вынужденных испытать всю тяжесть отрицательного действия, которое подъем оказывает на условия их производства и реализации, оказываются убыточными и попадают в полосу кризиса и ликвидации.

Такова вкратце концепция Шпанна и Гейнриха. В основе ее лежит абстракция от всех специфических социальных условий капиталистического способа производства, голая формально-социологическая и иерархическая схема строения частей общественного целого, сведение социально-экономических процессов и отношений к явлениям чисто функционального порядка, телеологически-механистическая концепция общественного развития, плюралистическое обоснование основ кризиса и отожествление кризиса с техническим и экономическим прогрессом общества. В дополнение к этому универсалистическая теория заимствует целый ряд понятий из других буржуазных теорий кризисов и конъюнктуры, стремясь вставить их в общую рамку своей концепции.

Эта теория представляет шаг назад даже по сравнению с другими буржуазными теориями, как бы последние ни были плоски и ошибочны. Вместо «целостной и всесторонней» социологической теории, универсалистическая школа дает прямую апологию капиталистического общества, замазывает его специфические черты и противоречия и превращает кризисы в категорию, логически присущую всякому развивающемуся обществу, превращает кризисы в «эпизод прогресса» [1]. Кассель, Афтальон и некоторые другие теоретики кризисов тоже рассматривают кризисы как неизбежное явление любой формации общества. Но именно у Гейнриха эта точка зрения получает наиболее широкое и полное обоснование. Вместо анализа модификации кризисов и цикла в условиях новейшего капитализма, универсалистическая теория ограничивается утопическими рассуждениями о возможности смягчения кризисов и о «стабилизации конъюнктуры» путем всеобъемлющей организации всего капиталистического хозяйства и регулирования со стороны государственных и монополистических организаций. Вместо того, чтобы при помощи абстрактного анализа отделить проблему кризисов и цикла от проблемы конъюнктуры, представить теорию кризисов как предварительную общетеоретическую базу для разрешения вопросов теории конъюнктуры господствующие буржуазные теории грубо смешивают обе проблемы и становятся на путь вульгарно-эмпирического подхода к исследованию цикла и конъюнктуры. Универсалистическая школа строит такое понятие кризисов и цикла, которое непосредственно охватывает все явления конъюнктурного процесса. Она сознательно отбрасывает метод последовательного восхождения от абстрактного к конкретному, метод, примененный к теоретической экономии клас-

[1] ... «a crisis is essentially an *episode of progress*». Taylor в ст. «The Kinetic Theory of Economic Crises». «University Studies» of the University of Nebraska, v I. IV, Lincoln, 1904.

сиками и Марксом, третирует его как «каузально-механистический» и «изолирующий» и хочет непосредственно из явлений капиталистической действительности вывести понятие о цикле и конъюнктуре. Универсалистическая теория очень гордится тем, что в отличие от австрийской школы она исходит из познания общественного целого, из совокупных связей этого целого [1]. Но она не понимает того, что скользит по поверхности этого целого и искажает действительное содержание экономических категорий. Псевдо-социологическая теория Шпанна и Гейнриха представляет собою более апологетическую и реакционную концепцию капиталистического развития, чем предшествующие буржуазные теории. Выступая со своей социальной точкой зрения, она вводит в заблуждение не только диллетантов, но и многих специалистов в области политической экономии, не замечающих истинного существа этой новой школы и забывающих о том, что «социальное направление» представляет собою более завуалированную, украшенную «социологической» терминологией и потому более опасную и вредную разновидность апологетики капиталистического общества. Не забудем, что это новое направление яростно борется с марксизмом.

Новоявленная школа призвана облечь в научную форму представления и иллюзии агентов монополистического капитализма, этих предприимчивых организаторов «частей и ступеней целого». Широкая «социологическая» конструкция, учение о примате предпринимательской цели, учение об иерархии предприятий и отраслей хозяйства, учение о нарушении соответствия в силу несогласованности отдельных отраслей капиталистического хозяйства, учение о деньгах, кредите, государственной и частнокапиталистической организации народного хозяйства, как о «капитале высшего порядка», борьба с марксизмом и отрицание индивидуалистической позиции австрийской школы, учение о необходимости регулирования конъюнктуры—все эти основные положения теории Шпанна и Гейнриха представляют собою непосредственное выражение капиталистической идеологии нашего времени.

Универсалистическая теория кризисов есть псевдо-социологическая и вульгарная концепция. Мы должны ей противопоставить подлинно-социологическую концепцию кризисов Маркса, концепцию, которая базируется на его теории исторического материализма и на его теории капиталистического способа производства. Важнейшей заслугой Маркса является учение о диалектическом взаимодействии материальных производительных сил общества и их капиталистической социальной формы.

Универсализм не способен понять этой диалектики. Диалектическое единство и противоречие производительных сил и производственных отношений, этот универсальный закон общественного развития остался вне поля зрения универсалистической теории.

---

[1] Grundlagen, S. VII.

ЭСТЕТИКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО [1]

Л. И. Аксельрод-Ортодокс

Внутренний смысл и значение всякого юбилея заключается не в апологетике, а должен свестись к строго-научной критической и объективной оценке деятельности или влияния юбиляра. Должно быть учтено, что именно, какие элементы этой деятельности вошли в историю, какие элементы имели значение для той эпохи, когда юбиляр жил и действовал, и тот остаток, значение которого сохраняется в настоящее время. При отсутствии такого историко-критического анализа возможное преувеличение роли и значения творчества прошедшего для настоящего времени может легко вести к возрождению теории, не соответствующей нашей эпохе и являющейся не шагом вперед, а шагом назад. Чем большим талантом или гением обладал исторический деятель, о котором идет речь, чем больше его обаяние—тем больше опасность вступить на этот именно путь.

Чернышевский принадлежит к категории великих исторических деятелей, и это именно обязывает каждого, пишущего теперь об этом замечательном человеке, отнестись с полной серьезностью к столь ответственной теме. Следуя этому требованию, постараюсь по мере сил и возможности критически рассмотреть основные принципы эстетики Н. Г. Чернышевского.

Два мотива побудили автора «Эстетических отношений искусства к действительности» обратиться к исследованию вопросов эстетики или, как он впоследствии определил свою тему, теории искусства. Прежде всего — роль и значение, какие имели искусство и, главным образом, литература, поэзия и литературная критика в русской общественной жизни его эпохи. Политические условия русской действительности в шестидесятых и семидесятых годах, подавлявшие всякую живую мысль, цензурный намордник, тщательно ограждавший действия царского правительства от открытой и ясной социально-политической критики общественных отношений, делали то, что только художественной литературе и литературной критике представлялась хоть некоторая возможность под разными видами и масками проводить освободительные идеи. Художественная литература, изображавшая так или иначе общественную жизнь, литературная критика, раскрывавшая и объяснявшая общественное содержание художественных произведений, представляли собою поле битвы, на котором про-

[1] Эта статья была начата во время юбилейных торжеств по случаю столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского, но по некоторым причинам не была своевременно закончена.

Редакция не согласна с некоторыми положениями автора.

исходили жаркие схватки между защитниками передовой общественной мысли и представителями старого строя.

Чернышевский, как и до него Белинский, а с ним вместе Добролюбов, будучи революционером и общественным деятелем прежде всего, пользовался этим орудием интенсивно и широко.

В своей рецензии на собственную книгу («Эстетические отношения искусства к действительности») Чернышевский пишет:

«Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое огромное значение, какого, можно сказать наверное, не имеют нигде, и потому вопросы, которых касается автор, заслуживают, кажется нам, внимания читателей».

Совершенно естественно, что такой всесторонний мыслитель, как Чернышевский, должен был искать коренные теоретические основы литературы и поэзии, великое значение которых, как видно из приведенных строк, было для него совершенно ясно и хорошо им осознано. Вот первая и важная причина, побудившая Чернышевского обратиться к исследованию вопросов эстетики. Но есть и вторая причина более общего характера.

Философское развитие Чернышевского шло, повидимому, отчасти по тому же самому пути, по которому совершалась философская эволюция Маркса и Энгельса — от увлечения философией Гегеля до материализма Фейербаха. О своем отношении к Гегелю Чернышевский высказался с полной ясностью в знаменитых «Очерках гоголевского периода русской литературы». Для точного выяснения этого отношения и во избежание искажения нашей мысли приведу несколько цитат из Чернышевского.

Ставя в упрек «Московскому наблюдателю» его чрезмерное увлечение Гегелем, Чернышевский старается определить свой собственный взгляд на философию гениального немецкого идеалиста, и вот как он определяет его:

«Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительной силой». [1]

И далее: «Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в особенности гегелева система от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «истина — верховная цель мышления; ищите истину, потому что в истине—благо: какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение—источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времени Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем,—надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы оправдать «дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям, каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него

[1] *Чернышевский, Н. Г.*, Собр. соч., 1906 г., т. II, 185—186.

истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру забститься не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением», философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам был выставлен Гегелем знаменитый диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд: таким образом мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-по-малу являлось полное всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угоду собственным односторонним предубеждениям. Таким образом добросовестное неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникло данное явление,—что эти общие отвлеченные изречения—неудовлетворительны; каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по *соображению* той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна», т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства от которых он зависит» [1].

Дальше следуют примеры: нельзя решать вопроса о пользе или вреде дождя без рассмотрения соответствующих конкретных обстоятельств, также—о пользе или вреде войны и т. д. Остановимся теперь на этой обширной выдержке. Разберемся во всем, сказанном здесь Чернышевским о Гегеле.

Прежде всего гегелева философия получает свою оценку с точки зрения чисто-просветительской. Объективизм философии Гегеля рассматривается Чернышевским не под углом диалектического процесса исторического развития, но в известном смысле даже наоборот, т. е. метафизически. Истина превращается в неподвижный абсолют, с точки зрения которого категорически осуждается заблуждение, как *безусловно* иррациональный момент, лишенный всякого значения в историческом процессе. А это есть по существу формально-просветительский принцип, глубоко противоречащий гегелевой исторической диалектике. Чисто рационалистическим является также обобщающее утверждение, что до Гегеля, например, «философствовали не иначе как затем, чтобы оправдать дорогие убеждения и т. д.», между тем как философия Гегеля положила конец этому

[1] *Чернышевский, Н. Г.*, Собр. соч., 1906, т. II, с. 186—187.

пагубному способу мышления. Выходит, таким образом, что требование объективной истины в системе Гегеля совершило переворот во всем философском мышлении. Оборот мысли ясно рационалистический и просветительский. Мнение управляет миром, как любили выражаться французские просветители. Замечательно, что сам диалектический метод мышления, о котором говорит здесь Чернышевский, определяется не требованием вскрыть внутреннее развитие предмета. Необходимость рассмотрения всех форм противоречивого движения в процессах и вещах, диктуемая диалектическим методом, не сознается Чернышевским ни в малейшей степени. Сущность диалектического метода, о котором Чернышевский говорит с такой похвалой, определяется им как всестороннее исследование предмета. Но тут же всестороннее исследование предмета рассматривается как следствие борьбы противоположных мнений. Всестороннее исследование предмета превращается таким образом, незаметно для самого Чернышевского, в познание противоположных о нем мнений. Диалектический метод мышления и исследования сводится в конечном итоге к старой сократовской рационалистической диалектике, согласно которой истина является результатом борьбы и анализа противоположных мнений, а диалектика, требующая всестороннего познания предмета, подменивается анализом существующих понятий о предмете. Правда, в дальнейшем Чернышевский становится на конкретную почву, выражая свое безусловно отрицательное отношение к общим отвлеченным истинам. Отвлеченной истины нет, истина конкретна. Но и эта диалектическая формулировка трактуется нашим автором не в историческом ее значении, а в том смысле, что всякий данный факт должен быть рассмотрен в зависимости от его целесообразности, как в приведенном примере о целесообразности дождя или о целесообразности данной войны. В другом месте, рассуждая о ясности всякой гениальной мысли, Чернышевский пишет: «Ведь каждый глупец мог бы, кажется, догадаться, что жизнь есть ряд перемен, что все в мире меняется, что одна крайность влечет за собой другую, а в открытии этих истин заключается едва ли не главная тайна гегелевской философии» [1].

Еще на шаг ближе Чернышевский подходит к пониманию диалектического метода в своих известных и часто цитируемых словах (в статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения»): «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания,— кто понял этот великий, вечный повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению,— о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие».

Несмотря на то, что общее положение, заключающееся в приведенных словах Чернышевского, действительно проникнуто диалектическим содержанием, заключая в себе, как правильно выражается Плеханов, зародыш материалистической диалектики,— вывод из этого положения Чернышевский опять-таки делает утопический.

Нам, быть может, поставят на вид значение гегелевой триады в социально-утопической теории Чернышевского признаваемой им возможности непосредственного перехода поземельной общины в социалистический строй. В споре с противниками общины Чернышевский, как известно, пользовался для обоснования своей теории социального равенства триадой Гегеля, ста-

[1] *Чернышевский Н. Г.*, т. II, с. 122—123.

раясь на основании триады доказать полное тождество общинного землевладения с будущим социалистическим обществом, т. е. тождество первой фазы ее развития с третьей. Сама ссылка на триаду может опять-таки подать повод к утверждению, что Чернышевский усвоил гегелеву диалектику. На самом деле как раз наоборот. Утверждение, что тезис сходен с синтезом (антитезис у Чернышевского отпал), доказывает совершенно противоположное, а именно, что диалектика не была усвоена Чернышевским, так как третий фазис по Гегелю *формально сходен* с первым, но отнюдь не *тождественен* ему по своему содержанию. Этот пункт утопического социализма Чернышевского с исчерпывающей полнотой подвергнут критическому анализу Плехановым.

Этот свой анализ Плеханов заканчивает следующим общим выводом: «Но этим он (Чернышевский—*Л. А.*) изменял духу той самой философии (т. е. философии Гегеля—*Л. А.*), на которую ссылался в своей полемике с противниками общины» [1]. Другими словами—подлинная диалектика Гегеля не была понята Чернышевским.

Далее, из приведенной выше цитаты мы видим, что Гегель, как выражается Чернышевский, «ныне уже принадлежит истории». Настоящее время имеет другую философию. Эта новая философия, как впоследствии выяснилось текстуально, была философией Фейербаха. О своем отношении к этим двум мыслителям Чернышевский высказался с полной определенностью в предисловии к 3-му изданию «Эстетических отношений искусства к действительности».

Рассказывая в упомянутом предисловии о причинах, побудивших его примкнуть к философии Фейербаха и стать ее горячим сторонником, Чернышевский пишет:

«Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие (Н. Г. Чернышевский—*Л. А.*), получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 г. До того времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похожим на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалось желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно читал и перечитывал сочинения Фейербаха».

Встав на точку зрения философии Фейербаха, Чернышевский, как самостоятельный мыслитель и творческая натура, ставит себе целью теоретическое философское обоснование тех дисциплин научной мысли, которые не рассматривались его учителем. Благодаря вышеуказанной потреб-

[1] *Г. В. Плеханов*, Н. Г. Чернышевский, 1910, с. 310.

пости в теоретическом обосновании литературы и поэзии, Чернышевский принимается в первую очередь за построение теории искусства на основе философии Фейербаха. Так, Чернышевский пишет: «Предметом трактата, который нужно было ему написать, должно было быть что-нибудь, относящееся к литературе. Он вздумал удовлетворить этому условию изложением тех понятий об искусстве и в частности о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом брошюра, предисловие к которой пишу я,— попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики».

Итак, совершенно очевидно, что вышеозначенные два мотива побудили Чернышевского заняться вопросами искусства.

Таким образом, по собственному признанию знаменитого автора его эстетические взгляды явились выводами из философии Фейербаха. Очевидно, следовательно, что для понимания и полного уяснения сущности и значения теории искусства Чернышевского необходимо хотя бы в сжатом виде изложить его основные философские принципы. Этому изложению следует предпослать следующее место из того же «Предисловия к 3-му изданию «Эстетических отношений».

Автор «Мыслей о смерти и бессмертии» — Людвиг Фейербах — занимался несколько лет трудами по истории новой философии. Вероятно, они содействовали тому, что понятия его приобрели широту, далеко переходившую обычный круг немецкой философии, развившейся после Канта. Левая сторона гегелевской школы считала его своим. Он сохранял часть гегелевской терминологии. Но в 1845 году, в предисловии к собранию своих сочинений, он уже говорил, что философия отжила свой век, что ее место должно быть занято естествознанием. Делая обзор тех фазисов развития, которые проходила его мысль, и показывая при каждом из них, почему она не остановилась на нем, признала его устаревшим и перешла к следующему, он, по изложении основных идей последних своих трудов, говорит:

«Но и эта точка зрения не устарела ли?» И отвечает: «К сожалению, да, да («leider, leider!»)». Это заявление, что он считает устаревшими и такие свои труды, как «Сущность религии» (Das Wesen der Religion), основывалось на надежде, что скоро явятся натуралисты, способные заменить философов в деле разъяснения тех широких вопросов, исследование которых было до той поры специальным занятием мыслителей, называвшихся философами.

Оправдалась ли надежда Фейербаха хотя теперь, больше чем через сорок лет после того, как была высказана?—вопрос, которого я не буду разбирать. Мой ответ на него был бы грустный» [1].

В только что приведенной выдержке важно отметить два пункта: во-первых, то, что Чернышевский остался верен философии Фейербаха до конца своей жизни, во-вторых, что он стоял на точке зрения естественно-научного материализма, философское содержание которого было им развито почти за тридцать лет до того в «Антропологическом принципе философии».

Что означает «антропологический принцип в философии»? На этот вопрос мы читаем ответ прежде всего у самого Чернышевского. Ответ этот гласит так: «Что за вещь этот принцип,—читатель видел из характера са-

[1] *Чернышевский Н. Г.*, Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 191.

мих статей: принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или, если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом» [1].

Оказывается, следовательно, что учение об единстве человеческой природы является основой философского мировоззрения Чернышевского и, по его убеждению, также философии Фейербаха. Встает естественный вопрос, почему, собственно, теория единства человеческой природы должна служить исходной точкой философии? На этом вопросе необходимо остановиться несколько подробнее.

Учитель Чернышевского, Фейербах, строил свое собственное материалистическое мировоззрение, исходя из критики метафизики вообще и абсолютного идеализма Гегеля в особенности. Все метафизические системы имели с точки зрения Фейербаха своей главной основой дуализм духа и материи, точнее, души и тела. Учение о двойственной сущности человека, о преходящем существовании тела и о бессмертии души, составляющее якобы непреодолимое противоречие, приводило к конструированию двух миров. Одним из этих миров являлся мир потусторонний, духовный, вечный, бессмертный, и потому истинный, реальный, другой—телесный, преходящий и тем самым лишенный всякой реальности. Фейербах подверг решительной и глубокой критике этот антропологический дуализм, стараясь обосновать везде и повсюду учение об единстве человеческой природы. Это—с одной стороны. С другой—он с не меньшей силой обрушивается на метафизическую сущность гегелевской системы, критически противопоставляя абсолютному духу и его самосознанию материальную природу и реальное человеческое мышление, являющееся функцией материального человеческого существа.

Что же касается отношения Чернышевского к Гегелю, в эпоху написания «Антропологического принципа», т. е. когда он уже вполне стоял на точке зрения Фейербаха, то оно в полном смысле этого слова критическое. «Система Гегеля», читаем мы в «Антропологическом принципе», проникнута духом, господствовавшим над общественным мнением во время реставрации и получившим свое начало во время Первой империи, сама по себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний» [2].

Соответствует же «нынешнему состоянию знаний» с точки зрения Чернышевского естественнонаучное мировоззрение. Согласно этому мировоззрению, истинной реальностью отличается природа. Человек—часть ее, все разнообразие явлений как природы вообще, так и человека в частности сводится к одним и тем же основным началам. Ставя вопрос об отношении человеческого мышления к человеческому телу, Чернышевский отвечает на него таким образом:

«Но при единстве натуры мы замечаем в человеке два различные ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек

---

[1] Собр. соч., т. VI, ч. 2, с. 237.
[2] Там же, с. 192.

думает, чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два порядка явлений. Не противоречит ли их различие единству натуры человека, показываемому естественными науками. Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество, напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждения о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств. Например, дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между этими качествами? Они совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме общего понятия—качество; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме понятия—явление. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего между твердостью и блеском. Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей. Но в этом разнообразии естественные науки открывают и связь,—не по формам обнаружения, не по явлениям, которые решительно не сходны, а по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действовании. Например, в воде есть свойство иметь температуру,—свойство, общее всем телам. В чем бы ни состояло свойство предметов, называемое нами теплотою, оно при разных обстоятельствах обнаруживается с очень различными величинами. Иногда один и тот же предмет очень холоден, т. е. обнаруживает очень мало тепла, иногда он очень горяч, т. е. обнаруживает его очень много. Когда вода, по каким бы то ни было обстоятельствам, обнаруживает очень мало теплоты, она бывает твердым телом—льдом, обнаруживая несколько больше теплоты, она бывает жидкостью; а когда в ней теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трех разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие»[1].

Мы привели эту обширную выдержку потому, что в ней выражена полностью сущность общего мировоззрения Чернышевского. В дальнейшем следует развитие все той же основной мысли, что все разнообразие явлений как в природе, так и в человеке, сводится в конечном счете к нескольким основным элементам. Между неорганической и органической природой нет никакой пропасти.

«Еще не очень давно,—пишет Чернышевский,—казалось, что так называемые органические вещества (например, уксусная кислота) существуют только в органических телах. Но теперь известно, что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница между органической и неорганической комбинацией элементов несущественна

[1] Собр. соч., с. 195—196.—Разрядка наша.

и так называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам и все они одинаково возникают из неорганических веществ».

«Это как будто разница между 2 и 200,—разница количественная не больше».

«Итак, естественные науки видят в существовании органического тела, каково, например, растение или насекомое,—химический процесс» [1].

Приведенные сейчас выдержки, как и много других мест, показывают с полной четкостью, что Чернышевский придерживался того общего взгляда, что только естествознание вообще, и химия в частности, могут и должны дать подлинное философское мировоззрение.

«Химия,—заключает он свои рассуждения об единстве неорганического и органического миров,—составляет едва ли не лучшую славу нашего века» [2].

Общая характеристика философии Чернышевского необходима в данной связи, как уже упомянуто, для ясного понимания эстетических взглядов знаменитого автора.

Дальше. Подобно Фейербаху Чернышевский в своей критике идеализма вообще и Гегеля в частности встал на точку зрения антитезы. Абсолютному духу Гегеля была, как сказано выше, противопоставлена внешняя природа и внутренняя природа человека. Но вместе с абсолютным духом была выброшена также, как выше замечено, вся история развития и весь творческий исторический процесс, действующим лицом или создателем которого являлось человечество в своем поступательном движении. Как у Фейербаха, так и у Чернышевского, природа и человек остались по существу неподвижными категориями.

II

Исходя из вышеизложенных общих положений, Чернышевский приступает к критике идеалистической эстетики, противопоставляя этой последней эстетическую теорию, имеющую своей основой тот же антропологический принцип в философии. По существу вся критика направлена против эстетики Гегеля, что и было признано позже самим Чернышевским. В предисловии к 3-му изданию «Эстетических отношений» мы читаем:

«У автора нет и имени Гегеля (раньше шла речь об отсутствии имени Фейербаха.—*Л. А.*), хотя он постоянно полемизирует против эстетической теории Гегеля, продолжавшей господствовать тогда в русской литературе, но излагавшейся уже без упоминания о Гегеле. Это имя также было неудобно тогда для употребления на русском языке» [3].

Вследствие этих соображений Чернышевский подвергает критике известный и влиятельный тогда обширный труд Фишера: «Эстетика или наука прекрасного».

«Фишер,—продолжает Чернышевский,—был гегельянцем левой стороны, но имя его не принадлежало к числу неудобных. Потому автор называет его, когда имеет необходимость сказать, против кого же полемизирует он; и когда надобно приводить подлинные слова какого-нибудь

[1] Собр. соч., с. 198.
[2] Там же, с. 201.
[3] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 192.

защитника опровергаемых автором эстетических понятий, он делает выписки из «Эстетики» Фишера» [1].

Ясно, стало быть, что полемика ведется против основ эстетики Гегеля. Тут же, однако, следует заметить, что эстетика Фишера, исходя из общих принципов эстетического воззрения Гегеля, уступает во многих отношениях своему оригиналу, но, с другой стороны, в других пунктах делает более последовательные выводы из основ эстетики Гегеля. Но об этой стороне критикуемой Чернышевским эстетики Фишера будет речь ниже. А теперь перейдем к анализу эстетики Чернышевского.

Чернышевским подвергаются критике следующие положения идеалистической эстетики Фишера. Первое—понятие красоты, являющееся по мнению Фишера критерием истинного искусства; второе—понятие возвышенного; третье—сущность трагического; четвертое и главное—положение, что искусство прекраснее действительности, в частности эстетических предметов природы. Фишер, следуя общей мысли Гегеля, давал определение прекрасного в следующей формулировке:

«Прекрасное есть единство идеи и образа, полное слияние идеи с образом».

На идеалистическом языке это означает, что существует идея предмета, являющаяся его сущностью, и существует сама по себе как самостоятельная реальность, иначе говоря, она—субстанциональна. Материальная, чувственная форма, в которой идея находит свое проявление, есть, строго говоря, одна только видимость—«ein Schein»—как выражается тот же Фишер.

Если, таким образом, идея выражается полностью в ее чувственной видимости, мы получаем истинную красоту, которая присуща ей. Против этого основного положения Фишера Чернышевский возражает, вскрывая его несостоятельность следующими соображениями:

«В переводе на простой язык,—пишет Чернышевский, характеризуя вышеформулированное положение,—это будет значить: «прекрасно то, что превосходно в своем роде,—то, лучше чего нельзя себе вообразить в этом роде». Совершенно справедливо, что предмет должен быть превосходен в своем роде для того, чтобы называться прекрасным. Так, например, лес может быть прекрасен, но только «хороший» лес—высокий, прямой, густой, одним словом, превосходный лес; коряжник, жалкий, низенький редкий лес не может быть прекрасен. Роза прекрасна, но только «хорошая», свежая, неощипанная роза. Одним словом, все прекрасно, что превосходно в своем роде. Но не все превосходное в своем роде прекрасно. Крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он прекрасным и т. д.» [2].

Мы видим, таким образом, что, соответственно взглядам Чернышевского, полное слияние идеи с образом не определяет собою понятия красоты, не определяет по той простой причине, что это определение получает свое оправдание в отношении только избранных предметов. Иными словами, предмет должен уже отличаться какими-то признаками красоты для того, чтобы его полное слияние с идеей было осуществлением его превосходства в эстетическом смысле. Сделанное Чернышевским критическое замечание в отношении этого исходного пункта совершенно правильно и попадает в цель.

---

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 192.
[2] Там же, с. 86—87.

Что же противопоставляет Чернышевский справедливо отвергнутому им идеалистическому понятию красоты у Фишера? Вот что:

«Прекрасное есть жизнь. Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни. Кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного» [1].

С виду это определение может казаться материалистическим, конкретным, так как оно носит натуралистический характер. В действительности оно является столь же абстрактным, как и в якое определение, которое выходит за пределы определяемого понятия. *Всякое общее понятие, которое либо шире, либо уже определяемого вида конкретных предметов, является в отношении к этому последнему абстрактным понятием.* В обоих случаях, т. е. и тогда, когда понятие шире определяемого вида конкретных предметов и тогда, когда оно уже его, искомые специфические черты не найдены. *В первом случае, т. е. когда понятие шире, искомые специфические черты остаются невыделенными, неподчеркнутыми, во втором случае они остаются за пределами данного определения. В обоих случаях задача не выполнена.*

Вследствие этого общее понятие жизни не может служить признаком, определяющим красоту, так как понятие жизни относится ко *всем живым существам без всякого различия.* С этой общей точки зрения определение, которое дается Чернышевским, ничем не отличается от определения Фишера, усматривавшего признак красоты в слиянии идеи с образом. И там и тут признак красоты, по существу, отсутствует. Точно так же, как понятие жизни относится ко всем живым существам, так и слияние идеи с образом имеет и может иметь место в отношении предметов, совершенно чуждых признаков красоты. Подчеркивая и критикуя это общее понятие Фишера, Чернышевский, как мы видели, совершенно резонно разбивает это понятие, приводя в пример крота.

«Крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он прекрасным». Это же самое положение опровергает с такой же силой эстетическое определение, данное Чернышевским: «прекрасное есть жизнь», ибо нельзя же отрицать, что крот—живое существо».

Не сознавая своей ошибки, Чернышевский все же чувствует, что определение красоты с чисто биологической точки зрения не совсем удовлетворительно, а потому он спешит дополнить бытие должествованием: «Прекрасно,—рассуждает он дальше,—то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни».

Пояснением, подтверждающим это определение, должно служить достаточно известное суждение Чернышевского о различии представлений о красоте высшего господствующего сословия, идеология которого определяется праздностью, отсутствием труда, от эстетических представлений простого народа, для которого собственный труд является непосредственным источником существования.

Это пояснение заключает в себе классовый момент, но этот классовый момент забывается Чернышевским и в дальнейшем исчезает из поля его

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 89.

эстетических рассуждений безвозвратно. Остается же мысль, что представления простого народа являются *критерием* истинной красоты.

Перейдем далее к критике второго пункта из эстетики Фишера. Чернышевский пишет: «Господствующая эстетическая система дает нам два определения возвышенного. «Возвышенное есть перевес идеи над формой», и возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности эти два определения совершенно различны. «В самом деле,—продолжает Чернышевский,— перевес идеи над формой производит не собственно понятие возвышенного, а понятие туманного, неопределенного и понятие безобразного, das Hässliche, между тем как формула:

«Возвышенное есть то, что пробуждает в нас (или, употребляя терминологию спекулятивной философии: что проявляет в себе) идею бесконечного, остается определением собственно возвышенного» [1].

Во-первых, Чернышевский полагает, ссылаясь тут же на самого Фишера, что перевесом идеи над формой может отличаться также туманное и безобразное, причем и то и другое может быть при известных условиях возвышенным, т. е. тогда, когда оно ужасно. Перевес идеи над формой, справедливо думает Чернышевский, относится к тем явлениям физического и нравственного мира, когда предмет или явление разрушается от избытка собственных сил. Как пример приводится Чернышевским следующее:

«Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожается напором собственных сил, когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии, когда Рим падает собственной тяжестью—это явления возвышенные» [2].

Но для того, чтобы разрушения этих явлений от избытка собственных сил производили впечатление возвышенного, они сами по себе должны отличаться возвышенным характером. Стало быть, факт перевеса идеи над образом или, как это переводит Чернышевский на свой язык, гибель от избытка собственной силы, не может служить признаком возвышенного. *Искомое содержание определения здесь заранее, следовательно, предполагается.* Определяющее понятие в данном случае шире определяемого, так как перевесом идеи над формой может отличаться целый ряд явлений, не производящих эстетического впечатления, как например, «зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей».

Критические замечания Чернышевского, направленные против понятия возвышенного у Фишера, опять таки совершенно справедливы и попадают в цель.

Но как же сам Чернышевский определяет понятие возвышенного?— Вот его определение:

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». «Возвышенный предмет—предмет, много превосходящий своими размерами предметы, с которыми сравнивается нами».

«Возвышенно—явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами».

Монблан и Казбек—величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть; «Величественный лес в пять раз выше наших яблонь, акаций и в тысячу раз огромнее наших садов и рощ; Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы» и т. д. [3].

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 93—94.
[2] Там же, с. 94.
[3] Там же, с. 97.

А вот и иллюстрации Чернышевского из сферы явлений нравственного порядка:

«Любовь,—читаем мы,—гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их. Поэтому страсть—возвышенное явление. Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелия,—возвышенные личности, потому что Юлий Цезарь, как полководец, государственный человек, далеко выше всех полководцев и государственных людей своего времени. Отелло любит и ревнует гораздо сильнее дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью, способность к которой найдется далеко не во всякой женщине. «Гораздо больше, гораздо сильнее—вот отличительная черта возвышенного» [1].

Итак, возвышенным представляется предмет, превосходящий своими размерами предметы того же рода. Странным образом Чернышевский не замечает, что он и в этом определении делает ту же самую ошибку, которая была поставлена им на вид Фишеру. Кажется ясным, что для того, чтобы предмет, превосходящий размерами предмет того же рода, был возвышенным, этому же роду должны быть присущи признаки, отличающие его от другого рода предметов. Ведь нельзя же считать, например, возвышенным самого большого крота, превосходящего своими размерами всех остальных кротов. Или же—в интересах пояснения скажем еще резче,—никто не станет, например, считать возвышенным известное животное, перед которым, согласно Евангелию, не следует метать бисера, если оно будет выделяться своими размерами, отличающими его в самой высокой степени от остальных животных этого рода.

Заблуждение Фишера заключается в том, что, согласно его определению возвышенного, всякий предмет может быть возвышенным, если идея преобладает над образом. То же самое, хотя и с другой точки зрения, говорит определение Чернышевского. А именно: что всякий предмет может отличаться свойством возвышенного, если он превышает своими размерами все остальные предметы этого рода, составляющего по существу содержание как бы трансцендентной идеи в учении идеалистов. Так что совершенно те же самые возражения, которые направляются Чернышевским против Фишера, возвращаются обратно—против его собственного определения.

Сущность определения возвышенного требует, следовательно, предварительного определения и выделения того рода предметов, из которых в свою очередь могут быть выделены предметы, обладающие признаком возвышенного.

Сам Чернышевский так и поступает—в противоречие со своим собственным общим определением. В вышецитированных строках мы видели, что прежде всего выделяются явления и предметы, отличные от других предметов и явлений, и что затем из этого отбора выделяются в свою очередь своими размерами предметы и явления, причисляемые к возвышенным. «Любовь,—справедливо замечает Чернышевский,—гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчетов и побуждений», а потому любовь Дездемоны, Офелии и им подобных героинь, превышающая своей глубиной и интенсивностью любовь обыкновенных женщин,—возвышенна. Полководцы и государственные деятели выполняют при известных условиях почетную общественную функцию, а потому превышающий их в этих же качествах

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 97—98.

Юлий Цезарь и ему подобные государственные деятели являются возвышенными личностями. Но выдающиеся своей ловкостью, изворотливостью шулер или самый ловкий мошенник и т. д., ясное дело, не рассматриваются как возвышенные личности, несмотря на то, что могут превосходить своих коллег в этих своих качествах, и что в отношении таких личностей может быть вполне применима формулировка: «гораздо больше, гораздо сильней». То же самое относится и к утверждению, что «страсть—возвышенное явление», ибо сразу напрашивается вопрос—какая именно страсть? Существуют разного рода страсти—низкие и благородные. Страсть скупца, страсть картежника, страсть предателя, само собой разумеется, не относятся к возвышенным явлениям. Ясно, следовательно, что страсть как таковая, т. е. страсть без конкретных определений, не может относиться к явлениям возвышенным. Из всего сказанного следует, что общая формулировка Чернышевского, долженствующая определить собою возвышенное и гласящая «гораздо больше, гораздо сильнее», не выдерживает никакой критики и стоит в полном противоречии с собственными предпосылками знаменитого автора. Должна быть, как уже было сказано, выделена та группа предметов, из которой в свою очередь выделяется возвышенное.

Каким путем возможно установить определения первого и второго типа, этого вопроса мы здесь касаться не будем. Скажем пока, что эти определения должны устанавливаться путем конкретным, *историческим*, в диалектическом смысле этого понятия.

Между тем как Фишер, так и Чернышевский исходят каждый по-своему из точки зрения чисто *метафизической*.

Метафизический характер этих определений заключается в том, что абсолютизируется эстетическое отношение человека к выдающимся размерами предметам, и благодаря такому абсолютизированию упускаются из виду предметы, размеры которых не в состоянии сделать их эстетическими.

Однако критикуя понятие возвышенного в эстетике Фишера, Чернышевский последовательно отвергает второй идеалистический принцип возвышенного, как вызывающего в нас представление об абсолютном или бесконечном. В этой своей критике нам представляются все рассуждения Чернышевского совершенно правильными.

В данном вопросе он рассуждает, как последовательный материалист, идущий от предмета к идее, а не наоборот, от идеи к предмету.

В заключение анализа этого вопроса, т. е. определения Чернышевским возвышенного, следует еще прибавить, что существуют предметы, хотя число их очень ограничено, которые причисляются к предметам возвышенным, но в то же время единичны и, следовательно, не сравниваются с однородными предметами, как, например, звездное небо, которое не сравнивается с другими звездными небесами. На эту сторону указывает сам Чернышевский, не придавая ей, однако, должного значения.

III

Сущность трагедии по Гегелю состоит в полном и наивысшем проявлении субстанции или, что одно и то же, воли божества. В основе трагического лежит, следовательно, религиозное начало. Но как воля божества, проявляющаяся в трагедии, так и религиозное начало, выражаются не в форме благоговейного созерцания божества и не как религиозное созна-

ние, т. е. не субъективно. Воля эта объективируется, иначе говоря, она должна найти свое выражение во внешнем интенсивном действии, отличающемся роковым характером. Глубокие безысходные страдания, этот естественный результат трагического действия, обусловливаются действием виновника трагедии, проявляющего своеволие, с одной стороны, и интенсивным противодействием тех, чьи интересы и права, обычаи и традиции этой волей нарушаются. Следовательно, страдания личности, как сильны бы они ни были, причиненные каким бы то ни было способом, без участия волевого действия страдающего субъекта не могут быть отнесены к трагическому. Если бы, например, Ромео после напряженно-счастливого часа, проведенного с Юлией, был бы убит случайным выстрелом или же если бы на его голову упал кирпич, то такой тяжкий удар не мог бы быть причислен к трагическим, несмотря на гибель героя при столь исключительном положении. Для пояснения мысли Гегеля возьмем пример из нашей эпохи.

Представим себе, что героические личности—Карл Либкнехт и Роза Люксембург отправились бы на собрание в автомобиле. Автомобиль терпит крушение, и герои погибают. Это было бы, без всякого сомнения, говоря словами Чернышевского, ужасное в жизни, но эта гибель не была бы трагической. Трагической она не являлась бы по той причине, что это событие не могло бы вывести наше мышление за пределы *самого себя*, ибо это событие, выражаясь языком Гегеля, *замыкается в себе*. Другими словами, оно не связано ни с волей, ни с деятельностью данных лиц, ни с их идеями, ни с той общественной ролью, которую они играли. Такая гибель была бы подобна множеству случаев этого рода. Каждый человек может погибнуть аналогичной смертью. Смерть же Карла Либкнехта и Розы Люксембург от убийцы-реакционера, прусского юнкера, во время восстания спартаковцев, являет собою трагическую коллизию. В этом случае наше мышление и воображение выходят за пределы факта их гибели, вызывая в нас эмоции особого свойства и возбуждая огромную цепь мыслей общественного содержания. Такой смертью умирает не каждый. Коротко: герой трагедии прежде всего активен, он должен проявить упорную, ни перед чем не останавливающуюся волю. Но его активность особого порядка. Эта активность, по Гегелю, как непосредственное проявление субстанции или божественной воли, выражает собой и осуществляет определенную идею. Сообразно этому, герой трагедии представляет собой особенный завершенный характер, как о том говорит Гегель:

«Они (герои трагедии.—*Л. А.*) являются всецело тем, чем они могут и должны быть, согласно выражаемому ими понятию. Не многосторонняя, «эпически» распадающаяся целостность, но хотя и живая в себе и индивидуальная, все же лишь одна *сила* определенного характера, в которой этот характер, соответственно своей индивидуальности, неразрывно сомкнут с какой-нибудь отдельной стороной того возвышенного содержания жизни и во чтобы то ни стало ее осуществляет» [1].

Гегель не находит лучшего и более соответственного сравнения для трагических характеров, как статуи греческих богов. Эти скульптурные образы выражают, по мнению философа, как нельзя более четко монолитное существо трагического героя. Из всего сказанного следует ясно, что деятельность трагического героя должна необходимым образом притти в столкновение с волей других действующих личностей. Для воз-

[1] Sämtliche Werke, B. XIV, Stuttgart 1928, Hrsg. Glockner, S. 528.

никновения и развития трагического действия абсолютно необходима социальная среда. Гегель определяет арену трагического поля действия как «государственную жизнь, патриотизм граждан, волю властелина, церковную жизнь» и пр. [1].

Осуществляя свою идею, трагический герой вступает в резкий, непримиримый конфликт со всеми стремлениями, идеями, обычаями его социальной среды. Первым результатом этого непримиримого конфликта является гибель героя. Во время борьбы героя с окружающей его средой обе противоборствующие стороны действуют с одинаковым основанием. И там и тут проявляет себя божественная субстанция. Герой отстаивает с непреодолимым упорством идею будущего. Противостоящая среда защищает со столь же односторонней силой существующее. Герой совершает преступление, действуя против существующих общепринятых законов, нравов и обычаев. Он, следовательно, виновен перед настоящим. Гибель его поэтому правомерна и необходима. С другой стороны—защитники существующего, т. е. его противники, также неправы в своей односторонней защите настоящего. *Обе стороны, следовательно, правы и неправы.* В конечном результате идея героя осуществляется, чем и оправдывается его гибель. В осуществлении идеи—примирение противоречий. В примирении опять сливаются боровшиеся стороны. Тут в этот момент торжествует справедливость, так как всякая несправедливость есть проявление отстаивающей себя односторонности. В абсолютном духе несправедливости нет, так как он составляет единство.

В своем критическом анализе эстетики Чернышевского Плеханов, касаясь одной стороны трагического, по Гегелю, а именно роли героя в истории, пишет: «Абсолютный идеализм Гегеля уверяет, что, собственно говоря, безвинно люди никогда не гибнут; что, так как их поступки—поступки индивидов—по необходимости носят на себе печать ограниченности, то, будучи справедливым с одной стороны, они несправедливы с другой, и вот эта-то их несправедливость и является причиной их гибели. Таким образом, с «абсолютной идеи», со всемирного духа снимается всякая ответственность за страдания, которыми сопровождается поступательное движение человечества. Рассматриваемая таким образом история становится своего рода *теодицеей*» [2].

Что история с точки зрения Гегеля есть теодицея, признано самим Гегелем ясно и отчетливо, без всяких оговорок. Окончательный вывод «Философии всемирной истории» гласит»:

«Мировая история есть путь развития и действительное становление духа в изменчивой игре его исторических судеб. В этом заключается подлинная теодицея, оправдание бога в истории» и далее, «лишь тот взгляд может примирить дух с мировой историей и действительностью, что все происшедшее и все каждодневно происходящее не только от бога и без бога, но и по существу есть дело его самого».

В трагедии гегелева теодицея находит себе наиболее четкое выражение. Самые высшие формы страдания оправдываются здесь с морально-религиозной точки зрения, иначе говоря, все совершается по воле божией, следовательно, все совершающееся отличается наивысшей абсолютной справедливостью.

---

[1] Sämtliche Werke, B. XIV, Stuttgart 1928, Hrsg. Glockner, c. 527—528.
[2] «За двадцать лет», 1909, изд. 3-е, с. 285.

Чернышевский, как революционер, как материалист, хорошо и правильно оценил эту сторону в учении Гегеля о трагедии. В этом учении он усматривает философское оправдание судьбы. И вот что читаем мы по этому поводу в «Эстетических отношениях».

«Из этого изложения (Чернышевский цитирует из «Эстетики» Фишера изложение сущности трагедии по Гегелю.—*Л. А.*) видно, что понятие трагического в немецкой эстетике соединяется с понятием судьбы, так что трагическая участь человека представляется обыкновенно как «столкновение человека с судьбой», как следствие «вмешательства судьбы». Понятие судьбы обыкновенно искажается в новых европейских книгах, старающихся объяснить его нашими научными понятиями, даже связать с ними; потому необходимо представить его во всей чистоте и наготе. Оно через это избавится от несообразного смешения с понятиями науки, в сущности ему противоречащими, и выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы» [1].

Чернышевский далее замечает, что фатализм в учении о трагедии облекается в искуснейшие диалектические одежды. Высказывая целый ряд интересных соображений о происхождении идеи судьбы, Чернышевский отвергает ту мысль, что герои трагедии или крупные исторические личности, которые упорно проводят свои идеи, идя в разрез со всеми обычаями и интересами окружающей среды, виновны и заслуживают с какой-то высшей точки зрения гибели.

Коротко, во всей критике, относящейся к вопросу о *религиозной* сущности трагедии, Чернышевский совершенно прав. Но что же противопоставляет наш автор учению Гегеля о трагедии? Вот что мы читаем у Чернышевского об этом пункте:

«Трагическое есть страдание или погибель человека—этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой гибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость—причины страдания и погибели человека—все равно, страдание и погибель ужасны. Нам говорят: «чисто случайная погибель—нелепость в трагедии»—в трагедиях, писанных авторами, может быть; в действительной жизни—нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой завязки»; в жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь может быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбет, необходимо вытекающая из их положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люценом, на пути торжества и побед? Определение: *трагическое есть ужасное в человеческой жизни*, кажется, будет совершенно полным определением трагического в жизни и в искусстве» [2]. Тут приходится заметить, что как выше в примерах возвышенного ,так и в данном примере, Чернышевский впадает в противоречие со своим собственным положением. Желая доказать, что «трагическое есть ужасное в человеческой жизни», он, однако, выбирает пример исключительный: гибель Густава-Адольфа в победоносной битве под Люценом. Ясно, что этот исключительный случай не может служить типическим представителем ужасного в человеческой жизни вообще.

---

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 101—102.
[2] Там же, с. 107.

В данном определении, как и во всех предыдущих определениях, мы видим все ту же абстракцию. Немедленно встает вопрос: что является наиболее ужасным в жизни человека и, стало быть, также в трагедии. Правильно или неправильно, но Гегель старается раскрыть содержание трагического, оценивая это содержание как наиболее ужасное и как нечто исключительное. У Гегеля мы видим попытку установить различие между драмой, лирической поэзией и трагедией. Гегель, следовательно, так или иначе конкретизирует понятие трагедии, несмотря на то, что конкретное содержание сводится у него к воле божией (с точки зрения Гегеля воля божия—наивысшая конкретность).

С другой стороны, Гегель требует, как мы видели выше, для трагического действия крупной выдающейся индивидуальности, цельного характера. Для полного развития своей мысли Гегель не ограничивается определением содержания трагедии, но совершенно естественно, с полной логической последовательностью касается вопроса о том, какое действие должна произвести трагедия на воспринимающего, каково должно быть его переживание. Переживание при восприятии трагедии отнюдь не заключается в симпатии или антипатии к субъективным переживаниям действующего лица. Такого рода сочувствие несчастью и страданию переживается «как нечто конечное и отрицательное». Это значит, что сочувствующий обычному страданию вполне удовлетворяется помощью страждущему, не выходя за пределы этого акта. «К такому состраданию, говорит Гегель, всегда готовы мещанки («die «Kleinstädtischen Weiber»). Но крупная благородная личность не желает вызвать к себе сожаление и сочувствие этого рода» [1].

И в связи с этим развивается у Гегеля та мысль, хотя, как всегда, облеченная в метафизическую и религиозную форму, но по существу психологически верная, что сочувствие трагическому герою сопровождается сознанием, что его страдание является результатом его собственной воли. А поэтому сочувствующий сознает себя не в качестве покровителя и не стремится придти на помощь, а, наоборот, он испытывает наряду с сочувствием преклонение перед этой силой, инстинктивно сознавая, что какая бы то ни была помощь, даже порыв к помощи, здесь неуместны, так как трагический герой стоит выше всего этого. Формулируя сущность трагического страдания, Гегель говорит:

«Подлинно трагическое страдание, напротив, осуществляется с роковой для действующих индивидов неизбежностью, как внутреннее следствие их собственного столь же оправданного, сколь и преступного (вследствие коллизий) дела, которому они были преданы всем своим существом» [2].

Гегель опять-таки неправ, когда возводит в абсолютный религиозный принцип наказание, оправдывая его не с точки зрения исторической причинности, а с точки зрения нравственной оценки или, откровенно говоря, божьей справедливости.

В своем учении о трагедии, как и в общем мировоззрении во всем его целом, *Гегель в противоречие со своим диалектическим методом игнорирует специфические законы отдельных областей и становится на точку зрения общекосмическую, которая превращается у него в теодицею.* В данном случае в учении о трагедии упускается из виду своеобразный характер законов общественной жизни.

---

[1] *Hegel's*, Sämtliche Werke, B. XIV, c. 531.
[2] Там же, с. 532.

Герой трагедии, пусть это будет новатор в общественном значении, другими словами, революционер, проявляя полностью и во что бы то ни стало свою волю, нарушает, по мнению Гегеля, единство целого, непосредственная же коллизия его действий касается его ближайшей среды, против которой он восстает.

Среда его карает. И среда, и действующий герой—оба, как выше было замечено, выражают божественную волю, но так как нарушителем является, с точки зрения Гегеля, герой, а не защитники сопротивляющейся среды, то наказание вполне оправдано. В акте наказания осуществляется примирение среды с действием героя. В общем выходит, что божественная воля действует везде совершенно равнозначно, без всяких различий. Тем не менее, наказанным оказывается все-таки новатор, действующий против всего старого порядка. Спрашивается теперь, почему вина падает на революционера, нарушающего единство, а не на среду, которая сопротивляется и наказывает героя, действуя при этом столь же односторонне—с точки зрения самого Гегеля. Очень просто—по той причине, что Гегель симпатизирует консервативному началу, игнорируя конкретное содержание общественных отношений. С точки зрения общественных отношений нарушают интересы общественного целого те классы и слои общества, которые стремятся задержать ход общественного развития. Наоборот, деятели, борющиеся за новые формы жизни, призваны восстановить единство и возможность дальнейшего развития общества. Так что, поскольку речь идет о наказании,—должны быть наказаны именно те, кто задерживает развитие, а вовсе не тот, кто осуществляет назревшие в истории задачи и идеалы. Но Гегель придает всей этой коллизии особый оборот: виновным оказывается герой и в последнем счете по божьей воле. Так именно поступает Гегель в большинстве случаев. Рассматривая эмпирические реальные факты, он с большой глубиной раскрывает различные моменты их взаимоотношений. Но все эти взаимоотношения он переводит на метафизический язык, растворяет их в абсолютном духе, вследствие чего все эмпирические различия совершенно исчезают, тем не менее высшее начало—абсолют или бог—оказывается на стороне исторического прошедшего. Выходит, таким образом, что *при помощи метафизического безразличия устанавливается обратно различие реальное, согласно которому прогрессивное начало осуждается божией волею. Высшая справедливость, т. е. сама божия воля, оказывается пристрастной.* Другими словами: в конечном результате получается, что sub specie aeternitatis все безразлично, и это безразличие есть воля божия и наивысшая справедливость. Но это с одной стороны. С другой же—в противоречие со своим собственным признанием божественного безразличия, Гегель устанавливает все же различие между революционной и консервативной идеей. В абсолюте обе идеи равноправны, а в реальной действительности одерживает верх *идея консервативная*, а носитель революционной идеи должен быть наказан. Очевидно, следовательно, что *Гегель, исходя из божественной воли, оправдывает при ее помощи консервативную сторону действительности, греша против собственной как абсолютной, так и диалектической логики.* Такой именно до чрезвычайности запутанной смесью абсолютного и диалектического начал проникнута вся система Гегеля, все, решительно все важнейшие ее положения. Все его анализы реальной действительности всегда глубоки, всегда захватывающе интересны, смелы и там, где *конкретно* проявляется диалектика, революционны, но лишь при том необходимом условии, если освободить их от постоянного

вмешательства абсолютного духа или божества, которым *насквозь проникнуто каждое отдельное положение*. В противном случае очень легко попасть под влияние метафизических основ системы и незаметно притти в конце-концов к консервативным и религиозным воззрениям философа, точнее к его *теодицее*.

Вернемся теперь к трагедии или лучше сказать к ее восприятию, которым, конечно, характеризуется и сама трагедия. Совершенно прав Гегель, отличая трагическое от других видов и форм поэзии, выражающих также страдание. И очень тонко им подмечено различие восприятия этих форм. Переживание трагического состояния истинного героя трагедии, симпатия к трагическому герою носит совершенно другой характер, чем симпатия к обычному страданию обыкновенного человека. Симпатия к трагическому герою ведет, как выражается Гегель, в мир субстанциональный. И в данном случае совершенно верная мысль, относящаяся к миру действительному, переводится опять-таки на метафизический и теологический язык. Воспринимая трагический конфликт, в который впадает действующий герой трагедии, мы, хотя и испытываем симпатию к нему, все же под влиянием силы героя и конфликта выходим за пределы данного страдания, как и сам герой. Наши мысли направляются в сторону больших обобщений. Когда Отелло душит Дездемону, мы испытываем, конечно, сострадание и ужас. Но в то же время возникают вопросы о сущности и содержании любви и ревности, так как в обоих характерах воплощается односторонняя идея любви и ревности во всей своей силе. Наша мысль занята также ярким характером Яго, интригой, как таковой, всей ее общественной основой и т. д.

Наиболее четким примером трагического жанра может служить трагедия «Прометей прикованный», которая, как нам кажется, и явилась главным образцом всего учения Гегеля о трагедии.

Прометей представляет собою героя трагедии в полном и завершенном значении этого понятия. Он восстал против властелина Олимпа во имя блага людей. Он дал людям познание природы и научил их властвовать над ее силами. Тем самым он ограничил власть Зевса.

Прометей научил смертных мышлению, всем техническим искусствам и естествознанию.

Раньше люди

«Смотрели и не видели и, слыша,
Не слышали, в каких-то грезах сна—
Влачили жизнь; не знали древоделья,
Не строили домов из кирпича,
Ютились в глубине пещер подземных,
Бессолнечных, подобно муравьям.
Они тогда еще не различали
Примет зимы, весны—поры цветов—
И лета плодоносного: без мысли
Свершали все, и я им показал
Восходы и закаты звезд небесных.
Я научил их первой из наук—
Науке чисел и грамоте; я дал им
И творческую память, матерь муз.
И первый я поработил ярму
Животных диких; облегчая людям
Тяжелый труд телесный, я запряг
В повозки лошадей вожжелюбивых,
Излюбленную роскошь богачей.

Никто, как я, бегущие по морю
Льнокрылые измыслил корабли.
И это все изобретя для смертных,
Я не могу для самого себя
Придумать средство вырваться из бедствий» [1]

И т. д.

Прометей есть символический образ истинных носителей прогресса и революционного действия. Наказание его также символизирует собой наказания, которым подвергались и подвергаются до настоящего времени истинные герои истории. Его приковали крепкими железными цепями к пустынной скале. Свою кару Прометей несет с полным сознанием собственного героического достоинства, своей правоты и исторического значения. Он непреклонен и тверд, как та скала, к которой он прикован. На все увещания его родных и друзей—Океана и океанид—склониться перед Зевсом Прометей отвечает гордым и решительным «нет». Такое же непреклонное «нет» следует в ответ посланцу Зевса Гермесу, угрожающему новыми бедствиями и новой карой.

«Так почитай, молись и льсти владыке,
Меня же Зевс заботит меньше всех.
Знай хорошо, что я б не променял
Моих скорбей на рабское служение» [2].

Прометей страдает, не скрывая своих страданий. Он страдает физически, по-человечески, но наиболее глубокое страдание причиняет ему сознание абсолютной невозможности освободиться от цепей. Сознание силы делает истинно трагическим его бессилие. И все же глубокое и бесконечное страдание оказывается ничтожным сравнительно с той великой идеей, которой он служил и которая выходит за все пределы личных мучений, как бы глубоки и как бы велики они ни были. Это состояние Прометея воспринимает и зритель. Воспринимая этот трагический конфликт, зритель вряд ли испытывает стремление разорвать цепи Прометея, порыв освободить его. Мысль, воображение зрителя заняты философски-историческим смыслом, который подсказывается трагедией. Перед ним невольно выступает борьба нового со старым в истории, и чувство его направляется не в сторону сострадания, а проникается силой, непреклонностью и величием трагического героя. Прометей отклоняет всякое сочувствие, и зритель сочувствует ему в этом именно моменте. Родственники—Океан и океаниды, следуя чувству сострадания, склоняют Прометея к уступкам (как вообще родственники) и тем самым раздражают зрителя. Наоборот, зритель испытывает глубочайшее удовлетворение, когда Прометей гордо отклоняет все дружеские советы. Симпатия зрителя к Прометею совершенно иного содержания. А поэтому в общей характеристике трагедии Гегель совершенно прав. Но ошибается философ, как всегда, в тот момент, когда придает своей вполне верной мысли метафизический, религиозный оборот.

«Истинным состраданием,—говорит Гегель (к трагическому герою—*Л. А.*) является, напротив того, симпатия, одновременно смешанная с признанием моральной обоснованности этого страдания, того положительного субстанционального, что заключается в этом страдании. Этого

[1] Русские и мировые классики. *Эсхил*, Прометей прикованный, 1927, Гиз, с. 71.
[2] Там же, с. 99.

рода сострадания не могут внушить нам всякие ничтожества и мошенники»[1]. По Гегелю, сочувствие трагическому герою отличается, следовательно, от сочувствия страданию обычного порядка тем, что это сочувствие основано на единстве двух моментов: во-первых, наказания, являющегося нравственным оправданием «преступления» трагического героя, и, во-вторых, непокорности воли героя, которая ведет к его преступлению.

Тут проявляется уважение к воле героя, как таковой, и в то же время признается справедливость наказания.

Таково по существу богословское решение этого вопроса у Гегеля. Так именно мог относиться, и, кто его знает, может быть так относился к Прометею сам Зевс, признававший за героем несомненную силу (ибо в противном случае не стоило приковывать Прометея к скале). Мы же, наоборот, рассматриваем героический подвиг Прометея не с точки зрения нарушения воли Зевса, а исходя из общественно-исторического значения его действий, и наше сочувствие герою обусловливается глубоким удовлетворением и надеждой на осуществление человеческих идеалов[2].

Нравственная сила и непреклонность героя поднимают нас самих в собственных глазах, укрепляя нашу собственную волю и расширяя наш умственный горизонт. Вот почему при созерцании страданий трагического героя наше воображение выходит за пределы этого страдания. Но выходя за эти пределы, мы отнюдь не погружаемся в субстанцию и не чувствуем нравственного удовлетворения от примирения наказания с «преступлением». Наша мысль движется вперед в направлении той идеи, которая осуществляется героем трагедии. Но идея эта не метафизическая субстанция, как думает абсолютный идеалист Гегель, а выражает собой общественно-историческое содержание. При чтении или при слушании, например, того же «Прометея» перед читателем или слушателем, в зависимости от его интеллектуального развития и эмоционального уровня, возникают в воображении ряд событий общественно-исторического порядка. Трагическое действие может явиться и является толчком к широким обобщениям. Вследствие этого трагическое может быть причислено к возвышенному. Но это возвышенное не должно быть субстанциональным и божественным, как этого хочет Гегель. Напротив того—так как и с точки зрения самого Гегеля трагедия не мыслима вне социальной среды, то согласно конкретной мысли Гегеля же наше мышление, исходящее из этого реального содержания, направляется на конкретную социально-историческую действительность в обобщенной ее форме.

Подводя общий итог, можно сказать, что в учении о трагедии Гегель совершенно прав в том отношении, что считает трагедию как в жизни, так и в искусстве, основанной на коллизии особого порядка, обусловленного участием в ней исключительных действующих лиц. Трагедия имеет специфические законы и должна производить определенное, ей одной присущее, действие.

Но заблуждение Гегеля начинается там, где он эти эмпирические законы переносит в свой абсолют или, что одно и то же, в божество, при помощи которого он, как неумолимый Иегова, старается вынести обвинительный приговор трагическому герою и оправдать его карателей.

---

[1] Sämtliche Werke, B. XIV, 532.

[2] Истинно общественный смысл и трагический героизм «Прометея прикованного» выступили передо мной с наибольшей силой и художественной четкостью в гениальном исполнении В. И. Качаловым отрывков из этой замечательной трагедии.

Возвращаясь теперь к Чернышевскому, можно сказать, что Чернышевский, как революционер, ясно видел эту консервативную сторону в учении Гегеля о трагедии и, понимая ее, отвергал со всей страстью революционера-социалиста эту, по существу, церковную схоластику. Но, отвергая этот элемент, он прошел мимо верных положений в учении Гегеля о трагедии.

Когда Чернышевский утверждает, что все ужасное в жизни человека—трагично, то, если бы речь шла лишь о названии, с этим можно было бы согласиться. Но дело ведь идет об определении жанра и об установлении различий жанров. С этой точки зрения такое сглаживающее все различия и оттенки определение ничего не говорит, и более того им снимается вся проблема трагедии. А проблема эта все же существует как в жизни, так и в искусстве.

IV

Центральным положением всей эстетики Чернышевского является развитие той мысли, что действительность стоит выше в эстетическом отношении, чем искусство. Параллельно и в теснейшей связи с этой центральной мыслью подвергается критике противоположная точка зрения—эстетики Фишера, доказывающего, что, наоборот, искусство стоит выше действительности и потому самому призвано восполнить те недостатки и пробелы в эстетическом отношении, которые свойственны этой последней. В действительности или точнее—в природе, о которой идет речь у Фишера, нет и не может быть совершенно подлинной красоты. Во-первых, все явления, отличающиеся красотой, преходящи и относительны. Красота человека—даже этого наиболее прекрасного существа—непродолжительна и до такой степени подвержена разрушению, что период этого рода красоты равняется очень незначительной величине. Во-вторых, сама красота природы, как таковая, случайна и хаотична, не представляет собою результата преднамеренности и всегда нуждается в наших коррективах. Далее—красота в природе разрушается вследствие борьбы всего против всего и всех против всех. Сверх того, в самом прекрасном существе происходят процессы, нарушающие красоту. В творчестве же художника заложены великие возможности создавать совершенную красоту, игнорируя все эти недостатки и пробелы, следуя определенной идее красоты самой по себе.

Эти взгляды отвергаются Чернышевским самым настойчивым и решительным образом. На самом деле, полагает наш автор, в самой природе красота совершеннее и выше, чем в искусстве. Только пустое, испорченное воображение не удовлетворяется тем, что дает действительность.

Расценивая взгляды Фишера как фантазию, Чернышевский пишет: «Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то неописуемой лионской материи; но неужели станет мечтать об всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель. «От добра добра не ищут». Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр или в заволжских солончаках, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные

листья, рубиновые плоды; но, переселившись в какую-нибудь Курскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду с яблонями, вишнями, грушами и с густыми липовыми аллеями, мечтатель наверное забудет не только о садах тысячи и одной ночи, но и о лимоновых рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни—источник жизни в фантазии.

Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты воображения. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», ложны в том смысле, в каком понимается обыкновенно, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности, но и довольно посредственною действительностью» [1].

Это важнейшее и основное положение будет подвергнуто анализу впоследствии. А теперь приведем все остальные существенные возражения Чернышевского против отмеченного пункта эстетики Фишера.

Взгляду Фишера, что прекрасное в природе непреднамеренно и по этой причине не может быть так же прекрасно, как в искусстве, что предметы красоты создаются согласно заранее определенной цели,—Чернышевский противопоставляет следующее утверждение:

«Действительно,—читаем мы в «Эстетических отношениях. и т. д.»,—неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды были вкусны. Но, тем не менее, надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Конечно, преднамеренное произведение будет по достоинству выше непреднамеренного, но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работою природы. И потому в произведениях искусства превосходство со стороны преднамеренности перевешивается и далеко перевешивается слабостью их в исполнении» [2].

Взятая сама по себе проблема сравнения красоты природы с искусством и решение этой проблемы в том или другом направлении лишены всякого значения, всякого смысла. Но и Фишер, и Чернышевский, ставя и решая эту проблему каждый по-своему, побуждаются к ее постановке особенно важными соображениями, в силу которых проблема приобретает значение.

Дело в том, что Фишер в своей эстетике, как уже было замечено, продолжает эстетику Гегеля. Согласно основным принципам гегелевской эстетики, искусство есть проявление абсолютного духа, одна из сторон его, точнее—одна из стадий его развития. В связи с развитием абсолютного духа искусство совершает свое движение от бессознательного к сознательному. Природа, по Гегелю, вообще нереальна. Она есть не более, как инобытие абсолютного духа. Исполнив, как у всех идеалистов, роль пьяного илота, она получает отпуск до нового цикла развития абсолютного духа. Серьезно говоря, природа у Гегеля по своему внутреннему существу то же самое, что «не-я» у Фихте, философию которого так высоко ставит Гегель [3] вос-

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 112—113.
[2] Там же, с. 115.
[3] См. *Hegel*, Sämtliche Werke, B. XIX, «J. G. Fichte».

торгаясь в частности понятием «не-я». Но если у Фихте абсолютное «я» есть индивидуальный субъект, то у Гегеля абсолютный дух есть субъект общий, мировой. Как у Фихте, абсолютное «я» не может познать самого себя, не противопоставляя себе внутреннее «не-я», так и у Гегеля абсолютный дух познает себя, лишь внутренне противопоставляя себе природу. В обоих случаях природа есть отрицание. Согласно этому основному исходному началу, в эстетике Гегеля речь идет, главным образом, не о красоте природы, а о красоте в искусстве.

Красота в искусстве стоит выше красоты природы. Искусство в конечном счете есть проявление абсолютного духа или, как Гегель всегда выражается, божества.

Основная идея Гегеля о красоте искусства берет свое начало у Платона и главным образом—в дальнейшем развитии платоновской эстетики—у Плотина.

Защищая искусство от его противников, Плотин говорит: «Против презирающих искусство на том основании, что оно в своих творениях подражает природе, можно возразить прежде всего, что создания самой природы суть подражания; затем, что искусство не удовлетворяется простым подражанием явлению, но возвышается к идеалам, из которых происходит природа, и наконец, что оно многое присоединяет от себя; ибо, так как оно само владеет красотою, оно восполняет недостатки природы: например, Фидий не образовал Зевса по какому-либо видимому образцу, но воспринял Зевса так, как он явился бы, если бы он предстал пред нашим взором» [1].

Отсюда ясно следует, что, согласно основной идее Плотина, красота искусства выше красоты природы на том основании, что искусство берет свое начало в высшей духовной сущности, являясь порождением творческого акта. В природе, как здесь сказано, не существует образца для Зевса и тому подобных произведений искусства. Таким совершенным образцом является идея красоты, которая находит свое выражение у художника. Тем не менее, красота идеи нуждается для своего осуществления в материи. Красота идеи как бы «просвечивает» сквозь материю. Вне материального воплощения идея относится уже не к искусству, а к философии, к религии и т. д. Как сказано, в этом же направлении движется эстетическая мысль Гегеля. И для него, как для Плотина, красота природы ниже красоты искусства, ниже на том же основании.

По Гегелю, имеется, как известно, три главных стадии в развитии искусства: искусство символическое, искусство классическое и искусство романтическое. Символическое искусство—это искусство древнего Востока, характеризующееся преобладанием материи над идеей, классическое—это гармония идеи и материи, романтическое—преобладание духа над материей. Часто усматривали противоречие в гегелевском построении истории и теории искусства. Наивысшую оценку Гегель дает классическому искусству, которое он великолепно знал и превосходные образцы которого приводили его в восхищение. Почти все образцы, примеры, иллюстрации, которыми пользуется Гегель не только в «Эстетике», но и в других своих произведениях, заимствованы философом из области искусства античного мира. И, несмотря на это, высшей стадией развития по исторической линии признается философом искусство романтическое, которое отнюдь не удостаивается такой высокой оценки, как классическое искусство. С виду это

[1] *Plotin*, Enneaden, V, 8.

кажется действительным противоречием. Но только с виду. Дело в том, что в этом случае, как и в некоторых других, остается непонятой философская система Гегеля в ее целом, основные метафизические принципы которой пронизывают собою решительно все области без всякого исключения. *Гегель ставит высоко классическое искусство как искусство, но не как высшую стадию в развитии абсолютной идеи.* Высшая стадия абсолютной идеи—это полнота этой идеи, полнота, обусловленная диалектическим процессом постепенно развертывающегося самосознания духа, последняя стадия которого состоит в полном и абсолютном сознании своей конкретности и «*систематической целостности*». Иначе говоря, в полном сознании диалектического преодоления своего инобытия—природы и возвращения обогащенного всеми стадиями пройденного процесса духа, к самому себе. В романтическом искусстве дух преобладает над природой. В искусстве дух достигает наивысшего своего проявления в лирической поэзии, потому что здесь субъективный дух является формой, объективный дух—содержанием.

Мы видим, таким образом, что классическое искусство, где, как выражается Фишер, образ сливается с идеей, искусство достигает совершенства с точки зрения задач и идеалов искусства как такового. Романтическое искусство стоит ниже, как искусство, но зато является высшей ступенью проявления духа в искусстве. Ясно также, что, по Гегелю,—искусству, по существу, приходит конец. Оно лишь стадия развития абсолютной идеи. Но это между прочим. Нас же в данной связи занимает больше всего интересующая Чернышевского проблема отношения искусства к природе или еще точнее—соотношения красоты в искусстве и красоты в природе.

Эстетика Фишера, следуя общей мысли Плотина—Гегеля, ставит искусство выше природы именно на указанных идеалистических основаниях. Эти основания коренятся в основных принципах идеалистической философии.

Вернемся теперь к Чернышевскому. Чернышевский, став на философскую точку зрения Фейербаха, вслед за своим учителем ведет борьбу против идеализма и прежде всего против абсолютного идеализма Гегеля. Природа, как уже выше было упомянуто, критически противопоставлена абсолютному духу, она есть единственная реальность, и, стало быть, присущая ей красота является не отражением потусторонней идеи красоты, а собственным ее проявлением. Красота, следовательно,—не отражение метафизического начала всемирного духа, а проявление материальной сущности природы. Искусство же является, таким образом, подражанием природе (или ее воспроизведением, что в данной связи безразлично). Искусство, следовательно, не ведет своего происхождения от источника, стоящего выше природы; оно не плод какого-то несуществующего духа, рассматриваемого как реальность, а представляет собою отражение единственно подлинной реальности—самой природы. Оригинал—природа выше таким образом своей копии—искусства. *Если, согласно идеалистической концепции, искусство стоит ближе к подлинной духовной реальности, чем сама природа, а потому выше природы, то, согласно материалистическому мировоззрению Чернышевского, не признающего такого сверхприродного начала, искусство ниже своего оригинала, т. е. ниже природы.* Не касаясь и не развертывая философской сущности проблемы отношения искусства к красоте природы, Чернышевский оспаривает точку зрения Фишера, становясь сам на чисто эмпирическую почву. Всем утверждениям Фишера о преимуществе красоты исскуства над красотою природы Чернышевский противопоставляет факты и характеристики искусства и природы, имеющие целью защиту его основного тезиса.

Поскольку он вообще, в качестве фейербахианца, ведет борьбу против идеализма и идеалистической эстетики, он, безусловно, прав. Но, являясь горячим защитником бытия реальной природы и ее собственной, ей присущей красоты, он впадает в своей «Эстетике», как в некоторых других взглядах, в ту же ошибку, которая была присуща и Фейербаху.

Ведя борьбу против абсолютного идеализма Гегеля и ставя на место абсолютного духа реальность природы, Фейербах, а также его ученик Чернышевский оставили в стороне историческое развитие человечества. В то время как для Гегеля искусство совершает все же процесс развития, обусловленный всей исторической жизнью, у Чернышевского искусство представляется как бы непосредственным отражением как неподвижной, внешней природы, так и столь же неподвижной внутренней природы человека. Природа, художник и потребитель искусства полагаются как постоянные величины.

Искусство, по Чернышевскому, является результатом невозможности созерцать красоту природы. Приведем для большей ясности общеизвестное место из «Эстетических отношений и т. д.» Чернышевского и раскроем его подлинный смысл.

«Море прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении; но не все люди живут близ моря; многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него; а им хотелось бы полюбоваться на море—для них интересны и милы картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но за недостатком лучшего человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи—ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности не всегда, когда хочется, можно смотреть на море—они вспоминают о нем, но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание—и, чтобы оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят воспоминать о нем» [1].

По Чернышевскому искусство, как видно из этого основного положения, возникает из эстетической потребности наслаждаться красотою природы, и эта потребность диктует создание суррогатов там, где красоты природы отсутствуют.

Мы здесь имеем дело с чисто созерцательным отношением к природе и рационалистическим взглядом на возникновение искусства. Дело создания искусства происходит рационалистически, сознательно, вне исторического развития. *Утилитарный момент в искусстве, который здесь имеется, заключается в сознательной замене красоты природы искусством, но это—утилитарный момент чисто идеалистического порядка, так как ни картина, ни гравюра не служат орудием для каких-нибудь других целей, кроме удовлетворения эстетических потребностей. Само происхождение искусства об'ясняется исключительно эстетической потребностью.*

[1] *Чернышевский Н. Г.*, Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 150.

Эта именно созерцательно-рационалистическая точка зрения руководила всей мыслью Чернышевского при разрешении вопросов искусства. Но искусство есть прежде всего общественная функция, являясь одной из важнейших сторон человеческой исторической деятельности. Все современные исследования происхождения искусства показывают с очевидностью, что корни искусства лежат в утилитарной плоскости. Всякое художественное творчество диктуется процессами производства и всеми условиями борьбы за существование.

Подвергая критике эстетическую теорию Чернышевского, Плеханов справедливо указывает на отсутствие в его эстетике точки зрения развития. Плеханов пишет:

«Прекрасное есть жизнь» (говорит Чернышевский—*Л. А.*),—и основываясь на этом определении, он старается объяснить, почему мы любим, например, цветущую растительность.

«В растениях (цитирует Плеханов Чернышевского),—говорит он,—нам нравится свежесть цвета и роскошь, богатство формы, обнаруживающая богатую силами, свежую жизнь. Увядающее растение нехорошо: растение, в котором мало жизненных соков, нехорошо». Это очень остроумно сказано и в известных пределах совершенно правильно. Но вот в чем затруднение. Известно, что первобытные племена, например, бушмены, австралийцы и другие «дикари», стоящие на одинаковой с ними ступени развития, никогда не украшают себя цветами, хотя живут в местностях, очень богатых ими. Современная этнология твердо установила тот факт, что указанные племена заимствуют мотивы своей орнаментики исключительно из животного мира. Выходит, стало быть, что эти дикари совсем не интересуются растениями и что к их психологии совершенно не применимы только что приведенные нами остроумные соображения Чернышевского» [1].

Украшают же себя бушмены и австралийцы орнаментикой, заимствованной из мира животных, по той причине, что в их жизни, в их производственных процессах главную роль играют животные, а не растения. Искусство диктуется, таким образом, прежде всего утилитарным началом. Эстетическая потребность, конечно, здесь налицо, так как сам факт орнаментики должен удовлетворять эстетическую потребность, а потому спецификумом этого искусства является удовлетворение эстетической потребности. Но определяется содержание искусства не ею, а производственными процессами. Этим именно различием обусловливается различие между созерцательно-рационалистическим и историческим взглядом на искусство. В первом случае человеческая природа, ее эстетическая сторона берется в качестве чего-то постоянного и с самого начала диктующего независимо ни от каких утилитарных мотивов эстетический предмет в качестве оригинала искусства. Во втором случае *эстетическая потребность, как таковая, предполагается, но все формы ее удовлетворения изменяются с изменением человеческой природы, обусловленным производственными и имущественными отношениями, классовым строением общества и т. д. Иначе говоря, в первом случае мы имеем метафизическое воззрение на искусство, несмотря на его натуралистическую основу, во втором—диалектическое.*

Философский натурализм Фейербаха обусловливал собой признание постоянства человеческой природы. Постоянство человеческой природы

[1] «За двадцать лет», с. 264.

в свою очередь определяло собой, как совершенно справедливо замечает Плеханов, взгляды Чернышевского на искусство. Эти же философские воззрения были связаны с народническим направлением нашего знаменитого автора. Социалист Чернышевский берет за исходную точку своих социалистических стремлений не историческое марксово начало роста и развития производительных сил, а неподвижную, мы бы сказали, метафизическую категорию естественной умеренности человеческих потребностей. Все виды и формы роскоши Чернышевский рассматривает, подобно Руссо и Толстому, как извращения человеческой природы.

В рецензии на «Эстетические отношения» Чернышевский с еще большей четкостью, чем в самой диссертации, поясняет свою мысль о природной умеренности человеческих потребностей. Мы читаем там: «В сущности потребности человеческой природы очень умеренны: они достигают фантастически громадного развития только вследствие крайности, только при болезненном раздражении человека неблагоприятными обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-нибудь порядочного удовлетворения». Здоровый человек, повторяет свою мысль Чернышевский, вовсе неприхотлив. У Чернышевского приведено случайно и в разных местах его исследований несколько подобных примеров. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», говорит он, ложно в том смысле, в каком обыкновенно понимается, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их. Напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственной действительностью» [1].

По сути дела мы тут видим повторение мысли Фейербаха, что всякая фантастика имеет свою причину в скудости и бедности действительной жизни. В применении к искусству Чернышевский, продолжая идеи своего учителя, которые относились к фантастическому созданию религиозного мира, старается оправдать и подкрепить свой тезис о преимуществе действительности над искусством. Идя этим путем, Чернышевский, как это видно из приведенных цитат, разделяет человеческие потребности на естественные и искусственные. Отсюда следовало для него осуждение всех форм искусства, кроме натуралистической, которая с его точки зрения отражает естественные потребности, а потому и является истинным искусством.

Подвергая критике эту точку зрения Чернышевского, Плеханов опять-таки совершенно справедливо определяет ее как метафизическое отношение к жизни и к искусству. Приведу обширную выдержку из Плеханова, не стесняясь ее размерами, так как все сказанное в ней бросает яркий свет на сущность эстетических взглядов Чернышевского.

«Эстетические взгляды Чернышевского,—читаем мы у Плеханова,— были только зародышем того правильного воззрения на искусство, которое, усвоив и усовершенствовав диалектический метод старой философии, в то же время отрицает ее метафизическую основу и апеллирует к конкретной общественной жизни, а не к отвлеченной абсолютной идее. Чернышевский не сумел утвердиться на диалектической точке зрения; поэтому в его собственные представления о жизни и об искусстве проник очень значительный элемент метафизики. Он разделял человеческие потребности на естественные и искусственные; сообразно с этим и «жизнь» представлялась ему частью нормальной, поскольку она соответствовала естественным потреб-

[1] Собр. соч., том X, ч. 2, с. 170.

ностям, а частью, и притом большею частью, ненормальной,—поскольку ее склад обусловливается искусственными потребностями человека. Пользуясь таким критерием, нетрудно было притти к тому выводу, что жизнь всех высших классов общества ненормальна. А отсюда было рукой подать до того вывода, что искусство, выражавшее в различные эпохи эту ненормальную жизнь, было ложным искусством. Но общество разделилось на классы уже в то отдаленное время, когда оно стало выходить из состояния дикости. Стало быть, Чернышевскому нужно было признать ошибочной, ненормальной всю историческую жизнь человечества и объявить более или менее ложными все те представления о жизни, которые в течение этого длинного периода времени возникали на этой ненормальной почве. Такой взгляд на историю и на развитие человеческих понятий мог быть, и действительно бывал, могучим *орудием борьбы* в эпохи общественных перемен, в эпохи отрицания». И неудивительно, что за него крепко держались наши просветители 60-х годов. Но он не мог послужить орудием научного *объяснения исторического процесса*. По этому самому он не мог лечь в основу научной эстетики, о которой мечтал некогда Белинский и которая *не осуждает*,—это вообще не дело «теоретического разума»,—а объясняет. Чернышевский правильно называл искусство воспроизведением «жизни». Но именно потому, что искусство воспроизводит «жизнь», научная эстетика,—вернее сказать, правильное учение об искусстве,—могло лишь тогда встать на твердую почву, когда возникло правильное учение о «жизни». Философия Фейербаха заключала в себе только некоторые намеки на такое учение. Поэтому и основанное на ней учение об искусстве лишено было твердой научной основы» [1].

В общем и целом Плеханов констатирует отсутствие исторического взгляда на эстетику в теории Чернышевского. И это отсутствие обусловливалось общим рационалистическим взглядом Чернышевского на историю развития. Искусство, замечает Плеханов в согласии с Чернышевским, воспроизводит жизнь. Но для того, чтобы это положение получило истинно-конкретный смысл, следует определить жизнь в ее социально-историческом значении. Таким определением будут обусловливаться возможные выводы, которые должны стать основой научной теории искусства.

Разделив человеческие потребности на естественные и искусственные, Чернышевский осуждает жизнь высших классов, в недрах которых возникают искусственные потребности и стремления к их удовлетворению. А так как искусство выражало эту ложную жизнь, то и следует признать все искусство—ложным.

Центральная мысль Плеханова, которая, кстати заметим, повторяется им при различных оборотах несколько раз, сводится к тому, что научная эстетика требует прежде всего объяснений происхождения и развития искусства. Только такое исследование может послужить фундаментом для построения системы,—конечно, не в абсолютном смысле,—законов эстетики. В последнее время приходится слышать упреки по адресу Плеханова в том, что он не создал эстетики. Содержание этого упрека сводится к тому, что Плеханов старался объяснить искусство социально-исторически, но не установил критериев для художественной оценки предметов искусства, что, став на точку зрения объяснения социальных причин, обусловливающих искусство, Плеханов не подвергал осуждению ни одного из жанров

[1] «За двадцать лет», с. 297—298.

искусства, т. е. не исходил из оценок и не устанавливал таковых, а искал прежде всего условия и законы развития различных направлений искусства.

Напротив того, Чернышевский якобы дал такие критерии и, следовательно, создал эстетику, хотя, конечно, не без ошибок и пробелов.

Критерии красоты, развитые Чернышевским, как и все его определения, были подвергнуты критическому анализу в предыдущих главах. Мы видели, что определения красоты, возвышенного, определение трагедии не выдерживают ни малейшей критики. Мы видели, что бесплодность этих определений заключается в их абстрактно-метафизическом характере. Отсюда следует первый общий отрицательный вывод, что, идя абстрактно-метафизическим, т. е. недиалектическим путем, нет никакой возможности строить эстетику как науку. Было также отмечено, что Чернышевский, несмотря на его правильное в общем смысле утверждение, что искусство есть отображение жизни, остается и в этой области тем же абстрактным метафизиком, ибо общее понятие жизни не дает никаких конкретных определений предметов искусства.

С рационалистической точки зрения искусство представляется обычно так, как будто во всякое данное время существует «*естественная*» жизнь и искусство, которое эту жизнь отображает. Таким именно понятием оперирует Чернышевский по существу на протяжении всей своей эстетики, когда он старается доказать, что жизнь или действительность выше искусства.

Дело в том, что такое статическое противопоставление жизни искусству ошибочно в корне. «Искусство,—начинает Гаузенштейн свое главное произведение,—есть выражение мировой истории».

Это положение Гаузенштейна ближе к истине, ближе потому, что искусство не противопоставляется жизни в статической форме, а определяется с точки зрения процесса исторического развития. Тем не менее, и это определение отношения искусства к действительности неполно, ибо в нем заключается утверждение, что мировая история как бы существует сама по себе, а история искусства есть ее выражение. В действительности искусство невозможно отрывать от жизни и историю искусства от общеисторического процесса, когда речь идет об отношении искусства к действительности.

Вся история человечества является искусственной средой, все создано человеческим мозгом и человеческой рукой, хотя, как выражается Маркс, «не из свободных кусков». Искусство развивается в теснейшей причинной зависимости от производственных процессов, т. е. в зависимости от исторического творчества вообще. Даже те отрасли искусства, которые, казалось бы, не имеют непосредственной связи с процессами труда, усовершенствования технических приемов и навыков в области искусства, также испытывают на себе влияние исторического творческого процесса. Вся действительность на всех ступенях развития насквозь проникнута искусством, начиная с первобытного общества и кончая культурной средой. То, что называют общественной жизнью, воплощает в себе результат искусства. Каждый город есть своего рода музей. И не только город, но и комната с самой ничтожной обстановкой.

Искусство до такой степени тесно переплетается и так связано со всей действительностью, что между человеком данной эпохи и искусством существует гораздо большее сходство, чем это можно предполагать. Тонко замечает Зиммель, что между Платоном и Парфеноном есть поразительное родство. И Парфенон и Платон являются индивидуальностями, воплощаю-

щими в себе все результаты культуры древней Эллады. Искусство всякого данного отрезка времени, воспроизводя то, что называют жизнью, воспроизводит вместе с тем искусство всей предшествующей исторической действительности. Поэтому Гегель, став на историческую точку зрения в строгом значении этого слова, т. е. в смысле подлинно-диалектическом, рассматривает искусство как сторону саморазвивающегося абсолютного духа. Этим определением *отношения* искусства к мировой действительности философ выражает неотъемлемость и органическую связь искусства со всем историческим ходом развития.

Однако на каждой отдельной ступени развития, или точнее,—в каждый данный момент общественно-исторической жизни, искусство выделяется из действительности, воспроизводит ее и существует как совокупность предметов, которые в данное время не вполне сливаются с действительностью. Предметы искусства и всего прошедшего также не сливаются целиком с действительностью, так как они не имеют непосредственно утилитарного значения. Но их разностороннее действие воплощено разными сторонами в исторической и общественной жизни. И чем совершеннее предметы искусства, тем больше и тем длительнее их утилитарное действие. Искусство, следовательно, как уже упомянуто выше, не есть результат воспроизведения художником жизни, которая сама по себе чужда искусству. Даже изображение природы также носит не статический, а исторический характер. *Относительно одна и та же природа иначе отражается в искусстве в зависимости от социальных условий, определяющих собою индивидуальную и социальную психологию художника и потребителя искусства.*

Вернемся теперь к Чернышевскому. Все течение эстетической мысли нашего знаменитого автора имеет в области искусства своею целью показать и доказать, что реалистическое направление в искусстве является самым высшим или вернее истинной формой искусства. Для этой цели ему необходимо обосновать то положение, что природа, являясь моделью, оригиналом выше искусства и что творчество художника ниже своего оригинала. Эти основные задачи приводят с логической неизбежностью к различению «естественных» и «неестественных» потребностей человека. Реализм в искусстве по мнению Чернышевского отражает потребности естественные, романтика и все другие формы, примыкающие к ней, являются отражением извращенных потребностей.

Такое деление потребностей нам представляется неправильным в корне, ибо что следует понимать под «естественными» потребностями? По существу, естественных потребностей две: сохранение индивидуума и продолжение рода. Однако, на протяжении исторической действительности вопрос об этих естественных основных потребностях решается в совершенно различных формах. Различны формы семьи, различны формы сохранения индивидуальности. Естественна ли жизнь дикарей, крестьян, рабочих, древнего патриция, современного буржуа. Надо ли, например, считать естественным освещение лучиной, свечей или электричеством? А ведь в настоящее время какая-нибудь заминка в электрическом освещении нарушает общий ход жизни. Электрическое освещение, железные дороги, трамвай, телеграф, почта и все результаты современной культуры и т. д. стали естественной потребностью. Такие примеры можно приводить без конца. Потребности, тонко и верно отмечает Маркс, порождаются развитием производства. Человеческая природа со всеми ее потребностями является, следовательно, в весьма значительной степени продуктом исто-

рического развития. Согласно диалектическому материализму *исторический процесс заключается в росте и развитии производительных сил и в обусловленных этим развитием росте и умножении человеческих потребностей.* Чернышевский же, наоборот, ставит границу человеческим потребностям и, иллюстрируя взгляд на ограниченность человеческих потребностей, утверждает, что фантазия, эта психологическая основа романтики, развивается на почве бедности.

«Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами».

Такие случаи, разумеется, возможны. Какой-нибудь бедняк может, конечно, мечтать о подобных предметах, но такие мечтания навеяны романами и сказками, основой и образцом которых *является реальная действительная жизнь высших господствующих классов,* обладающих такими предметами в действительности. Этот частный пример имеет общее серьезное значение во всем эстетическом построении Чернышевского. Поэтому мы и остановились на нем и продолжаем его анализ. Как мы видели, Чернышевский утверждает, что человеческие потребности умеренны, и при их нормальном удовлетворении не может возникнуть никаких фантастических потребностей. Это положение опровергается теми фактами, которые в весьма изрядном количестве приводятся у самого Чернышевского. Привилегированные классы полностью удовлетворяют тот минимум потребностей, который Чернышевский считает необходимым и соответствующим человеческой природе. *И, несмотря на это, рост и развитие потребностей, в том числе и всяких фантастических, возникает как раз у высших господствующих классов.*

Различие между естественными и искусственными потребностями может быть определено только на основании одного критерия—неестественными потребностями следует считать и фактически считают такие потребности, удовлетворение которых ведет к разрушению индивидуума и к разложению общества. Только в этом пункте и может быть поставлена граница. Искусственные потребности этого порядка имеют место, как это отмечено неоднократно идеологическими представителями не только марксистского, но и других направлений, у высших господствующих классов в период их упадка. В таких исторических периодах искусство становится до чрезвычайности субъективно, и, как субъективное творчество, оно уклоняется от реальных закономерностей и тем самым вступает на путь фантастики. Искусство является «фантастическим» вследствие того, что упадочное состояние данного класса, которому оно служит, непосредственно находит себе выразителей в лице художников с соответствующей упадочной психикой. Но упадочное состояние той или другой части общества может быть предметом и реалистического воспроизведения. Художник-реалист имеет все возможности реально изображать фантастику, выросшую на почве упадка, как это, например, сделал Сервантес в «Дон-Кихоте». С другой стороны, однако, так как искусство до сих пор служило высшему господствующему классу, то естественно, что в эпоху упадка искусство также переживает упадочное состояние. Принимая в расчет главным образом эти периоды упадка общества и искусства, Чернышевский абсолютно метафизически устанавливает различие между искусством романтическим и реалистическим и соответственно разграничивает человеческие потребности на искусственные и естественные.

Сущность дела состоит, как уже упомянуто, в народническом направлении мысли и в утопическом характере социализма Чернышевского. Главное эстетическое положение Чернышевского—что природа стоит выше в эстетическом отношении, чем искусство—определялось его народническим социализмом, т. е. тем социализмом, который не опирался на прогресс техники и развитие производительных сил, а строился на основе крестьянского примитивного способа труда. Соответственно, его теория естественных потребностей вытекала из того, что в своих социалистических стремлениях он опирался на крестьянство, а не на пролетариат, об исторической роли которого в то время в России и речи не могло быть. Труд и творчество человека Чернышевский естественно отождествлял с примитивными формами работы крестьянина.

«Силы человека,—рассуждает Чернышевский,—гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работой природы» [1].

В полном согласии с общим народническим направлением мысли слагается у Чернышевского и понятие красоты, являясь, по существу, чисто крестьянским понятием. Описывая деревенскую красавицу, отличительные черты которой составляют «чрезвычайно свежий цвет лица, румянец во всю щеку, плотность сложения и т. д.»—Чернышевский явно выражает все свои симпатии к красоте этого типа. Касаясь все того же вопроса о преимуществах природы перед искусством, Чернышевский ставит примитивную народную песню выше художественно обработанного пения.

Словом, во всех рассуждениях о красоте выражаются с полной четкостью народнические мотивы. Идеал красоты крестьянства, вытекающий, по справедливому убеждению Чернышевского, из условий крестьянского труда, является, по существу, и идеалом красоты автора «Эстетических отношений».

Красота, выросшая на почве исторической культуры, красота, как результат творчества культурного человечества, не имеет особой эстетической ценности в глазах Чернышевского.

Короче—в общем мировоззрении Чернышевского, как и в эстетической его теории отсутствует диалектический взгляд на человеческое творчество и в частности на искусство.

Сделанный нами анализ эстетических воззрений Чернышевского приводит к следующему главному и основному заключению, что вне социально-исторического рассмотрения законов развития искусства строить научную эстетику нет ни малейшей возможности. Всякие общие абсолютистские определения, будь то материалистического или идеалистического характера (абсолютистскими определениями грешит механический материализм)—ничего не дают и ничего дать не могут. Такие отвлеченные понятия, с виду пригодные для всех эпох, всех народов, всех классов, и т. д., на самом деле не затрагивают того предмета, который они должны определить. Построение научной эстетики требует прежде всего серьезного, всестороннего исследования причин и условий происхождения и развития искусства. Исследование социальной обусловленности этой важнейшей общественной функции должно вскрыть причины подъема, расцвета и упадка искусства. Оно должно выяснить причины, под влиянием которых подвергаются изменению эстетические вкусы. В неразрывной связи с ис-

[1] Собр. соч., т. X, ч. 2, с. 115.

следованием социальной обусловленности искусства стоит вопрос о влиянии техники на развитие и усовершенствование художественной формы. Изучение технического прогресса с этой именно точки зрения должно бросить яркий свет на художественную оценку. Такой всесторонний исторический анализ должен показать, *что* именно и какие элементы в искусстве сохраняют длительное значение при всей изменчивости классового характера общества и при всей видимой субъективности искусства. Установление и научно-критическое определение причин и условий сравнительной устойчивости художественных произведений должно и может служить исходной точкой для критерия и оценки художественного произведения. Что среди всей изменчивости такая устойчивость все же существует, в этом нет никакого сомнения. *Во всех областях важнейшей и сложнейшей проблемой является нахождение и раскрытие диалектического единства между изменчивостью и устойчивостью.* В этом именно задача истинной диалектики. Тот, кто принимает во внимание исключительно изменчивость, тот неизбежно приходит к абсолютному релятивизму и, в конечном счете—к субъективизму и скептицизму. Тот же, кто, напротив того, оставляет в стороне изменчивость и сосредоточивает все внимание на постоянстве и устойчивости, тот искусственно отрывает форму от содержания и приходит столь же неизбежно к трансцендентной метафизике. Только раскрытие единства изменчивости и устойчивости может дать правильное решение этого кардинального вопроса, решение, соответствующее диалектически развивающейся действительности. В частности на эту сторону в области искусства указывает Маркс в своем знаменитом «Введении к критике политической экономии». Говоря о связи общественных отношений с формами искусства или—точнее—об отражении общественных отношений в искусстве, Маркс пишет:

«Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. *Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают давать нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца*»[1].

В том же отрывке Маркс, указывая на полную зависимость искусства от общественных отношений, говорит:

«Разве был бы возможен тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, при наличии сельфакторов—железных дорог, локомотивов, электрического телеграфа? Разве нашлось бы место Вулкану рядом с Roberts et C°, Юпитеру рядом с громоотводом и Гермесу с Credit Mobilier?

Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения и, следовательно, исчезает вместе с действительным господством над последними».

Видеть изменчивый характер искусства и его зависимость от социальных отношений совершенно нетрудно, как утверждает здесь Маркс. Эта изменчивость и эта зависимость должна бросаться в глаза каждому, кто только окончательно не ослеп от чтения книг метафизического содержания. Но трудность, с точки зрения Маркса, как мы видели, начинается там, где дело идет о понимании *сохранения* эстетических ценностей при всей их изменчивости. Эта трудность может быть преодолена только и исклю-

[1] Курсив наш — Л. А.

чительно при помощи метода диалектического материализма. При помощи этого метода должны быть выяснены на протяжении всей истории искусства все те элементы, благодаря которым предметы искусства «сохраняют значение норм». Соответственно этой общей задаче, каждое отдельное художественное произведение должно быть, по возможности, рассмотрено с социально-исторической точки зрения.

Отказ от социально-исторического рассмотрения данного предмета искусства, т. е. отказ от рассмотрения его социально-исторической обусловленности и анализ его содержания исключительно, как такового, является возвратом к метафизическому формальному методу, сколько бы ни говорилось о социологии, имманентной самому произведению. И наоборот— каждое произведение искусства, исследованное с точки зрения его социально-исторической обусловленности, является необходимым звеном в той общей великой исторической цепи, научное исследование которой должно вести к построению научной эстетики. Таковы общие методологические принципы диалектического материализма в отношении раскрытия законов искусства как со стороны содержания, так и со стороны формы.

Возвратимся теперь к началу статьи и спросим себя, что же дала эстетика Чернышевского. Очень многое. Ее историческое значение несомненно огромно. Прежде всего приходится отметить тот бесспорный факт, что материализм на всем протяжении своего исторического существования игнорировал искусство. Единственным исключением является отношение к искусству Дидро, касаться которого здесь не место. В силу своей внутренней природы старый механический материализм сосредоточил все свое внимание прежде всего на изучении природы, постижении ее законов—исходя из материалистических начал и борясь против религиозно-метафизических направлений во имя естественно-научной мысли. Когда материализм выходил за пределы познания природы, он касался вопросов государственной политики. Таков был характер материализма во Франции XVIII столетия.

Выступая в революционную эпоху на почве идеологии, как революционный авангард, материалисты этого времени, ведя борьбу против дворянства и духовенства, ставят в совершенно естественную связь научное изучение природы на материалистической основе с задачами и стремлениями государственной жизни. Их занимает естествознание и политика в обширном смысле этого слова. Сюда же примыкают вопросы этики, утилитарное решение которых опять-таки направлено против аскетических проповедей духовенства. Вопросы же искусства, как сказано, остаются в стороне. И в дальнейшем историческом развитии появление там и тут материалистического направления связывается главным образом и почти исключительно с ростом и развитием естествознания. Механический материализм Западной Европы XIX века почти не играет общественной роли.

Русская общественная революционная мысль 50-х и 60-х гг. имела своей философской основой материалистическое мировоззрение. Чернышевский был ее наиболее ярким, наиболее сильным и наиболее энергичным представителем. Выше было отмечено на основании собственного свидетельства Чернышевского—какие именно общественные мотивы подсказывали необходимость обоснования научной эстетики. Замечательно, однако, что именно Чернышевский обратил серьезное философское внимание на эту отрасль культуры, поняв все ее глубокое общественное значение. Чер-

нышевский первый в истории материализма стремится к созданию систематической научной эстетики на материалистической основе. Одно это составляет огромную и бессмертную заслугу Чернышевского в истории искусствознания. *Из самой же* его эстетики сохранились в эстетике диалектического материализма: 1) *общематериалистический базис;* 2) *правильный принцип, что искусство играет колоссальную роль в политической и общественной жизни и борьбе;* 3) *то положение, что искусство является воспроизведением действительности. Как общие отвлеченные принципы, эти положения сохраняют все свое значение и для нашего времени.*

В эпоху же шестидесятых годов эти принципы имели огромное революционное значение как резкая и яркая антитеза идеализму и эстетизму, которые занимали большое место в литературе старого консервативного направления, а поэтому совершенно прав Плеханов, который, указывая и подчеркивая «отсутствие у Чернышевского «диалектического взгляда на вещи», тем не менее кончает статью, посвященную эстетике Чернышевского, словами:

«Для своей эпохи диссертация нашего автора всетаки была в высшей степени серьезным и замечательным произведением».

Л. Аксельрод-Ортодокс

ПРОТИВ ЭКЛЕКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ [1]

А. Залманзон

I

Вопрос об объективном или субъективном направлении в психологии — основной принципиальный вопрос, определяющий дальнейшее развитие психологии как марксистской науки. В этом вопросе не может быть никакого среднего пути, никакого соединения, никакого синтеза; одно исключает другое; tertium non datur. Объективное направление—основная предпосылка марксистской психологии. Вопрос этот надо поставить со всей резкостью и категоричностью, разоблачая половинчатую, неясную, расплывчатую позицию эклектиков, прикрывающихся знаменем «диалектического» направления. Примешивать в той или иной степени субъективное направление к объективному—это то же самое, что примешивать в определенной пропорции идеализм к материализму. Критикой объективного направления Корнилов, Франкфурт, Чучмарев и многие другие выявили эклектическое лицо своей «диалектической» словесности. В своей статье «В защиту объективного направления в психологии», напечатанной в «Вестнике Комм. академии» № 18, я указал на основные ошибки К. Н. Корнилова, вытекающие из его тенденции диалектически на словах и эклектически на деле соединить субъективное и объективное направления. Рядом цитат из марксистской литературы (большая часть коих была взята из текста статьи Корнилова) я совершенно ясно показал псевдомарксистскую сущность как критики объективного направления, так и самостоятельных построений К. Н. Корнилова. Но поставленные в упор лаконичные вопросы меньше всего располагают к ясному, исчерпывающему ответу. Уклонившись от ответа, К. Н. Корнилов сделал очень неловкую попытку оправдать свое молчание. Вот как объясняет Корнилов свое молчание в статье «Пути развития русской психологии», напечатанной в журн. «Под знаменем марксизма» № 9—10. 1928 г.:

«В начале 1926 года этот полемический период, продолжавшийся почти 2 года, можно считать законченным. Правда, полемический зуд еще не был изжит всецело, и даже в конце 1926 года появлялись еще мелкие полемические статьи вроде статьи А. Залманзона «В защиту объективной психологии», направленной сколько против моих принципиальных воззрений, столько же и против меня лично. Но отвечать на это уже не стоило: эта «критика» напоминала скорее наскок одинокого, запоздавшего в бою

---

[1] От редакции. В дискуссионном порядке. В следующей книге будет помещен ответ тт. Корнилова и Франкфурта.

кавалериста, который в течение 2 лет, пока шел бой, не принимал в нем никакого участия, а теперь, когда этот бой давно уже закончился, вдруг проявил необычайную храбрость и замахал неизвестно для чего кулаками».

Аргументы значит таковы: статья мелкая, выступление запоздавшее, направлено лично против Корнилова, наконец, это выступление представляет собой наскок одинокого кавалериста, неизвестно почему замахавшего кулаками. Хитро, психологично придумано, т. Корнилов! Обвиняя меня абсолютно без всяких оснований в выступлении лично против него, К. Н. Корнилов позволяет себе, мимоходом наклеив ярлычок механиста, выставить мое выступление в смешном виде. Вместо принципиального ответа по существу,—бутафорский «кавалерийский наскок». Если даже согласиться на момент с К. Н. Корниловым, что запоздавшее выступление не заслуживает ответа, то все же остается крайне загадочным и таинственным, в каком смысле следует считать мое выступление запоздавшим. В том ли смысле, что ко времени моего выступления все вопросы были разрешены исследователем Корнилова—т. Франкфуртом, или в том, что строго «диалектические» позиции, па которые Корнилов вступил с христианского благословения Челпанова, знаменовали сами собой окончание всех споров. Два года, видите ли, молчал, а тут вдруг ни с того ни с сего замахал кулаками. Не кроются ли здесь какие-то личные мотивы? Довожу до вашего сведения, т. Корнилов, что руководствовался я исключительно принципиальными мотивами (в чем и вы вряд ли сомневаетесь), выступив в печати как раз в тот момент, когда борьба с субъективной эмпирической психологией под знаменем марксистской психологии была благополучно закончена, а борьба с объективным направлением выявила эклектическую сущность всех ваших построений, тщательно прикрытую при этом «диалектическим» направлением.

В указанной выше статье Корнилов с видом победителя утверждает снова старые основные свои положения:

«Но вот вся непоследовательность, алогичность представителей этого течения и заключается в том, что они не отрицают реальности психики и сознания, но они считают, что все, что объективно, мы должны изучать; то, что субъективно, мы не можем изучать. Следовательно, с точки зрения представителей этого течения выходит так, что существуют такие реальные объекты, которые изучить, познать для науки нельзя; это и есть точка зрения наитипичнейшего агностицизма, как бы они ни протестовали против этого. Вот в этом-то упрощении, сведении психологии к физиологии и заключается антидиалектичность подобного рода рассуждений». «Высказанная мною когда-то мысль, что марксистская психология должна быть диалектическим синтезом субъективной и объективной психологии, несмотря на ожесточенную критику со стороны механистов Струминского, Залманзона и др., эта мысль сохраняет свою значимость всецело и сейчас. Вот почему марксистская психология не может аннулировать и всякую значимость метода самонаблюдения, вопреки все тем же чересчур материалистам, каковыми являются крайние объективисты в психологии».

Все дело, значит, в отрицании вспомогательного значения самонаблюдения или словесного отчета. Тов. Корнилову следовало бы раз навсегда усвоить себе правило, направлять свои обвинения по определенному адресу. Надо раз навсегда указать, кто, когда, какими аргументами отрицал вспомогательную роль самонаблюдения или словесного отчета. Разве в этом суть спора? Разве объективное направление отрицает вспомогательную

роль словесного отчета, и разве, с другой стороны, эта вспомогательная роль является моментом, синтезирующим объективное и субъективное направления. Вместо того, чтобы с подчеркнуто-важным видом вещать о таких избитых истинах, как вспомогательная роль самонаблюдения, не лучше ли было бы конкретно указать—каким образом построить синтез между объективным и субъективным направлениями. Что же сказано Корниловым по этому поводу в указанной статье? «Надо ли говорить, что материалистическая психология должна была оперировать не с абстрактными душевными явлениями, ставя своей задачей изучение его поступков, действий, реакций, вообще поведения человека». «Мы вовсе не склонны были забывать в живом конкретном человеке и этой качественной его характеристики его сознания».

С одной стороны, надо оперировать с конкретным человеческим поведением в соотношении со средой, с другой стороны, рядом с этим приходится оперировать с психикой,—так поучает Корнилов бездушных «механистов». Но как увязываются обе эти операции? Никак не увязываются, по той простой причине, что Корнилов, оперируя синтезом двух операций, со свойственным всем эклектикам искусством и подвижностью, обходит, замазывает основное различие между объективным и субъективным направлениями в психологии. Суть дела ведь не в способах оперирования, а в способах объяснения. Объяснение как поведения, так и субъективных явлений, его сопровождающих, мозговыми процессами—вот в чем основной момент объективного направления. Но как раз этот-то основной момент, несмотря на частичное признание Корниловым учения об условных рефлексах фактически остается за бортом корниловского синтеза. Стоит ли в самом деле привлекать сюда физиологию высшей нервной деятельности, когда диалектические принципы однополюсной траты энергии и взрывчатых реакций великолепно обходятся без тех самых процессов «самих по себе», субъективную сторону коих представляет наша психика. Все дело в том и заключается, что операции Корнилова совершаются без участия больших полушарий головного мозга. Сведение сложных процессов нервной деятельности к абстрактным законам движения энергии представляет собой операцию явно механистического порядка. Упрощают психологию не только те рефлексологи, которые сложные проявления поведения сводят к сравнительно элементарным нервным процессам, но и те психологи, которые сводят их к элементарным и абстрактным законам движения энергии. Только обходя и игнорируя основное препятствие—мозговые процессы,—можно с такой легкостью и беспечностью оперировать синтезом обоих направлений. Посмотрим же теперь, в чем основное принципиальное различие обоих направлений и можно ли марксистскую психологию представить как синтез того и другого.

II

Субъективистами являются все те, которые, отправляясь от абстрактного «я» идеалистической философии (как бы это абстрактное «я» ни называлось), объясняют всякие состояния «для меня» не мозговыми процессами, не процессами «самими по себе», а теми или другими модификациями «для меня». В своей статье «Против дуализма тела и души, плоти и духа» Фейербах прекрасно выявил идеалистическую сущность субъективной психологии.

«Я», на котором психолог основывает существование нематериальной души, поэтому есть меньше всего наше истинное объективное существо: оно только мысленное существо, только копия, которую, однако, психолог принимает за оригинал, только толкование нашего существа, которое он, однако, вставляет в самый текст. Никакая другая наука не водила человека больше за нос и не выдавала свои измышления за действительность, как психология (за исключением конечно теологии, которая однако не что иное, как гиперболическая психология). Когда психолог говорит: «я отделяю себя от своего тела», то этим говорится не больше, чем когда философ в логике или «метафизике нравов» говорит: «я отвлекаюсь от человеческой природы». «Как психолог, ты отвлекаешься в мысли от своего тела, но в то же время по существу ты теснейшим образом с ним связан, т. е. ты мыслишь себя отделенным от него, но еще далеко не отделен от него в силу этого на деле. Разница между мышлением и бытием в психологии не уничтожена. Даже относительно мышления ты можешь различать между мышлением мышления и мышлением самим по себе. Ты мыслишь мышление как исключительно субъективную деятельность; ты говоришь: я думаю. Но разве не прав Лихтенберг, утверждая, что «собственно должно говорить: не я думаю, но думается. Поэтому, если «я думаю» отделяет себя от тела, то следует ли отсюда, что и «думается», непроизвольное в нашем мышлении, корень и основа «я думаю», отделено от тела».

Объективное направление целиком вытекает из самых основ марксистской методологии. «Если старая философия имела исходным пунктом положение: я есмь абстрактное только мыслящее существо, тело не относится к моей сущности, то будущая философия начинает напротив с положения: я есмь действительное, чувственное существо; тело относится к моей сущности, именно тело в своей целокупности и есть мое я, моя сущность». «Задача философии, вообще науки, состоит не в том, чтобы превращать объекты в мысли и представления, но в том, чтобы невидимое обыкновенным глазом сделать видимым, т. е. объективным» [1]. «В споре между материализмом и спиритуализмом речь идет о человеческой голове; раз мы узнали, что представляет собой та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к ясному взгляду и насчет всякой материи, насчет материи вообще». «Уже из приведенных нами слов Фейербаха насчет человеческой головы видно, что в ту пору, когда он писал эти слова, вопрос о материи, из которой состоит мозг, был им решен в чисто материалистическом смысле. И это его решение вопроса было принято также Марксом—Энгельсом. Оно легло в основу их собственной философии, что с самой полной ясностью видно из не раз уже упомянутых нами сочинений Энгельса «Людвиг Фейербах» и «Анти-Дюринг».

«Объективный мир находится не только вне меня; он также во мне самом, в моей собственной коже. Человек есть лишь часть природы, часть бытия, поэтому нет места для противоречия между его мышлением и бытием. Вообще законы бытия суть вместе с тем законы мышления». «Так говорил Фейербах. И то же, хотя иногда и другими словами, говорил Энгельс в своей полемике с Дюрингом». «Теперь никто из стоящих на высоте современной науки и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии надо искать в физиологии нервной системы. То, что называется деятельностью духа, есть совокупность мозговых функций, материалы

[1] *Фейербах*, Основы философии будущего, т. I.

нашего сознания являются продуктами деятельности мозга. Современная физиология прямым путем ведет к материализму, поскольку можно применить это название к учению». «Самые крайние материалисты никогда не заходили дальше этого утверждения» [1].

Объективистами, таким образом, являются все те, которые состояния «для меня» объясняют процессами «самими по себе». Но объективное направление вовсе не исчерпывается физиологией мозга. Марксисты-объективисты при этом рассматривают индивидуум не только как продукт природы, но и как продукт общественных отношений, не только в процессе воздействия на него внешней среды, но также и в процессе активного воздействия конкретного, социального человека на среду. Марксистская психология развивается как синтез социальной психологии и физиологии высшей нервной деятельности. «Воздействуя на природу вне его, человек изменяет собственную свою природу» [2]. «Труд—первое основное условие человеческого существования, и это в такой мере, что мы должны сказать—труд создал самого человека. Сначала труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться в человеческий мозг, который при всем сходстве в основной структуре превосходит первый величиной и совершенством» [3].

Субъективизм в социологии означает объяснение исторических фактов сознанием, мышлением и мнениями людей; напротив, марксистская социология объективна в том смысле, что объясняет сознание и мышление человеческой деятельностью на почве определенных экономических фактов.

«Естествоиспытатели и философы до сих пор пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление; они знают, с одной стороны, только природу, с другой—только мысль» [4]. «Общественное расчленение и государство возникают постоянно из жизненных процессов определенных индивидов, но индивидов не таких, какими они могут являться в собственном или чужом представлении, а таких, каковы они суть в действительности, т. е. как они действуют материально, производят и, следовательно, оказываются деятельными при определенных материальных, не зависящих от их воли, предпосылках и условиях» [5]. Иллюзорное представление действительности и ложная идеология возникают «вследствие ограниченного материального способа деятельности и вытекающих отсюда ограниченных общественных отношений» [6].

Но ложная идеология присуща не только примитивному мышлению, но и высоко сознательному мышлению мыслителей буржуазной эпохи. Господствующие классы, вступающие в конфликт с вырастающими экономическими отношениями и лежащими в их основе производительными силами, наиболее резко и отчетливо выявляют ложную идеологию. «Идеология есть процесс, хотя и совершаемый сознательно так называемым мыслителем, но со сложным сознанием. Настоящие силы, приводящие его в движение, остаются неизвестными мыслителю, иначе это и не было бы идеологическим процессом» [7].

[1] *Г. В. Плеханов*, Основные вопросы марксизма, т. XVIII.
[2] *Маркс*, Капитал, т. I.
[3] *Энгельс*, Диалектика природы, Архив М. и Э., 2.
[4] *Энгельс*, Диалектика природы, Архив М. и Э., т. II.
[5] *Маркс и Энгельс* о Фейербахе, Архив М. и Э., т. I.
[6] *Маркс и Энгельс* о Фейербахе, Архив М. и Э., т. I.
[7] *Энгельс*, Письмо к Мерингу.

Псевдомарксистское, автоматическое понимание исторического процесса возникает тогда, когда сознание и психика объясняются помимо и вне конкретной человеческой деятельности. «Задача материализма в области истории, как понимал эту задачу Маркс, заключалась, стало-быть, именно в том, чтобы объяснить, каким образом обстоятельства могут изменяться теми людьми, которые сами создаются обстоятельствами. И эта задача решалась указанием на производственные отношения, складывающиеся под влиянием условий, от человеческой воли независящих» [1].

«В связи с этим находится также следующее нелепое представление идеологов: раз мы отрицаем самостоятельное историческое развитие за различными идеологическими сферами, играющими роль в истории, то мы будто бы отрицаем за ними всякое историческое действие. В основе такого утверждения лежит ходячее, недиалектическое представление о причине и следствии как неподвижно противостоящих друг другу полюсах, т. е. абсолютное игнорирование взаимодействия; господа эти часто, почти умышленно забывают, что известный исторический момент, раз он вызван в свет другими, в конечном счете экономическими фактами, начинает и в свою очередь реагировать, что он может действовать» [2]. Влияние базиса на надстройку и обратное влияние на базис понимается в виде конкретной человеческой деятельности. «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменение может быть постигнуто и рационально понято только как революционная практика» [3].

Различие между объективным марксистским и субъективным методами в социологии принципиально то же, что и между объективным и субъективным направлениями в психологии. Это та самая непроходимая грань, которая отделяет материализм от идеализма. Социальная психология—наука, только еще рождающаяся—всеми своими корнями уходит в марксистскую социологию, отличаясь от нее только объектом своего исследования. Рассматривая конкретного человека как продукт исторического развития и общественных отношений не только в процессе воздействия на него, но и в процессе его собственного воздействия, социальная психология сквозь поверхностную оболочку поведения человека проникает в сущность «истинных сил», в сущность тех социально-экономических, классовых отношений, которые лежат в основе данного конкретного поведения. В процессе этого социологического анализа социальная психология должна расчленять отдельные социальные факторы, устанавливая связь каждого из них с человеческим поведением, и отделять социальные факторы от биологических, изучая их связь и антагонизм.

Индивидуальная психология, как наука, растворяется целиком без остатка в новой, вырастающей на базе исторического материализма социальной психологии. Это вовсе не означает, что индивидуальное в [illegible]ности стирается. Но это означает, что личность вообще, личность [illegible]ная от исторической действительности, классовых отношений, [illegible] своеобразного социального быта, отойдет в область преданий. Робинзону психологическому, как некогда экономическому, приходит конец. Но подобно тому как социализм не нивелирует личность, а напротив выявляет ее еще в невиданном многообразии, точно так же социальная психология позволит до

---

[1] *Плеханов*, Основные вопросы марксизма, т. XVIII.
[2] *Энгельс*, Письмо к Мерингу.
[3] *Маркс*, Тезисы о Фейербахе.

тончайших нюансов выделить все особенное, характерное, своеобразное, что отличает данного человека. Ведь даже гений своей многогранной индивидуальностью отображает лишь жизнь класса и эпохи. Все самое глубокое и интимное в нем принадлежит своеобразию данной социальной структуры с ее исторически сложившимися классами.

Наиболее актуальными проблемами социальной психологии являются следующие: проблема примитивной психики и первобытного мышления в связи с историей культуры и религии, трудовые процессы и их организующее личность влияние, проблемы политическо-классовой психологии, наконец проблема идеологии, включающая в себя все предыдущие.

Центральною и вместе с тем практически прикладною ветвью социальной психологии является характерология. Ее исторический прообраз в настоящее время—криминологическая клиника, работники которой должны совмещать в себе социолога-психиатра и психопатолога. На знамени социальной психологии должно быть начертано: решительная борьба с упрощенною биологизацией личности; сочетание конституциональных особенностей с особенностями социально-классовыми; органическое растворение, но в то же время наиболее полное выявление личности, глубинной, биологической, и личности социальной; выявление организующего действия труда и идеологии; наконец, по мере развития физиологии высшей нервной деятельности, социальная психология должна изучать поведение в связи с мозговыми процессами. Физиология высшей нервной деятельности стоит в центре неврологических наук как область изучения внутренней структуры человеческого поведения. Но мозговая кора не изолирована от организма. Через подкорковые центры и вегетативную нервную систему она подчиняется процессам организма и в то же время господствует над ними. Степень ее господства—показатель уровня человеческой культуры.

Несомненно, что основным моментом в процессе очеловечения обезьяны явилось усиление доминантного значения коры головного мозга. Кроме сигнализации условно рефлекторной, свойственной всему животному миру, в человеческом мозгу создается богатейший сигнализационный аппарат, связанный с относительно самостоятельными подвижными моторными доминантами коры. Этот-то новый аппарат по мере своего развития все более и более перемещает центр тяжести от пассивно биологического приспособления к активному социальному господству над внешней природой, в процессе изменения которого изменяется сама человеческая природа. Физиология высшей нервной деятельности, усложняясь по мере перехода от животных к человеку, должна иметь в качестве отправного пункта своих исследований данные социальной психологии. Экспериментальное изучение высшей нервной деятельности у человека без данных социальной психологии не может дать существенных результатов, что как раз и доказывается скудными незначительными результатами применения метода условных рефлексов на человеке. Вот почему я и мыслю *развитие марксистской психологии как синтез двух основных и принципиально различных областей—социальной психологии и физиологии высшей нервной деятельности*. Субъективные явления, явления «для меня» объясняются и расшифровываются только в процессе изучения объективных отношений. Этим нисколько и ни в какой мере не устраняется подсобная роль субъективных показаний и высказываний. Подсобная их роль в том как раз и заключается, что эти показания и высказывания являются только материалом для изучения объективных процессов и отношений. Напротив, метод самонаблюдения

и словесного отчета, крайне несовершенный и в настоящее время, можно углублять и совершенствовать только по мере все большего и большего проникновения в сущность объективных процессов и отношений. Наука, в процессе своего поступательного развития, шаг за шагом, с большими трудностями отвоевывала у религии и идеализма тот материал нашего познания, который относился к явлениям «для меня». Явления «для меня» по мере развития науки превращались в существующие «сами по себе» процессы и отношения—в объект человеческого воздействия. Но человеческая природа не является исключением из этого правила. Рост социалистических отношений ставит во всей своей широте вопрос о человеке, как объекте человеческого воздействия. Человек «в процессе своего воздействия на природу изменяет свою собственную природу», но изменяет ее бессознательно. Сознательное изменение человеческой природы может производиться только в процессе ее объективного познания. Проблема культурной революции—это проблема не только нашей культурно отсталой страны, но это проблема любой передовой капиталистической страны после социальной революции; ибо она означает собой сознательное изменение человеческой природы, овладевание человека своими внутренними, стихийными, непонятными ему самому силами. Субъективная психология, в той или другой степени отрывающая для познания явления «для меня» от человеческой природы, является последней, самой крепкой и сильной опорой идеализма. Напротив, объективное направление выбивает идеализм из самой основной его позиции—из учения о субъекте, о человеческом «я». Поэтому не может быть и речи о синтезе между обоими направлениями. Синтез между ними на деле означает собой синтез материализма и идеализма в эпоху наиболее углубленной, решительной и непримиримой борьбы между двумя основными мировоззрениями человеческой идеологии. Синтез этот характеризует собой то направление, которое носит название эклектического. «Кто отправляется от объекта, у того создается, если только он имеет способность и отвагу мыслить последовательно, одна из разновидностей материалистического мировоззрения. Кому точкой отправления служит субъект, тот оказывается, опять-таки если он не боится итти до конца, идеалистом того или другого оттенка. А люди, неспособные к последовательному мышлению, останавливаются на полдороге и довольствуются помесью идеализма с материализмом. Таких непоследовательных мыслителей называют эклектиками» [1].

III

В своей критике объективного направления К. Н. Корнилов довольствуется общими положениями, не подкрепляя их сплошь и рядом конкретными доказательствами. С подчеркнуто важным видом истинного «диалектика», чуть-чуть ухмыляясь над поверженными в прах механистами. К. Н. Корнилов изрекает свои высокомудрые синтетические положения.

Ю. В. Франкфурт в этом отношении—полный антипод т. Корнилова. В своей разъяснительной работе он и веревочки не пропустит; даже положения, нигде не зафиксированные, но когда-то высказанные каким-либо «механистом», берутся им в оборот. Каждая фраза, даже недосказанная и невысказанная комментируется до конца, до седьмого пота, до потери

[1] *Плеханов*, Предисловие к книге А. Деборина, т. XVIII.

сознания. Само собой разумеется т. Франкфурт, подобно Корнилову, глубоко проникнут «диалектикой». Но в то время как «диалектика» Корнилова преисполнена самыми мирными намерениями, «диалектика» т. Франкфурта в своих глубочайших противоречиях творит прямо чудеса. Любое положение как свое, так и своих противников, по мановению волшебной палочки превращается в свою противоположность. Своими комментариями т. Франкфурт оказал неоценимую услугу т. Корнилову и всем его сторонникам, высказав до конца все то, что было завуалировано в неясных, общих и расплывчатых положениях. Вот почему комментарии т. Франкфурта дают несравненно больший материал для понимания целого ряда вопросов. Остановимся на двух основных проблемах, разрешаемых т. Франкфуртом,—на проблемах пространственности и действенности психики. В своей книге «Рефлексология и марксизм», т. II, т. Франкфурт усматривает дуализм И. П. Павлова в следующих фразах из книги «Двадцатилетний опыт».

«Наши рассуждения, относящиеся к фактам, полученным строго объективным путем, носят особый характер, наши факты мыслятся в форме пространства и времени, у нас это совершенно естественно—научные факты. Психологические же факты мыслятся только в форме времени, и понятно, что такая разница в мышлении не может не создать известной несоизмеримости этих двух видов мышления». «Субъективный метод—это метод беспричинного мышления, потому что психологическое рассуждение есть адетерминистическое рассуждение, т. е. я признаю явление, происходящее ни оттуда, ни отсюда».

Если взгляды о непространственности и адетерминистичности психики признать вместе с т. Франкфуртом дуалистическими, то это дуализм совсем особого рода, ибо он, как две капли воды, похож на самый подлинный монистический материализм.

В самом деле, что говорит по этому поводу Фейербах? «Действительно, в психологии все и каждый из нас найденыши; мы ничего не знаем и ничего не хотим знать о родословной наших ощущений, представлений и хотений». «В наше сознание и чувство попадают только заключения, а не посылки, только результаты, а не процессы организма». «Конечно, в психологии нет ничего заполняющего пространство. Но это отсутствие всякого заполнения пространства, всякого физиологического материала, эта пустота имеет субъективное основание»[1]. Бухарин, по Франкфурту, является самым отпетым дуалистом, ибо он говорит в своей книге «Исторический материализм» следующее: «Мысль человека нельзя нащупать или понюхать, она не имеет цвета, и ее нельзя непосредственно измерить ни аршином, ни метром». Теперь посмотрим, как Франкфурт разъясняет и социологически расценивает такого рода «дуализм». «И действительно, если субъективное не совершается в пространстве, а родится само из себя, беспричинно, независимо от материальных физиологических процессов, то, очевидно, что оно представляет собой особую сущность, коренным образом отличающуюся от физиологической. И. П. Павлов делит единый мир на два принципиально отличных мира, один протяженный, подчиняющийся законам, т. е. мир физический, а другой не протяженный, без всякой закономерности, мир субъективный, психический. Дуализм—это отражение интересов господствующих классов в те периоды, когда, с одной стороны,

[1] *Фейербах*, Против дуализма тела и души, т. I.

надо бороться с эксплоатируемыми массами, а с другой—развивать производительные силы». Если вам, читатель, еще неясно из предыдущего, что Павлов дуалист и идеалист, то т. Франкфурт даст такие веские аргументы, что все сомнения должны будут рассеяться, как дым, и идеализм Павлова предстанет вам в самом неприкрытом виде.

В своей книге «Двадцатилетний опыт» И. П. Павлов говорит нижеследующее: «Вот почему мне представляется безнадежным со строгой научной точки зрения позиция психологии, как науки о наших субъективных состояниях. Конечно, эти состояния есть для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого общежития. Но одно дело—жить по субъективным состояниям и другое—истинно научно—анализировать их механизм». Эта фраза послужила К. Н. Корнилову источником для обвинения Павлова в агностицизме, на что я уже ответил в статье «В защиту объективного направления». Ю. В. Франкфурт усмотрел в этой фразе другую опасность. «Наши субъективные переживания направляют нашу жизнь, являются причиной прогресса. Не объективные материальные условия, не состояние производительных сил, не классовые взаимоотношения являются рычагом прогресса, направляющей и двигающей силой в истории, а наши переживания, сознание, наши идеи. Если мы в предыдущей главе еще сомневались в идеалистическом взгляде Павлова на идею, то теперь это ясно».

Посмотрим, так ли это ясно, как полагает т. Франкфурт. То, что Павлов не социолог и не занимается, как ученый, социологическими вопросами,—это известно всем и каждому. Но ведь Павлов, во-первых, не утверждает, что субъективные состояния ничем сами не обусловлены, во-вторых, он вовсе не пытается разрешать вопроса о том, какими социологическими факторами субъективные состояния определяются. А то обстоятельство, что субъективные состояния являются рычагом прогресса, это ведь Франкфурт не устает твердить в назидание бездушным «механистам». На с. 183 своей книги он приводит следующую цитату Энгельса из сочинения «Людвиг Фейербах»; «Все, что побуждает к деятельности отдельного человека, неизбежно проходит через его голову, воздействуя на его волю». Я позволю себе несколько продолжить эту цитату Энгельса: «Если данный человек оказывается идеалистом вследствие того простого обстоятельства, что у него есть идеальные стремления и что он подчиняется влиянию идеальных сил, то всякий мало-мальски нормальный человек—идеалист, и непонятным остается одно, как на свете могут быть материалисты?» Если ясно то, что Павлов идеалист, то он идеалист, «как мало-мальски нормальный человек». Но еще вовсе не ясно, является ли сам Франкфурт идеалистом только «как мало-мальски нормальный человек». В «Вестнике Коммунистической академии» № 22, в статье «Плеханов о диалектике в психологии» т. Франкфурт пишет нижеследующее: «Борьбу за качество, «психичность», за единство многообразия, за единство многообразных качеств Плеханов ведет еще в одном отношении, а именно по вопросу о том, можно ли отождествить субъективное с внешней, объективной, чувственной, практической деятельностью. Первый тезис Маркса о Фейербахе используется как для идеалистического, так и для механистически-материалистического отождествления субъективных переживаний и объективной, внешней, чувственной, практической деятельностью. Так Г. И. Челпанов, ссылаясь на первый тезис Маркса о Фейербахе и утверждая, что «Маркс признавал изучение само-

сознания, субъективной жизни центральной проблемой истории», идеалистически отождествляет чувственную, практическую, внешнюю, объективную деятельность с самосознанием субъективным. С другой стороны, некоторые марксисты механического толка заявляют, что Маркс в этом своем тезисе признает только внешнюю, объективную, чувственную, практическую деятельность, а не внутренние, субъективные переживания. Они, следовательно, механистически-материалистически отождествляют субъективное с внешней, объективной, чувственной практической деятельностью» [1].

Итак, Челпанов понимает «субъективное» Маркса не исторически, а психологически, отождествляя самосознание с конкретной человеческой деятельностью. Следовательно, субъективное по Марксу нельзя отождествлять с самосознанием. Но ведь это как раз и говорят материалисты, а по Франкфурту—«механисты», понимая субъективное Маркса как конкретную человеческую деятельность. Что во время конкретного действия выражаются мысли, желания и чувствования—это ведь неоспоримо для каждого «мало-мальски нормального» человека. Но т. Франкфурт проделывает очень искусный логический фокус, в результате которого материалисты-«механисты», утверждая как раз противоположное Челпанову положение, оказываются повинными в одном и том же грехе: они наравне с Челпановым отождествляют внешнюю, объективную деятельность с субъективным самосознанием. Но такое чудо могло произойти только в результате раздвоения собственной психики т. Франкфурта. В самом деле, материалисты-«механисты» совершенно правильно признают вместе с Франкфуртом № 1, что Маркс субъективное понимает исторически, а не психологически. Но понимая исторически субъективное как внешнюю, практическую деятельность, они не только не отождествляют психологически субъективное с этой деятельностью, как Челпанов и Франкфурт № 2, но, напротив, самым строгим образом одно от другого различают. В то же время материалисты-«механисты» понимают, что человек—не автомат, когда он действует, он при этом чувствует, мыслит и желает и что эти чувства, мысли и желания являются даже «рычагом прогресса», что не всегда понимает Франкфурт, автор книги «Рефлексология и марксизм». Поэтому взгляды Плеханова направлены не против материалистов-«механистов», а против самого т. Франкфурта.

В самом деле, приведем эти взгляды Плеханова и посмотрим, как интерпретирует их т. Франкфурт. «Маркс заметил недостаток французского и даже фейербаховского материализма и поставил себе задачу исправить его. Его экономический материализм является ответом на вопрос, как развивается конкретная деятельность человека, как, в силу ее, развивается его самосознание, как складывается субъективная сторона истории». «Как мы видим»,—трактует Франкфурт,—Плеханов понимает под субъективной стороной и конкретную деятельность человека и развивающееся в силу, вследствие этой деятельности, человеческое самосознание. Плеханов различает процесс воздействия на внешний мир и те ощущения, которые человек в это время испытывает». Все дело в том и заключается, т. Франкфурт, что у Маркса дело идет о процессе воздействия, а не о тех ощущениях, которые в это время испытываются человеком. Что самосознание развивается в силу человеческой деятельности, что субъективное истори-

[1] Тов. Франкфурт, очевидно, имеет в виду некоторые выступления против него в Институте экспериментальной психологии.

чески, т. е. конкретная человеческая деятельность, имеет свою психологически субъективную сторону, что во время действия испытывается ощущение,—это неоспоримо и никем не отрицается.

Но т. Франкфурт, привлекая самосознание как аргумент для ненормальных и трактуя в силу этого субъективное Маркса исторически и психологически в одно и то же время, стирает все грани между самосознанием и человеческой деятельностью, замазывает, затушевывает вопрос о том, что же является действующей стороной, влияющей на внешний мир—конкретная деятельность или самосознание. Поэтому т. Франкфурт, вопреки Плеханову, не различает процесса человеческого воздействия от тех ощущений, которые в это время испытываются, поэтому он вольно и невольно отождествляет субъективное психологически с конкретной человеческой деятельностью. Это отождествление т. Франкфурта отнюдь не случайно, оно красной нитью проходит в обеих его статьях о Плеханове, напечатанных в журн. «Под знаменем марксизма» № 6, 1926 г., и в «Вестнике Коммунистической академии» (кн. 22). Так в главе I этой же статьи «Диалектика у Плеханова», в вопросе о субъективном, исторически субъективное целиком, до конца, абсолютно сливается с субъективно психологическим. Тов. Франкфурт вполне правильно говорит о том, что психика, по Плеханову, играет действенную роль, но при этом Франкфурт не делает даже намека о том, что понимает в данном случае Плеханов под психикой и как он мыслит ее действие [1]. Однако в статье, напечатанной раньше в журнале «Под знаменем марксизма», «Плеханов о психофизической проблеме» т. Франкфурт ссылается определенно на указание Плеханова по этому поводу. «Имеет ли он в виду одни только физиологические механизмы или процессы, одну только объективную физиологическую сторону? Нет, и нет. Г. В. Плеханов, говоря о психике, имеет в виду и объективную сторону и наши субъективные переживания». В данном случае, как видим, т. Франкфурт тщательно разъясняет, что под психикой Плеханов понимает как объективную, так и субъективную сторону. К такой тщательности т. Франкфурта побудило одно очень неприятное примечание Плеханова. «Когда говорят о влиянии психических состояний на физиологические процессы, то факты часто указываются совершенно верно, но объясняются они совершенно неправильно. Так как психическое состояние есть только одна сторона процесса, другую сторону которого составляет физиологическое явление, то указываемое нами влияние производится собственно теми тоже чисто физиологическими явлениями, субъективную сторону которых составляет это психическое состояние» [2]. Когда психика действует, то действующей стороной является не субъективное, а объективное, вот о чем говорит примечание Плеханова. Но диалектика т. Франкфурта обладает магическими свойствами. Пройдя через чистилище этого неприятного примечания, действенность психологически субъективного попадает окольными путями на уготовленное ей местечко. «Воздействие, увязка между двумя субъективными нашими переживаниями»,—говорит Франкфурт,—есть воздействие не непосредственное, а посредственное, совершающееся через физиологические процессы». Но что же следует из того, что воздействие субъективного посредственно, что оно совершается через физиологи-

---

[1] Под психикой часто понимают суммарно высшую нервную деятельность в ее единстве с субъективными переживаниями.

[2] *Плеханов*, Трусливый идеализм, т. XVII.

ческие процессы? Отсюда следует только то, что когда психика действует, то действующей стороной является только *«объективное»*, что процесс воздействия нужно строго отличать от тех ощущений, которые в это время испытываются. Однако т. Франкфурту необходимо сохранить действенность также и за субъективной стороной. Поэтому он в результате длинных рассуждений приходит к следующему глубокомысленному выводу; «Посредственное и непосредственное влияния отличаются только темпом и степенью. Это два различных вида, два качественно различных воздействия, но оба эти вида суть воздействия, каждое из них имеет свою качественную действенность». «Каждое явление имеет свою форму действенности, и психика имеет свою форму действенности (ощущаемость и переживаемость) наряду с действием самих физиологических механизмов». Но говорить об особой действенности субъективно-психологического—это значит или придавать понятию действенности качественно различные значения или отождествлять объективную человеческую деятельность с самосознанием. В том и другом случае это значит—протягивать идеализму не палец, а всю руку. Посудите же сами, читатель, является ли Франкфурт идеалистом только как «мало-мальски нормальный человек».

IV

Самым ходким излюбленным, самым демагогическим приемом Корнилова, Франкфурта и др. в борьбе с объективным направлением является обвинение в отождествлении психического с физиологическими процессами. Но это оружие—обоюдоострое оружие. Оно уже давно лежит под спудом в арсенале идеалистической философии, благодаря своему «мистическому» свойству поражать самих оруженосцев. Идеалисты и эклектики всегда направляли его против материалистов, обвиняя их в грубом и вульгарном отождествлении. Марксистская философия резко отвергала это обвинение, целиком направляя его против идеализма, что ярче и рельефнее всего выражено в следующей фразе Плеханова: «Упрекать материалистов в отождествлении ощущения и мысли с движением—значит навязывать им то учение о тождестве, несостоятельность которого так хорошо обнаружил Фейербах, показав к тому же, что это учение является необходимой составной частью идеалистической философии». Замечательный в своей неприкрытой демагогии прием наших горе-диалектиков заключается в том, что именно те цитаты, которые ясно и четко опровергают обвинение материализма в отождествлении, употребляются ими как аргумент против объективного направления. К. Н. Корнилов это свое центральное обвинение не подкрепил ни одним конкретным доказательством, на что я уже указывал в своей вышеупомянутой полемической статье. Тов. Франкфурт, привлекая к этому вопросу конкретный материал, прекрасно вскрывает идеологический источник этой критики отождествления.

В книге «Двадцатилетний опыт» И. П. Павлов говорит по вопросу о сознании нижеследующее: «Сознание представляет собой нервную деятельность определенного участка больших полушарий с оптимальной возбудимостью, а деятельность отделов с пониженной возбудимостью есть то, что мы субъективно называем бессознательной деятельностью». И. П. Павлов при этом совершенно ясно указывает на методологическую сторону этого вопроса. «Позвольте мне в коротких словах передать вам, как представляется мне физиологически то, что мы обозначаем словом

«сознание» и «сознательное». Конечно, я совершенно не коснусь философской точки зрения, т. е. я не буду решать вопросов, каким образом материя мозга производит субъективное явление и т. д. Я постараюсь только предположительно ответить на вопрос: какие физиологические явления, какие нервные процессы происходят в больших полушариях тогда, когда мы говорим, что мы себя сознаем, когда совершается наша сознательная деятельность». Это методологическое разъяснение акад. Павлова есть по существу перефразировка известной мысли Фейербаха: «Что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт сознание), то само по себе, или объективно, есть материально-чувственный акт». Посмотрим теперь, как трактует т. Франкфурт эту цитату Павлова в своей книге «Рефлексология и марксизм»: «Но эта фраза допускает и другое толкование—буквальное, а именно: фраза о том, что сознание представляет собой оптимальное нервное возбуждение, а бессознательное—пониженное нервное возбуждение, означает, что «сознание и есть» оптимальная возбудимость, бессознательное и есть пониженная возбудимость определенных участков больших полушарий. «Представляет» и «есть»—формально, логически равноценные понятия. Другими словами, формулу И. П. Павлова можно понять так, что он отождествляет психическое с физиологическим. И не только можно, но и должно так понимать». И. П. Павлов заявляет: «В рамки наших исследований над условными рефлексами постепенно захватываются все отделы высшей нервной деятельности нашего животного, как об этом можно догадаться хотя бы по грубому, приблизительному сопоставлению наблюдаемых нами внешних фактов с психологической классификацией субъективных явлений, каковы: сознание, мысль, воля, аффекты и т. д.». «Чисто объективным, физиологическим методом условных рефлексов,—трактует Франкфурт,—он все же получает возможность сопоставлять субъективное с физиологическим, внешне наблюдаемым фактом. Очевидно, что это возможно только при одном условии, когда субъективное тождественно с физиологическим, ибо в противном случае надо неизбежно пользоваться для сопоставления и субъективными понятиями, без чего сопоставление невозможно». «Поскольку И. П. Павлов полностью изгоняет из своего учения (не фактически, а формально) субъективное, поскольку он, берущийся объяснить сознание, мысль, волю, аффект и т. д., отождествляет субъективные состояния, эти свойства мозговых физиологических процессов с последними, постольку он является физиологическим материалистом. Какие две крайности—субъективизм, идеализм, с одной стороны, физиологический материализм—с другой!»

По вопросу о сопоставлении и о философской связи между объективным и субъективным поговорим ниже, здесь же остановимся только на вопросе об отождествлении. Посмотрите, как ловко оперирует т. Франкфурт этой цитатой Павлова. Во-первых, фраза допускает два толкования, во-вторых,—«представляет» и «есть»—формально логически-равноценные понятия, в-третьих—фразу эту только *можно* понять как отождествление; но конец венчает дело, и Франкфурт после долгих колебаний наконец приходит к решительному выводу: не только можно, но и должно так понимать. Но почему должно? Потому, что Павлов мимоходом, для иллюстрации больших достижений объективного изучения, говорит о догадке при помощи грубого, приблизительного сопоставления физиологических понятий с субъективными. Но ведь это не доказательство, т. Франкфурт, а логический фокус! Только ловкими ухищрениями софистики под сильным

напором разъяснительного пафоса можно притти к такому невероятному заключению. Павлов, признающий реальность психического,—идеалист! Павлов, отождествляющий психическое с физиологическим,—физиологический материалист! Тов. Франкфурт уподобляется тому магу из сочинения Глеба Успенского, которого Плеханов вспоминает по тому же самому поводу в назидание Бернштейну. «Если бы г. Бернштейн понял, что собственно означают слова: идентичность бытия и мышления, он, разумеется, никогда не открыл бы этой идентичности ни у одного материалиста. Он увидел бы тогда, что признание идентичности бытия и мышления возможно только в идеализме. Но он не понимает, о чем говорит, и потому, он так же неловок и беспощаден в употреблении философской терминологии, как неловок и беспощаден был в употреблении литературного языка маг (в рассказе Г. И. Успенского «Нужда песенки поет»), обещавший изобразить перед почтеннейшей публикой «обезглавление головы, носа и прочих частей тела»[1].

В своей статье «Плеханов о психофизической проблеме» т. Франкфурт повторяет снова свое обвинение, направляя его против «ультраматериалистов», «механистов» и т. д. «Идеалисты, отождествляя материю с духом, превращают материю в дух, материалисты же—сторонники первой формулы,—отождествляя дух с движением, физиологическими процессами, физиологическим механизмом, превращают дух, психику, мышление, сознание, ощущение в движение, в физиологические процессы и механизмы». Это обвинение Франкфурт подкрепляет рядом цитат из Плеханова. Приведем наиболее характерные и яркие цитаты: «Наш автор попал бы в очень затруднительное положение, если бы мы его спросили, какой же именно материалист и в каком именно сочинении утверждал, что ощущение и мысль тождественны с движением в мозгу». «С гораздо большим правом мог бы сослаться Петцольд на знаменитую фразу «Мысль есть движение вещества». Но, во-первых, эта фраза принадлежит человеку совсем не авторитетному в вопросах материалистической философии, ничего подобного ей нельзя встретить ни у одного из материалистов, классиков XVII и XVIII или XIX века. Во-вторых, даже и эта неудачная фраза указывала вовсе не на тождество мысли с движением, а на то, что движение есть необходимое и достаточное условие мысли». «Это старый вздор, с которым уже давно пристают к материалистам, из которого следует только то, что люди, желающие критиковать материализм, не знают даже его азбуки».

Привлекая эти цитаты, т. Франкфурт прекрасно квалифицирует свои собственные измышления. Но как при этом ухитряется т. Франкфурт свести концы с концами; при помощи каких приемов он направляет такие цитаты против материалистов, будь они самые, что ни на есть злостные ультра-сверх- и квазиматериалисты? Ларчик открывается весьма просто. «Ясно, что те будто бы материалисты, которые отрицают психику как особое качество, которые отождествляют психику с движением материи, не только совершают логическую и методологическую ошибку, как это утверждает Г. В. Плеханов, но являются бессознательными идеалистами, противниками материализма. Крайности сходятся: ультраматериализм сливается, вернее, ведет бессознательно к идеализму». Тов. Франкфурт недаром изучил Плеханова: в свою прежнюю аргументацию он ввел весьма существенную поправку. Если Павлов, отождествлявший психическое с физиологическим, интерпретировался им как физиологический материалист, то теперь,

---

[1] *Плеханов*, Cant против Канта, т. XI.

в результате изучения Плеханова, Павлов превратился в свою противоположность—в бессознательного идеалиста. От материализма Павлова в результате толкований Франкфурта не осталось даже и следа. По новому варианту Франкфурта И. П. Павлов является идеалистом на все сто процентов. Надо надеяться, что, в процессе своего дальнейшего изучения Плеханова, т. Франкфурт внесет еще ряд более существенных поправок. В виде примера я приведу одну цитату из Плеханова, которую Франкфурт еще не успел как следует использовать: «Форель делает промахи, каких мы не встречали у Фейербаха. Форель называет свою теорию психофизиологической теорией тождества. Против этого нельзя возражать по существу, потому, что всякая терминология есть условная вещь. Но так как теория тождества лежала когда-то в основе совершенно определенной идеалистической философии, то Форель лучше сделал бы, если бы прямо, смело и просто объявил свое учение материализмом!» «Вот почему мы находим нужным отметить, что тождество в смысле Фореля не имеет ничего общего с тождеством в идеалистическом смысле. Критики Маркса не знают этого. К. Шмидт в полемике с нами приписывал материалистам именно идеалистическое учение о тождестве. На самом деле материализм признает единство субъекта и объекта, а вовсе не тождество их» [1]. Теперь позволительно спросить: во-первых, если Павлов отождествляет физиологическое с психическим (а в действительности Павлов, как мы знаем, этого не делает), то как понимать это тождество—в идеалистическом ли смысле или в смысле Фореля? Во-вторых, с кем солидаризуется т. Франкфурт, обвиняя материалистов в идеалистическом отождествлении—с материалистом Плехановым или с идеалистом и эклектиком Конрадом Шмидтом? Ответ на второй вопрос совершенно ясен. Тов. Франкфурт вольно или невольно солидаризуется с К. Шмидтом, с Петцольдом и со всеми теми идеалистами, которые, на словах обвиняя материалистов в отождествлении, на деле сами идеалистически отождествляют субъективный мир представлений с объективным миром вещей. Тов. Франкфурт в статье «Плеханов о диалектике в психологии» снова формулирует старое положение Корнилова и притом в форме, окончательно дискредитирующей это псевдоматериалистическое положение: «Поскольку субъективное не занимает места—оно не протяженно, но поскольку оно совершается в пространстве—оно пространственно». Вы поняли, читатель? Совершающееся в пространстве—не занимает места в пространстве, попробуйте представить себе такое чудо. Если чудо это, как и всякое чудо вообще, вещь очень темная, то источник его совершенно ясен, т. к. этот источник есть не что иное, как идеалистическое отождествление. Ибо говорить о пространственности психики—это значит отождествлять субъективное «для меня» с теми процессами, которые действительно совершаются в пространстве, занимая в нем при этом определенное место. Отождествление «является необходимой и составной частью идеалистической философии». В своей статье «Плеханов о психофизической проблеме» т. Франкфурт обещал даже разъяснить, почему отождествление есть идеализм; но обещание так и осталось пустым обещанием. Если бы т. Франкфурт действительно занялся этим вопросом, он понял бы, что точка зрения, которую он отстаивает вместе с Корниловым в борьбе с объективным направлением, есть точка зрения не мнимого, а подлинного идеалистического отождествления.

---

[1] *Плеханов*, Основные вопросы марксизма, т. XVIII.

V

Постараемся теперь ответить на вопрос, какому направлению в психологии свойственно отождествление. Фейербах первый показал, что учение о тождестве является «необходимой составной частью идеалистической философии». Происхождение тождества коренится в первобытном, анимистическом мышлении. «Первоначально люди видят вещи такими, какими они им являются, не такими, каковы они суть в действительности; видят, следовательно, в вещах не их самих, но лишь свое представление о них, вкладывают в них свою собственную сущность, не различают предмет от представления о нем». Но сущность идеалистической философии коренится в первобытном анимизме. «Длинный процесс дистилляции»,—говорит Плеханов,—не мог внести никаких существенных перемен в анимистические представления: по существу они остались тем же, чем были». Учение о тождестве находит наиболее яркое свое выражение в неоплатонизме. «Неоплатоническая философия»,—говорит Фейербах,—отличается от древней лишь тем, что она является теологией, в то время как та была только философией». «Древняя философия еще различала между мышлением и бытием; для нее мышление, дух, идея еще не были всеохватывающей, т. е. единственной, исключительной, абсолютной реальностью». «Для неоплатоников, напротив, материя и действительный мир не являются уже инстанцией и реальностью». «А там, где человек вне себя не имеет уже никакого существа, там он в мыслях создает себе существо, которое, будучи мысленным существом, имеет, однако, вместе с тем и свойство действительного, будучи нечувственным, является одновременно и чувственным, будучи теоретическим объектом, является одновременно и объектом практическим. Это существо—бог, высшее благо неоплатоников». «Тождество мышления и бытия—центральный пункт всей философии тождества—есть не что иное, как необходимое следствие и вывод из понятия бога, как существа, самая сущность или понятие которого содержит бытие. Умозрительная философия только обобщила, превратила в свойство мышления, в свойство понятия вообще то, что теология признавала за исключительное свойство понятия бога». «То, что у неоплатоников было представлением, фантазией, Гегелем было рационализировано, превращено в понятия». «Теоретическое различие между мышлением и бытием, субъективным и объективным, чувственным и нечувственным теряется там, где материя не является для человека реальностью, а стало-быть и границей мыслящего разума,—где разум, интеллектуальная сущность, сущность субъективности вообще, является в этой своей неограниченности единственной абсолютной сущностью». «По Гегелю философия имеет своим объектом только то, «что есть», но это «есть» само является лишь абстрактным, мыслимым «есть». Гегель—это мыслитель, сам себя превзошедший мышлением; он хочет постигнуть самую вещь, но лишь в мысли о вещи, хочет быть вне мышления, но не выходя за пределы самого мышления». «Таким образом представления, которые выражают только субъективные потребности, Гегель действительно понял как объективную истину, ибо он не добрался до источника,—до потребности в этих представлениях» [1].

Таким образом отождествление обозначает собой полное растворение действительного объективного мира, процессов «самих по себе», в субъек-

[1] *Фейербах*, Основы философии будущего, т. I.

тивном «я», в мире «для меня», в мире ощущений, представлений и желаний. Иначе говоря, отождествление свойственно не объективному, а субъективному направлению в психологии. Объективное направление есть полное отрицание тождества, ибо объяснение субъективных явлений объективными процессами и отношениями требует в качестве основной предпосылки строгого различения. Если бы объективное направление не различало субъективных явлений от объективных процессов и отношений, оно потеряло бы всякий raison d'etre, всякий смысл своего существования. «Генетически критической философией является та, которая предмет, данный посредством представления— этот предмет демонстрирует и постигает не догматически, но наоборот: исследует его происхождение, сомневаясь в том, является ли он действительным предметом или только представлением, психологическим феноменом вообще. Генетически критической философией является поэтому та, которая строжайшим образом различает между субъективным и объективным» [1]. Поэтому основной предпосылкой объективного направления является не психофизическое тождество, а психофизическое единство, единство объекта и субъекта. «Я» не только субъект, но также и объект; всякое данное «я»—субъект для себя и объект для другого. То, что для меня, или субъективно, есть чисто духовный—нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, объективно, есть акт материальный» [2]. Страдание и боль—это громкий протест против отождествления субъективного с объективным. Оттого только и страдания любви, что в действительности нет того, что есть в представлении. Субъективное здесь является объективным, представление—объектом; но этого-то и не может быть, это—противоречие, неправда, несчастье, отсюда и желание восстановить истинное соотношение, при котором субъективное и объективное не были бы тождественны». «Будущая философия поэтому объявляет своим принципом познания, своим субъектом не «я», не абсолютный, т. е. абстрактный дух, короче не разум in abstracto, но действительное и цельное существо человека. Единство мышления и бытия только тогда имеет смысл и является истинным, если человек рассматривается как основа, как субъект этого единства; только реальное существо познает реальное единство; только там, где мышление является не субъектом для самого себя, но предикатом действительного существа, только там и мысль не отделена от бытия». «Для отдельного человека сущность человека заключается не в нем, как моральном, и не в нем, как мыслящем существе. Сущность человека только в солидарности, в единстве человека с человеком,—в единстве, которое однако опирается только на реальность различия между я и ты». «Высшим и последним принципом философии является поэтому единство человека с человеком» [3].

Единство человека с человеком—предел и завершение фейербаховского материализма. Это положение получило свое подлинное выражение и дальнейшее развитие в учении исторического материализма. Психофизическое единство—основная предпосылка объективного направления в психологии. Оно означает собой необходимость и возможность всякого рода явления «для меня» объяснять объективными процессами и отношениями; оно представляет ту канву, которая связывает воедино человека как продукт природы с человеком—продуктом общества. Психофизическое един-

---

[1] *Фейербах*, К критике гегелевской философии.
[2] *Фейербах*, Цитировано по Плеханову, т. XVIII, Предисловие к книге Деборина.
[3] *Фейербах*, Основы философии будущего.

ство сверху до низу охватывает собой и пронизывает синтетически складывающуюся и развивающуюся марксистскую психологию. Но психофизическое единство—не только необходимая, но и достаточная предпосылка объективного направления. Вопрос о том, как возможен переход физического в психическое, движения в сознание, каково между ними взаимоотношение, как вывести одно из другого—это вопрос чисто метафизический, целиком вытекающий из самых основ идеалистической философии. «Для прежней абстрактной философии характерен вопрос: каким образом различные самостоятельные сущности, субстанции, могут влиять друг на друга, например, тела на души, на «я». Но этот вопрос оставался для нее неразрешимым, потому что она абстрагировалась от чувственности, потому что субстанции, которые должны были влиять друг на друга, были абстрактными, чисто умственными сущностями» [1]. «Если тебе непонятно, как это глаз приходит к ощущению зрения—смени состояние критического читателя на состояние воодушевленного автора, рассматриваемый глаз на рассматривающий, детородный орган в состоянии равнодушия на тот же орган в состоянии возбуждения» [2]. «Ланге говорит, что для материализма «всегда останется непреодолимым препятствием, как из вещественного движения может получиться сознательное ощущение», но Ланге, как историк материализма, обязан был бы знать, что материалисты никогда не обещали дать ответ на этот вопрос. Они только утверждают, что помимо субстанции, обладающей протяжением, нет никакой другой мыслящей субстанции и что подобно движению сознание есть функция материи» [3]. Вопрос о соотношении объекта и субъекта, физического и психического—вопрос чисто практический. «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности,—вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, т. е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явления. Вопрос же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» [4]. Психофизические теории причинности и параллелизма имеют идеалистическое и дуалистическое основание. Представители обоих направлений взаимной критикой настолько опорочили обе теории, что к их критике сейчас немногое можно добавить. В то время как психофизический параллелизм, отправляясь от декартовского дуализма, непроходимой пропастью отделяет действенное, субъективное «я» от мертвой, механической материи, психофизическая причинность допускает прямое воздействие этого субъективного «я» на материю, что находится в непреодолимом противоречии с законом сохранения энергии. Психофизический функционализм—чахлое дитя эклектики—соединяет в себе все недостатки и противоречия обеих теорий. Все эти теории, пытающиеся ответить на вопрос о связи и взаимоотношении двух родов явлений,—представляют собой в настоящее время исторический анахронизм, залежавшийся продукт исторически отошедшей эпохи. Порожденные идеалистическим мировоззрением, все эти теории теряют для объективного направления всякий смысле и значение. Метафизический вопрос о связи двух миров явлений заменяется двумя исключительно практиче-

[1] *Фейербах*, Основы философии будущего.
[2] *Фейербах*, Против дуализма тела и души.
[3] *Плеханов*, Предисловие к книге А. Деборина, т. XVIII.
[4] *Маркс*, Тезисы о Фейербахе.

скими вопросами: *вопросом о конкретном изучении сложных форм движения и их исторической связи с простыми формами движения и вопросом о сопоставлении явлений «для меня» с объективными процессами и отношениями*. Оба эти вопроса разрешаются в процессе объективного научного исследования на основе метода диалектического материализма.

VI

Тов. Франкфурт приводит в своей статье «Плеханов о психофизической проблеме» цитаты Плеханова, посвященные этому вопросу, полагая, что они направлены против объективного направления. Но и в этом вопросе результат оказывается для Франкфурта весьма плачевным. Целясь в противников, Франкфурт попал в самую сердцевину того самого направления, которое он с таким усердием и ревностью отстаивает в борьбе со злостными «механистами». В статье «Трусливый идеализм» Плеханов, полемизируя с Петцольдом, говорит следующее: «Возникает вопрос: кто же из видных представителей материализма объяснял или описывал душевные явления с помощью таких представлений или понятий, которые были развиты для объяснения или описания движения? Никто из материалистов нового времени. Все выдающиеся материалисты этого времени говорили, что душевные явления и движения представляют собой две стороны одного и того же процесса, совершающегося в организованном теле (принадлежащем, как то само собой разумеется, природе). С этим можно согласиться, с этим можно и не согласиться. Но нельзя не признать, не впадая в самую вопиющую несправедливость, что в этом нет ни отождествления одного ряда явлений с другим, ни признания возможности объяснить или описать один ряд явлений с помощью представлений или понятий, развитых для объяснения или описания другого». В каком смысле нужно понимать невозможность объяснить один ряд явления с помощью понятий, развитых для объяснения другого? В том ли смысле, что нельзя объяснять состояния «для меня» объективными процессами и отношениями? Нет, тысячу раз нет, ибо это означало бы отрицание самых основ материализма! «Материализм есть прямая противоположность идеализма. Идеализм стремится объяснить все явления природы, все свойства материи теми или иными свойствами духа. Материализм поступает как раз наоборот. Он старается объяснить психические явления теми или иными свойствами материи, той или другой организацией человеческого или вообще животного тела»[1]. Очевидно, что здесь дело идет о другого рода объяснении, об объяснении возникновения одного ряда из другого, о взаимоотношении и связи двух рядов явлений, иначе говоря, дело идет о том же метафизическом вопросе. Что эти не совсем ясно сформулированные положения Плеханова сводятся именно к этому вопросу, целиком вытекает из дальнейшего. В той же самой статье на следующей странице Плеханов пишет следующее: «Странно упрекать Спинозу в том, что он не объяснил, каким образом материальные мозговые процессы вызывают нематериальные, душевные: ведь автор «Этики» именно утверждал, что процессы этого второго рода не вызываются процессами первого рода, а только сопровождают их». «Душа и тело,—говорил Спиноза,—одна и та же вещь, которая рассматривается то под атрибутом мышления, то под атрибутом протяжения».

---

[1] *Плеханов*, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, т. VII.

Петцольд, с которым полемизирует Плеханов, был сторонником психофизического функционализма. «Если сохранять в поле своего зрения эту вполне общую функциональную зависимость как геометрических, так и физических определяющих элементов, нетрудно представить себе аналогичными и взаимоотношения между телесными и духовными явлениями, перебросив тем самым мост через пропасть, разделяющую оба мира. Петцольд упрекает Спинозу в том, что «он не был в состоянии мыслить параллелизм между духовными и телесными процессами в виде соотношения между x и y в уравнении $y=f(x)$, но нуждался в соединительном члене между двумя переменными величинами, именно в представлении о субстанции». К. Н. Корнилов преподносит эту эклектическую теорию Петцольда как синтез между теорией взаимодействия и теорией параллелизма в статье под громким названием «Диалектический метод в психологии». «Но такого рода параллельное и вместе взаимодействующее протекание явлений в науке называется функциональной зависимостью. Вот почему с моей точки зрения гораздо рациональнее было бы обозначать взаимоотношение не как параллелизм, а как функциональную зависимость, где независимым переменным является объективная сторона, а зависимым переменным—субъективная. Только в таком виде было бы возможно, с моей точки зрения, говорить о взаимоотношении этих сторон материи». Тов. Франкфурт, выхвативший из вышеуказанной статьи «Трусливый идеализм» ряд цитат, пропустил как раз самое основное—то, что относится целиком к теориям Корнилова—Франкфурта. «Но как бы то ни было,—говорит Плеханов,—а факт тот, что между психическими явлениями, с одной стороны, и физиологическими—с другой, существует известное закономерное отношение. Этого не отрицает, конечно, и сам Петцольд. Но он находит, что Спиноза плохо объяснил эти отношения. Согласимся с ним пока в этом и спросим, а лучше ли объясняются эти отношения в идеалистической философии? Знаем ли мы теперь, благодаря новому позитивизму, каким образом между A и B устанавливается данное закономерное отношение? Знаем ли мы, чем обусловливается взаимоотношение между душевными и телесными явлениями? Нет, не знаем. И по всему видно, что, если бы мы в свою очередь стали доходить Петцольда этим вопросом, то он отказался бы отвечать нам на том основании, что наука открывает закономерность явлений, но не объясняет, почему она существует. У Спинозы и Петцольда остается без ответа один и тот же вопрос. Разница лишь в том, что Спиноза нуждался в соединительном члене между двумя переменными, именно в представлении о субстанции, а Петцольд не нуждается в нем. Но после всего сказанного ясно, что разница эта совсем не в пользу Петцольда». Таким образом вопрос об объяснении ударяет целиком не объективное направление, а теорию Корнилова—Франкфурта.

Мы рассмотрели три основных проблемы, три кита корниловско-франкфуртской психологии: «действенность», «пространственность» и «функционализм». Тов. Франкфурт, вдоль и поперек изучивший сочинения Плеханова и понявший очень многое, наоборот, в силу этого весьма авторитетно и претенциозно заявляет: «Среди современных психологов взгляд Г. В. Плеханова полностью покрывается взглядом К. Н. Корнилова и его школы, заявляющей, что в основе поведения человека лежит реакция, которая в отличие от узко-физиологически понимаемого многими «рефлекса» включает в себя и физиологический механизм и субъективное переживание. Споры между ультраматериалистами, ультраобъективистами, с одной сто-

роны, и теми психологами-марксистами, которые учитывают оба момента, а именно объективные физиологические процессы, как основу и субъективные переживания, как неотъемлемое, неотделимое, но своеобразное особое качество этих физиологических механизмов,—в этом споре между механистами и диалектиками в области психологии авторитетное мнение Г. В. Плеханова бесспорно падает на чашу весов не механистов, а диалектиков» [1]. Тов. Франкфурт безусловно прав в одном отношении, именно, что Плеханов стоит за подлинную диалектику и против подлинного механизма, особенно тогда, когда механизм этот имеет идеалистическое основание. Но именно потому его авторитетное мнение падает как раз на противоположную чашу весов. Ибо авторитетное мнение Плеханова против той диалектики, которая приводит к функционализму, против того материализма, который отождествлением субъективно-психологического, с одной стороны, с физиологическими процессами (пространственность психики), с другой—с конкретным человеческим поведением (действенность психики) прямехонько приводит к идеалистической теории тождества. Его авторитетное мнение направлено также против того подлинного механизма, который абстрагирует реакцию как от конкретного поведения социальной личности, так и от мозговых физиологических процессов. Сопоставление субъективных переживаний с объективными процессами и отношениями невозможно на основе энергетических законов. Но уже на основе общей физиологии возможно самое грубое и приблизительное сопоставление одного с другим, как например, сопоставление между эмоциональным состоянием и состоянием внутренней секреции. Более тонкое конкретное и близкое сопоставление становится возможным по мере внедрения, с одной стороны, в сущность мозговых процессов, связанных с процессами организма и соприкасающихся со средой, с другой—в сущность социально-экономических, классовых отношений, лежащих в основе поведения конкретной личности с ее богатым внутренним миром. Только в связи с изучением конкретного поведения целостной личности, личности, не созерцающей, а действующей в определенной конкретной социально-исторической обстановке, можно ближе подойти к этому вопросу. Развитие и усовершенствование сопоставлений объективных процессов с субъективным миром «для меня» возможно только на пути синтетического развития психологии. Назревающая культурная революция дает сильный и глубокий стимул развитию той науки, которая научит человека владеть своими внутренними стихийными силами. Объективное направление в психологии окончательно покончит со всяким идеализмом и теологией, ибо оно изучит и объяснит самый механизм религиозного мышления, коренящегося в этих внутренних, темных стихийных силах человека.

---

[1] *Франкфурт*, Плеханов о психофизической проблеме.

ДОКЛАДЫ В КОМАКАДЕМИИ

УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ О СЛУЧАЙНОСТИ

ДОКЛАД М. ДЫННИК [1]

Гегелевская постановка и разрешение проблемы случайности приобретает особое значение в свете современных задач, стоящих перед философией диалектического материализма.

Историческое значение Гегеля для марксизма громадно и неоспоримо. В настоящее время углубленной научно-исследовательской разработки категорий материалистической диалектики это общее утверждение приобретает конкретное значение для целого ряда отделов марксистской теории. Проблема случайности в этом отношении особенно интересна, ибо она убедительнейшим образом показывает, что исследование гегелевской философии может оказаться весьма ценным подспорьем в деле дальнейшей разработки теории диалектического материализма.

Прямые указания Энгельса («Диалектика природы»), Плеханова («К вопросу о роли личности в истории»), Ленина («К вопросу о диалектике») не оставляют ни капли сомнения в том, что основоположники революционного марксизма всецело учитывали значение гегелевской диалектической постановки проблемы случайности.

Рассмотрение исторического процесса, как процесса необходимого, составляет великую заслугу Гегеля перед общественными науками, перед теорией диалектического материализма, и притом заслугу, в марксистской литературе общепризнанную. В значительной мере столь успешная диалектическая концепция необходимости была развернута Гегелем благодаря диалектическому пониманию категории случайности,—но это достоинство гегелевской диалектики до настоящего времени не получило достаточно широкого признания. Между тем в деле постановки и разрешения проблемы случайности Гегель является прямым и непосредственным предшественником марксизма.

Прежде всего, характеризуя гегелевское понимание случайности, следует усиленно подчеркнуть, что эта категория рассматривается им в тесной связи именно с категорией необходимости; случай как беспричинное явление не служит непосредственным предметом гегелевского анализа.

Необходимое пропедевтически определяется Гегелем как то, что может произойти только так, а не как-нибудь иначе; случайное—как то, что может быть именно таким, но может быть и иным.

Взаимоотношение необходимости (Notwendigkeit) и случайности (Zufälligkeit) в подобном смысле этих терминов и составляет предмет гегелевского рассмотрения.

Категория же случайности, случая как беспричинного явления (в смысле, скажем, гольбаховского определения: «Мы называем *случайными* явления, причин которых мы не знаем и которых из-за своего невежества и неопытности мы не можем предвидеть»)—эта категория для гегелевской постановки проблемы случайности оказывается посторонней.

Немецкий диалектик рассматривает «случайное» в его взаимоотношении с «необходимым», а также с «существенным», «внутренним», «закономерным».

[1] Зачитан в Институте философии Ком. Академии 21. III. 1929 г.

Именно на это обстоятельство следует обратить особое внимание при рассмотрении вопроса, была ли случайность для Гегеля объективной или же субъективной категорией, или же, выражаясь проще, признавал ли он случайность, имеющей место в объективной реальности (само собой разумеется, толкуемой в духе абсолютного идеализма), или же в субъективном человеческом заблуждении.

Дискуссия на эту же тему при рассмотрении категории случайности в разрезе теории диалектического материализма должна существенно обогатиться путем изучения гегелевской постановки вопроса.

Уже «Феноменология духа» показывает, насколько близко подошел великий немецкий диалектик к правильной постановке проблемы случайности, хотя в этом произведении его еще не было дано ей того гениального разрешения, какое нашло себе место в «Науке логики».

Между тем, наметить различные стороны гегелевского учения о случайности в том виде, как они представлены различными его произведениями, является делом существенно важным. Этим путем можно не только привести к большей ясности отдельные переходы мысли в «Науке логики», но и вскрыть ту борьбу с традиционными метафизическими категориями, с доставшимися по наследству философскими терминами, какую приходилось вести Гегелю, вкладывая в них новый диалектический смысл.

В «Феноменологии духа» категория случайности рассматривается в тесной связи с понятиями единичности, произвольности, несущественности, замешательства, отсутствия закономерности.

Гегель говорит о «случайности индивидуального делания, как такового, условий, средств и действительности» [1]; по мысли Гегеля, сторонники субстанционального знания, не постигающего предмет в понятиях, «отдаются во власть случайного содержания, собственного произвола в нем» [2]; математический метод доказательства неприемлем для задач познания, но «в форме более свободного приема, т. е. примешавшись с произволом и случайностью, этот метод может быть сохранен в обыденной жизни, в разговоре или историческом повествовании, относящемся скорее к области любознательности, чем познания, также, например, в предисловии» [3].

Анализируя «наблюдающее сознание», Гегель характеризует случайность как то, что не обладает необходимостью, т. е. случайность и необходимость выступают здесь как исключающие друг друга категории: «Если истина закона не в понятии, то он есть нечто случайное, не обладающее необходимостью, т. е. в сущности не есть закон» [4].

Случайности опыта Гегель противополагает напряженность понятия, диалектическую закономерность его движения.

Здесь одновременно проявляется как диалектичность гегелевской мысли, так и основной отправной пункт его философии объективного идеализма. Научный метод мыслится Гегелем в его нераздельности с содержанием, а вместе с тем задачей умозрительной философии является рассмотрение диалектического ритма, определяемого самим этим методом через самого себя.

Как «материальное мышление», т. е. мышление, всецело погруженное в материал, так и резонерство, свободное от содержания, одинаково далеки, по мысли Гегеля, от познания диалектического развития абсолютного духа.

В этом контексте Гегель характеризует «материальное мышление» как сознание случайное, т. е., другими словами, случайность противополагается здесь закономер-

[1] *Гегель*, Феноменология духа, СПБ 1913, с. 185.
[2] Ibid., с. 5.
[3] Idid., с. 22.
[4] Ibid., с. 113.

ности диалектического ритма понятия. Это положение, выдвинутое Гегелем, имеет громадное значение для понимания его метода, ибо здесь категория случайности служит рычагом для преодоления мышления в представлениях, неспособного возвыситься до научности, в том диалектическом смысле, как понимал ее Гегель.

«При изучении науки очень важно овладеть *напряжением* понятия. Для этого требуется внимательное отношение к понятию, как таковому, к простым определениям, как, например, бытия в себе, бытия для себя, равенства с собою и т. д., ибо они представляют собою такие чистые самодвижения, каждое из которых можно было бы назвать душою, если бы их понятие не характеризовало чего-то высшего, чем мыслится под словом «душа». Для привычки мыслить в представлениях вторжение понятия столь же ненавистно, как для формального мышления, которое в недействительных мыслях резонирует о том и о сем. Такую привычку можно назвать материальным мышлением, случайным сознанием, которое только погружено в материал, которому поэтому трудно выдвинуть из материи в чистом виде свою самость и быть при себе» [1].

Характеризуя скептическое самосознание, Гегель снова прибегает к категории случайности. Скептицизм—логическая и историческая ступень в диалектическом саморазвитии понятия—определяется здесь как случайное замешательство, как случайное, единичное сознание.

Случайность понимается в данном контексте как единичность, как отрицание всеобщности, как путаница и замешательство, противополагаемые упругому ритму понятия. Несчастие скептического самосознания состоит в том, что оно раздваивается между эмпирической единичностью, несущественностью, с одной стороны, и всеобщностью равного себе самосознания—с другой. Так возникает новая форма сознания—раздвоенное, несчастное сознание, объединяющее в себе, не примиряя их, эти две стороны скептического самосознания.

Таким образом, Гегель и здесь случайность противополагает всеобщности, существенности, разумности, закономерности и отождествляет ее с единичностью, несущественностью, нелепостью, запутанностью.

«Но именно тут сознание вместо того, чтобы быть равным себе, на самом деле, оказывается случайным замешательством, головокружительным, вечно себя порождающим беспорядком. Оно является *таким для самого себя*, потому что оно само поддерживает и порождает это движущееся замешательство. Таким оно себя и признает; оно признает себя совершенно *случайным единичным* сознанием,—сознанием *эмпирическим*, направленным на то, что для него не имеет никакой реальности, послушным тому, что для него вовсе не истинно. Но, обладая для себя, таким образом, значимостью *единичной*, *случайной*, в сущности животной жизни и *утраченного* самосознания, оно, в противоположность этому, снова становится *всеобщим и самому себе равным*, потому что оно есть отрицание всякой единичности и всякого различия. Из этого равенства самому себе или, скорее, в самом этом равенстве оно, однако, снова впадает в случайность и замешательство, потому что эта движущаяся отрицательность имеет дело только с единичным и ходит кругом и около случайного. Это сознание есть, таким образом, бессознательная нелепость, блуждание взад и вперед от одной крайности—равного себе самосознания к другой—сознания случайного, запутанного и создающего путаницу. Само оно не умеет согласовать между собою двух этих идей о самом себе; оно то познает свою свободу как возвышение над всяким замешательством и всякой случайностью наличного бытия, то снова признает себя впадающим в несущественное и в нем вращающимся» [2].

---

[1] *Гегель*, Феноменология духа, СПБ 1913, с. 27.
[2] Ibid., с. 93.

Эта характеристика несчастного сознания интересна для нас не только тем, что в ней развито противоположение случайного и существенного как метафизических категорий мышления, не поднявшегося до ступени диалектического метода. Уже здесь необходимо указать, что, если Гегель создал великолепную диалектическую концепцию необходимости и случайности, наиболее полное и законченное выражение получившую в «Науке логики», то, вместе с тем, в конечном итоге, ему не удалось и в этом отделе своей философии выйти из заколдованного круга абстрактности объективного идеализма. В этом смысле гегелевская философия осталась «несчастным сознанием», «блужданием взад и вперед от одной крайности—равного себе самосознания—к другой—сознания случайного, запутанного и создающего путаницу». В этом смысле и гегелевское учение о случайности не могло преодолеть раздвоения между существенным и несущественным, необходимым и случайным, поскольку эти понятия должны получить свое определение в отношении к объективной реальности материального мира.

Весь пафос гегелевской диалектики направлен против ограниченности «ползучего эмпиризма», против случайности и единичности, не приведенных к всеобщности саморазвивающегося понятия.

Следует заметить, что уже в деятельности рассудка Гегель усматривает стремление преодолеть случайность и подчинить ее закономерности. Пусть рассудок делает это лишь ограниченно, пусть его законы еще не охватывают явления в его истине, т. е. как снятого бытия для себя, что доступно лишь разуму,—но, во всяком случае, даже рассудок, по мысли Гегеля, не допускает принятия «бессмысленного представления, по которому все совершается в виде случайности».

Случайность как метафизическая объективная категория, абсолютно исключающая необходимость, закономерность, Гегелем отвергается: более того, он утверждает, что достаточно деятельности рассудка для того, чтобы показать несостоятельность подчинения всего совершающегося этой метафизической категории.

«Объединение всех законов в закон всеобщего тяготения не выражает никакого иного содержания, кроме простого понятия самого закона, которое установлено в нем как сущее. Всеобщее тяготение высказывает только то, что все имеет постоянное различие по отношению к другому. Рассудок думает при этом, что нашел всеобщий закон, который выражает всеобщую действительность как таковую; но в действительности он нашел только понятие самого закона, в котором и высказывает, что всякая действительность в себе самой закономерна. Поэтому выражение всеобщего тяготения постольку имеет огромную важность, поскольку оно направлено против бессмысленного представления, по которому все представлено в виде случайности и для которого определенность имеет форму чувственной самостоятельности» [1].

Итак, категория случайности рассматривается в «Феноменологии духа» в связи с закономерностью, диалектическим ритмом понятия. Метафизическая концепция случайности Гегелем отвергается [2], но это вовсе не значит, что случайность вообще высту-

[1] *Гегель*, Феноменология духа, СПБ 1913, с. 68.

[2] В этом смысле рассматривает Гегель случайность и в своих «Лекциях по философии мировой истории», где объективной метафизической случайности противополагается необходимость, присущая понятию: «Die alte Welt besteht aus drei Teilen, die schon der Natursinn der Alten richtig erkannt hat. Diese Gliedcrung ist nicht zufällig, sondern es liegt eine höhere Notwendigkeit darin und entspricht dem Begriff. Der ganze Charakter der Länder ist dreifach unterschieden, und der geistige Unterschied ist es, keine Willkür, sondern natürliche Bestimmtheit, was die gemachte Unterscheidung wesentlich begründet» (*G. W. F. Hegel*, Die Vernunft in der Geschichte,—Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, B. I. S. 201, Lpz. 1917).

пает здесь исключительно как субъективная категория. Случайность проявляется в единичности; рассмотрение последней вне связи со всеобщностью приводит к случайному самосознанию, но отсюда отнюдь не следует, что случайность субъективна в вышеуказанном смысле. Случайность столь же объективна, сколь объективна единичность; задача диалектического мышления состоит в том, чтобы, сняв, сохранить единичное во всеобщем, случайное—в существенном, закономерном, диалектически-ритмичном.

«Феноменология духа» не разрешает проблемы случайности, более того, она даже не занимается ею достаточно подробно; но даже отдельные замечания Гегеля о случайности, разбросанные в отдельных местах этого его произведения, показывают, что «Наука логики» лишь довершила задачу, намеченную автором уже ранее.

В «Феноменологии духа» Гегель преимущественное внимание обращает не столь на обоснование положительной концепции случайности как объективной диалектической категории, сколь на изложение и критику (да и это в форме отдельных замечаний, а не специально) различных философских позиций, связанных с тем или иным отношением к категории случайности. Так, особенно ярко это проступает в вышеприведенной характеристике скептицизма и несчастного сознания. Благодаря этому обстоятельству, у читателя, не учитывающего всего хода диалектической мысли Гегеля, может создаться ложное впечатление, что Гегель в «Феноменологии духа» рассматривает случайность вообще как категорию субъективную.

В действительности дело обстоит совершенно иначе. Более того, если бы это так и было, то тем самым философия Гегеля в значительной мере лишилась бы своего диалектического характера и превратилась бы в шаблонную систему метафизического объективного идеализма.

Выступая в «Феноменологии духа» против концепции абсолютной метафизической случайности, совершенно исключающей всякую закономерность, Гегель недвусмысленно подчеркивает, что отрицание этой точки зрения предполагается уже деятельностью рассудка, устанавливающего законы мирового развития.

Что же касается случайности, не утверждаемой в качестве верховного принципа всего совершающегося, но связанной со всем конечным и единичным, то здесь Гегель выдвигает задачу преодоления этой категории при помощи категории необходимости тем же диалектическим путем, каким сама единичность преодолевается всеобщностью. Метафизическая концепция случайности отвергается благодаря утверждению необходимой закономерности, тем самым расчищается почва для учения об объективной диалектической категории случайности.

В «Феноменологии духа» разрешения этой проблеме не дано, хотя, вместо с тем, проделана большая предварительная работа по ее постановке.

Во всей философии Гегеля проявляется двоякая, но не двойственная его позиция по отношению к категории случайности: 1) в разрезе критики ограниченного рассмотрения действительности вне диалектического ритма саморазвивающегося понятия и 2) в разрезе собственного, диалектического учения Гегеля о действительности.

В первом случае Гегель случайности противополагает необходимость, единичности—всеобщность, беспорядочности—закономерность, рассудку—разум.

Концепция метафизической случайности, формально определяемой как отрицание необходимости, Гегелем отвергается, и благодаря этому, «разделяя *существенное* и *несущественное*, понятие подымается из чувственной путаницы» [1].

В этом смысле позиция Гегеля оказалась особенно ценной и исторически плодотворной для общественных наук: вскрыв необходимость, лежащую в основе социальной

[1] *Гегель*, Феноменология духа, с. 111.

действительности, он тем самым оказал исторически-громадную услугу обществоведению. Именно здесь лежит центр тяжести революционного значения гегелевской диалектики.

Фридрих Энгельс, подчеркнувший именно эту сторону гегелевского учения о действительности, не ограничился этим и в «Диалектике природы» ясно показал, что гегелевская диалектика действительности предполагает не только учение о необходимости, но и учение о случайности как о категории объективной. Другими словами, гегелевская концепция необходимости диалектична в том смысле, что ею предполагается диалектическая категория случайности: необходимость и случайность перестают быть абстрактными абсолютными противоположностями.

Рассудок не отрицается в формально-логическом смысле этого слова, но снимается, т. е. в отрицании сохраняется разумом; единичность не противополагается абстрактно всеобщности, но находится с ней в диалектическом единстве; то же справедливо и о случайности в ее взаимоотношении с необходимостью.

Именно здесь проступает специфическая конкретность гегелевского абсолютного идеализма. Учения, исходящие из единичности, чувственности, рассудка, случайности, оказываются для Гегеля односторонними, ограниченными, а потому неприемлемыми. Именно блуждание в случайности, в единичности приводит скептицизм к несчастному сознанию.

В этом смысле Гегель говорит, что несущественное определение (unwesentliche Bestimmung) не является объектом философского рассмотрения, для которого определение интересно, поскольку оно существенно (insofern sie wesentlich ist).

«Наоборот, философия не рассматривает несущественного определения, но обсуждает определение только при условии, если оно существенное; ее сферой и содержанием является не абстрактное или недействительное, а действительное, само себя утверждающее и живущее в себе, *наличное бытие в его понятии*» [1].

Так борется Гегель со случайностью. Но полнота диалектического мировоззрения, исходящего из необходимости, присущей действительности, предполагает признание случайности объективной категорией. Так побеждает Гегель случайность, включив ее в объективную закономерность действительности как форму проявления необходимости.

В «Философской пропедевтике» дана прекрасная формулировка взаимоотношения всеобщего и случайного как его проявления.

Высказываясь по вопросу об отчуждении человеком своих сил, Гегель затрагивает попутно общую проблему случайности, выпукло обрисовывая две присущие ей особенности или, вернее, две ее стороны. Сила человека рассматривается Гегелем как нечто внутреннее, всеобщее по отношению к отдельным ее проявлениям, внешним, а следовательно случайным. Такова одна сторона вопроса. Но вместе с тем, конкретность гегелевской философии сказывается в характеристике второй стороны проблемы: сила, т. е. нечто всеобщее, *должна* проявляться в пространстве и времени, в форме случайного наличного бытия; не будь этого проявления, сила не была бы самой собою; всеобщее *должно* проявляться в единичном, случайном.

В этой формулировке Гегель уже непосредственно подошел к диалектической постановке проблемы случайности. Отрицание метафизической концепции случайности здесь может считаться заранее предполагаемым. В данном месте речь идет уже не об единичном, абстрактно противополагаемом всеобщему, но об их диалектической связи.

Случайность выступает здесь как объективная диалектическая категория.

«Можно отчуждать только *ограниченное* употребление своих сил, так как такое употребление силы, т. е. ограниченное действие, отличается от нее как таковой; *полное* же

[1] *Гегель*, Феноменология духа, с. 21.

употребление силы, или *весь* объем ее действия, не будет отличаться от силы в себе. Сила есть нечто внутреннее или всеобщее по отношению к своему проявлению. Проявление представляет собою некоторое ограниченное в пространстве и времени наличное бытие. Сила в себе не исчерпывается в этом отдельном единичном бытии и не связана с каким-либо одним из своих отдельных случайных действий. Однако, с другой стороны, сила должна действовать и проявляться, т. к. иначе она уже не представляет собою силы. Только весь объем действий образует самое силу, ибо вся совокупность проявлений силы является такою же всеобщностью, какую представляет собою сама сила. Поэтому человек не может отчудить полного употребления своих сил; в случае такого отчуждения он отчудил бы и свою личность» [1].

В «Науке логики» проблема взаимоотношения случайного и необходимого получает наиболее полное и законченное выражение. Понимая под случайным несущественное, внешнее, говоря о случайном, разрушимом наличном бытии, Гегель противополагает случайность необходимости развивающегося понятия: «та реальность, которая не соответствует понятию, есть просто явление, субъективное, случайное, произвольное, не истина».

Именно анализ случайного и существенного позволяет Гегелю противопоставить эклектике диалектику.

Рассматривая «отношение основания», Гегель выясняет присущую ему случайность и внешность. По его мысли, рассуждение из оснований страдает бесплодным формализмом, ибо, если данная вещь получает ряд различных определений, то этим самым предопределяется, что любое из этих многообразных определений может быть принято за существенное, т. е., другими словами, выбор между ними оказывается лишенным закономерной принудительности.

«Нечто есть конкретное таких многообразных определений, которые обнаруживаются в нем как постоянные и пребывающие. То или иное из них может поэтому, так же, как и другое, быть определено как основание, именно как то существенное, сравнительно с которым прочие суть лишь положенное. С этим связывается упомянутое выше, именно, что если дано некоторое определение, которое в данном случае принимается за основание другого, то отсюда не следует, что это другое в другом случае или вообще положено вместе с первым. Наказание, например, определяется разнообразно: как возмездие, далее, как устрашающий пример, установленный законом, как угроза для устрашения, равным образом, как нечто, служащее для вразумления и исправления преступника. Каждое из этих различных определений может считаться основанием наказания, ибо каждое есть существенное определение, и тем самым прочие, как отличенные от него, определяются относительно него лишь как случайные. Но то из них, которое принимается за основание, не есть еще все наказание как таковое; это конкретное содержит в себе также и те другие определения, которые лишь соединены с первым, не имея в нем основания» [2].

Мы видим, таким образом, что для гегелевского диалектического идеализма, в конкретном случае анализа «рассуждения из оснований», взаимоотношение случайного и существенного не может найти себе правильного освещения, пока оно не будет рассмотрено в разрезе необходимой закономерности абсолютного духа.

Эта гегелевская критика эклектического способа рассуждения сохраняет свое методологическое значение и для теории диалектического материализма.

Интересно, что мысль свою Гегель старается пояснить примерами, взятыми из житейской практики. Вслед за примером «наказания» он приводит пример «должностного лица»: данное «должностное лицо» имеет способность к службе, состоит в родстве с неко-

---

[1] *Гегель*, Введение в философию (Философская пропедевтика), М. 1927, с. 51

[2] *Гегель*, Наука логики, Петроград 1916, ч. 1, кн. 2, с. 63.

торыми лицами, могущими быть ему полезными по службе, имеет известные связи, в свое время отличилось в известных служебных поручениях и т. д. Каждое из свойств может быть принято за основание того факта, что этот чиновник занимает свое должностное место.

Подобное рассуждение из оснований Гегелем отвергается как скользящее по поверхности действительности, которую необходимо изучать в ее закономерном развитии.

«Отыскание и указание оснований, в чем главным образом состоит рассуждение, есть поэтому бесконечное шатание туда и сюда, не приводящее ни к какому окончательному определению; всему и каждому можно указать одно или многие достаточные основания так же, как и его противоположному, и может быть множество оснований, из которых ничего не следует. То, что Сократ и Платон называли софистикою, есть не что иное, как рассуждение из оснований; Платон противопоставляет ему рассмотрение идеи, т. е. вещи в себе и для себя или в ее понятии» [1].

Подчеркивая случайность связи между эклектически объединяемыми основаниями, Гегель высказывает глубоко диалектическую мысль.

Значение ее становится тем выпуклее, если вспомнить, что именно та же мысль лежит в основе ленинского анализа эклектического мышления.

Критикуя, подобно Гегелю, «рассуждение из оснований», Ленин приводит пример стакана. Стакан имеет бесконечное множество разнообразных свойств; в этом смысле, перефразируя Гегеля, можно сказать, что стакан есть конкретное многообразных определений. Случайное объединение двух или более из этих определений характеризует эклектическую, формальную точку зрения, между тем как «логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше».

Мы видим, что у Гегеля нет речи о случайном как о беспричинном; вся проблема развертывается в совершенно иной плоскости; ее трудность лишь подчеркивает ее значение для диалектического мировоззрения.

Здесь перед нами все та же борьба Гегеля с метафизической концепцией случайности, со «случайным философствованием (ein zufälliges Philosophieren), которое прицепляется, смотря по случаю, к тем или другим предметам, отношениям и мыслям несовершенного сознания».

Гегель поставил перед собою задачу показать, каким образом движение понятия охватывает полный мир сознания в его необходимости,—диалектический материализм, отвергая метафизическую концепцию случайности, рассматривая развитие природы и общества как необходимый, закономерный процесс, является, в этом отношении, историческим преемником немецкого диалектика.

Случайность, метафизически, абсолютно противополагаемая необходимости, Гегелем признается категорией субъективной, но наряду с этим «Наука логики» дает нам и положительное разрешение проблемы случайности. В конечном итоге, случайность характеризуется как объективная категория, диалектически связанная с категорией необходимости.

Блестящая формулировка позиции Гегеля в вопросе о взаимоотношении случайности и необходимости,—формулировка, классическая по своей четкости, краткости и выразительности, дана им в следующих словах:

«Определенность необходимости состоит в том, что в ней есть ее отрицание, случайность» [2].

Представители механистического детерминизма и фатализма, готовые следовать за Гегелем в его отрицании случайности, не подымаются на ту вершину его диалектической

[1] *Гегель*, Наука логики, Петроград 1916, ч. 1, кн. 2, с. 64.
[2] Ibid., с. 134.

мысли, откуда раскрывается вся перспектива этой сложнейшей проблемы. Между тем, гегелевское отрицание случайности, метафизически исключающей необходимость, и его же утверждение случайности как формы проявления необходимости, т. е., другими словами, как объективной категории, обусловливающей *определенность* необходимости, настолько тесно друг с другом связаны, насколько это может достигнуть диалектика на основе абсолютного идеализма.

Установив необходимый поступательный ход саморазвивающейся идеи, устранив всякое объяснение, отрицающее эту необходимую закономерность и *в этом смысле* утверждающее случайность, Гегель тем самым расчистил почву для диалектического учения о случайности, как форме проявления необходимости.

Особую убедительность учение это приобретает у Гегеля в трактовке истории. Как идеалист, он говорит о духе, знающем себя духом; об исторической организации царства духов—эта сторона его учения в данном месте нас непосредственно не занимает. Как диалектик, Гегель, утверждая необходимость общественного развития, ясно видит проблему взаимоотношения исторической закономерности и исторической многообразной фактичности, конкретно выражающей эту необходимость.

Отнюдь не придавая необходимости значения абстрактной метафизической категории, Гегель пронизывает ею ткань исторических событий и случайность понимает именно как конкретную форму проявления диалектически осознанной необходимой закономерности.

Таково гениальное разрешение проблемы случайности, данное Гегелем.

В заметке своей о случайности и необходимости («Диалектика природы») Фридрих Энгельс, обосновывая диалектическое разрешение проблемы, непосредственно ссылается на гегелевскую «Науку логики» [1].

Отвергая метафизическую концепцию как субъективной, так и объективной случайности, Энгельс подчеркивает громадное историко-философское значение Гегеля, положившего начало диалектическому пониманию случайности и необходимости.

«В противовес обоим этим взглядам выступает Гегель с неслыханными до того утверждениями, что случайное имеет основание, ибо оно случайно, но точно так же не имеет никакого основания, ибо оно случайно; что случайное необходимо, что необходимость сама определяет себя как случайность и что, с другой стороны, эта случайность есть скорее абсолютная необходимость («Logik», книга II, отдел «Действительность»). Естествознание предпочло игнорировать эти положения, как парадоксальную игру слов, как противоречащую самой себе бессмыслицу, закоснев теоретически в бессодержательности вольфовской метафизики, согласно которой нечто *либо* случайно, *либо* необходимо, но ни в коем случае ни то, ни другое одновременно, или в столь же бессодержательном механическом детерминизме, который на словах отрицает случайность в общем, чтобы на практике признать ее в каждом отдельном случае» [2].

Такой тонкий знаток философии Гегеля, как Фридрих Энгельс, ссылается по вопросу о случайности на вторую книгу «Науки логики» отнюдь не случайно. Именно учение Гегеля о действительности является тем отделом его философии, где проблема случайности получает наиболее выпуклую обрисовку.

[1] Специальный анализ марксистского, диалектического понимания случайности как объективной категории автором дан в статье «*Категория случайности в понимании Плеханова*» («Под знаменем марксизма». № 5, 1928, с. 46—71) и в примечании «*Случайность*» к «Анти-Дюрингу» Ф. Энгельса (*Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, М. 1928, с. 462—467). Положения, защищаемые автором в этих работах, и легли в основу настоящего исследования учения Гегеля о случайности.

[2] *Фр. Энгельс*, Диалектика природы, «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», М. 1925, т. II, с. 193—195.

Само рассмотрение этой проблемы именно в отделе «*Действительность*» непосредственно связано с диалектическим характером гегелевской постановки вопроса.

Фридрихом Энгельсом были намечены следующие четыре момента в гегелевском учении о случайности:

1) «случайное имеет основание, ибо оно случайно, но точно так же не имеет никакого основания, ибо оно случайно»;

2) «случайное необходимо»;

3) «необходимость сама определяет себя как случайность» и

4) «эта случайность есть скорее абсолютная необходимость».

Наша непосредственная задача состоит в том, чтобы показать тот ход мысли, какой привел Гегеля к принятию этих столь парадоксальных по форме, но по существу глубоко диалектических утверждений.

Категории случайности и необходимости рассматриваются Гегелем в тесной связи с категорией действительности, поэтому, прежде всего, следует остановиться на анализе последней.

Известно, что именно недостаточно глубокое понимание гегелевской «действительности» часто приводило к неправильному истолкованию действительного смысла философии Гегеля. Так, Энгельс, а за ним и Плеханов показали, что реакционное истолкование формулы «все действительное разумно и все разумное действительно» объясняется игнорированием той необходимости, какая присуща «действительности» Гегеля. «Примирение с действительностью» Михаила Бакунина и Виссариона Белинского теснейшим образом было связано именно с этим искажением смысла гегелевской «действительности». Революционное значение гегелевской диалектики заключалось именно в том, что в том понимании действительности, какое было обосновано Гегелем, необходимость являлась ее неотделимым атрибутом.

Весьма существенно то обстоятельство, что Ленин, говоря о материалистической теории познания, о применении диалектического метода к познанию реальности, особенно подчеркнул значение гегелевской трактовки проблемы случайности.

Конкретное применение диалектического метода к познанию, а особенно *преобразованию* действительности с особенной остротой выдвигает этот вопрос.

В «Энциклопедии философских наук» Гегель следующим образом высказывается о случайности «конкретных образований»:

«Противоречие идеи, в то время как она в качестве природы сама по отношению к себе оказывается внешней, ближайшим образом есть противоречие, с одной стороны, порожденной понятием необходимости ее образований и их разумной определенности в органической целостности и, с другой стороны,—их равнозначной случайности и неподдающейся определению беспорядочности. Случайность и определенность извне имеют свое право в сфере природы. Больше всего эта случайность имеет место в царстве конкретных образований, которые, правда, как природные вещи, конкретны только непосредственно. (*Во втором издании*: Больше всего эта случайность имеет место в царстве субъективной индивидуальности, чьи образования конкретнейши, но, правда...). Непосредственно конкретное—это именно множество свойств, которые находятся вне друг друга и более или менее равнозначно против друг друга; против которых именно поэтому простая для себя сущая субъективность равным образом равнозначна и их представляет внешнему, а следовательно случайному определению» [1].

Для механистического миропонимания не существует указанного Гегелем противоречия между разумной определенностью в органической целостности (in der organischen Totalität vernünftige Bestimmung) и неподдающейся определению беспорядоч-

---

[1] *G. W. Hegel*, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Lpz. 1923. S. W., B. V, S. 210 («Naturphilosophie», § 250).

ности (unbestimmbare Regellosigkeit), между порожденной понятием необходимостью (durch den Begriff bezeugte Notwendigkeit) и случайностью (Zufälligkeit).

Между тем как механистическое миропонимание, устраняя проблему случайности путем учения об абстрактной метафизической необходимости, тем самым лишает себя возможности адекватного познания действительности, Гегель в этом вопросе стоит на методологически правильном пути и вполне недвусмысленно указывает, что необходимость и случайность вступают в противоречие в качестве определенности и неподдающейся определению беспорядочности.

Разрешение этого противоречия между необходимостью и случайностью Гегелем дано в учении о действительности.

Действительность, по Гегелю, есть единство сущности и существования [1]; в этом определении явственно проступает диалектически-конкретный характер гегелевского абсолютного идеализма, преодолевающего кантовский дуализм явления и вещи в себе. Для того, чтобы ясно представить как идеалистический, так и диалектический моменты, формирующие это учение о действительности, а тем самым характерные и для гегелевского учения о случайности и необходимости, прежде всего, представляется весьма важным проследить ход мысли Гегеля от «формальной действительности» через «действительность реальную» к «абсолютной действительности». Именно здесь можно нащупать нерв гегелевской постановки и разрешения проблемы случайности.

В первую очередь Гегель дает определение «формальной действительности»; в своем формальном значении действительность выступает как только непосредственная, нерефлектированная (nur unmittelbare, unreflektirte Wirklichkeit), т. е., другими словами, здесь подчеркивается, что диалектическое понимание действительности не может быть дано без рассмотрения ее в закономерности возвращающегося к себе развития. В этом формальном своем определении (in dieser Formbestimmung) действительность лишена полноты формы (Totalität der Form) и дана лишь как бытие (Sein) или существование (Existenz) вообще.

«Действительность формальна, поскольку как первая действительность она есть действительность лишь непосредственная, нерефлектированная, и тем самым ей присуще лишь это определение формы, а не полнота формы. Таким образом, она есть не что иное, как бытие или существование вообще» [2].

То, что действительно, то, следовательно, возможно; формальное определение действительности приводит к формальному же определению возможности. Возможно все, что не противоречит себе; царство возможностей, в их формальном определении, безгранично, оно есть бесконечное многообразие.

Категория возможности, определяемой формально, как то, что не противоречит себе, относится всецело к области формальной логики, законов тождества и противоречия.

Установление формальной возможности, утверждение, что возможно *A*, которое не противоречит себе, означает только то, что *A* есть *A*.

Это следствие показывает, по мысли Гегеля, что утверждение формальной возможности, или «просто формальное заявление о чем-либо—оно возможно»,—плоско и пусто в той же мере, как и формальный закон тождества.

---

[1] «Действительность есть непосредственное единство сущности и существования, или внутреннего и внешнего. Проявление действительности есть сама действительность, так что действительность не только сохраняется как сущность, в проявлении, но и не была бы существенна, если бы не была непосредственным, внешним существованием» (*Гегель*, Энциклопедия философ. наук, ч. 1, Логика, М. 1861, с. 251).

[2] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2, с. 126 (*Hegel*, Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil, S. 171, S. W., B. IV, Lpz. 1923).

В этом смысле гегелевский анализ формальной возможности и формальной действительности, или, другими словами, возможности и действительности в их формальном определении, является как бы преддверием к их диалектическому пониманию. Как и все учение Гегеля вообще, его постановка проблемы случайности в ее связи с действительностью исходит из предварительной критики формально-логической постановки вопроса.

Из вышесказанного следует, что в пределах анализа и критики формальной концепции возможности Гегель сводит последнюю к плоскости и пустоте не только закона тождества, но и закона противоречия.

В этом случае, как и в других, Гегель показывает, что диалектическая логика получает свое начало уже в недрах логики формальной: если исходить из формального определения—возможно все, что не противоречит себе, то бесконечное многообразие, в котором проявляется возможность, определяется в противоположность другому и им отрицается; отсюда следует (путем перехода от безразличного различия—через противоположность—к противоречию), что «все есть равным образом противоречивое и потому *невозможное*» [1].

Таким образом, формальное определение оказывается слишком односторонним и должно быть превзойдено. Его диалектический анализ приводит к тому выводу, что в возможности *A* содержится возможное *не-A*, т. е., другими словами, что формальное определение возможности, как того, что не противоречит себе, совершенно бесплодно, что диалектическое мышление должно рассмотреть возможность в ее единстве с действительностью, которая, в свою очередь, только в этом случае преодолеет ограниченность и бесплодность своей формальной концепции.

Этим путем, отправляясь от критики формальных определений возможности и действительности, Гегель приходит к учению о случайности как об их единстве (Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit).

«Это единство возможности и действительности есть *случайность*. Случайность есть нечто действительное, определяемое вместе с тем лишь как возможное, другое или противоположное которому равным образом есть. Эта действительность есть поэтому простое бытие или существование, но положенное в своей истине, как имеющее значение некоторого положения или возможности. Наоборот, возможность есть рефлексия в себя или бытие в себе, положенное как положение; то, что возможно, есть некоторая действительность в этом смысле действительности; оно имеет поэтому лишь ценность случайной действительности; она есть сама нечто случайное» [2].

«Diese Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit ist die Zufälligkeit.—Das Zufällige ist ein Wirkliches, das zugleich nur als möglich bestimmt, dessen Anderes oder Gegenteil ebensosehr ist. Diese Wirklichkeit ist daher blosses Sein oder Existenz, aber in seiner Wahrheit gesetzt, den Wert eines Gesetzseins der Möglichkeit zu haben. Umgekehrt ist die Möglichkeit als die Reflexion-in-sich oder das Ansichsein gesetzt als Gesetzsein; was möglich ist, ist ein Wirkliches in diesem Sinne der Wirklichkeit; es hat nur so viel Wert, als die zufällige Wirklichkeit; es ist selbst ein Zufälliges».

Определение случайности как единства возможности и действительности [3] полагает конец метафизической постановке проблемы случайности, ибо непосредственным

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2. с. 127.

[2] Ibid., с. 128—129 (*Hegel*, Wissenschaft der Logik, II, S. 173)

[2] В «Энциклопедии философских наук» Гегель указывает, что действительное в значении простой возможности есть случайное и, наоборот, сама возможность есть простой случай: «In diesem Werte einer blossen Möglichkeit ist das Wirkliche ein Zufälliges, und umgekehrt ist die Möglichkeit der blosse Zufall selbst (*G. W. F. Hegel*, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Lpz. 1923. S. W., B. V, S. 147).

образом приводит Гегеля к утверждению, что случайность и необходимость отнюдь не являются абсолютно друг друга исключающими категориями. Однако и независимо от этого непосредственно вытекающего заключения в вышеприведенном определении случайности нанесен непоправимый ущерб формально-логической постановке проблемы. Вполне недвусмысленно (хотя и в специфической форме гегелевской терминологии) здесь показано, что проблема случайности не может быть разрешена при помощи исключительно формальной логики; что только применение диалектического метода, рассмотрение действительности и возможности в их диалектическом единстве позволяет правильно поставить и разрешить проблему случайности.

Тем самым «Наука логики» в отделе «Действительность» дает наиболее развернутую и глубокую формулировку гегелевской постановки проблемы случайности. В этом разрезе получает разрешение вопрос о случайности той связи явлений, какая, по мысли Гегеля, дана в чувственном созерцании. Более того, именно «Наука логики» является тем произведением Гегеля, какое должно служить исходным пунктом для критического комментирования гегелевского учения о случайности, поскольку оно развивается в других произведениях диалектика-идеалиста.

В своей «Философской пропедевтике» Гегель следующим образом характеризует связь явлений, данную в чувственном созерцании: «Связь явлений, как она дана в чувственном созерцании, совершенно внешня и случайна; она может быть такой, но может быть и иной. Например, камень своим падением делает углубление в мягкой массе. В чувственном созерцании дано падение камня, а последовательно за ним во времени — появление впадины в массе, куда упал камень. Оба эти явления, падение камня и углубление в массе, следовали во времени. Однако такая последовательность не содержит еще никакой необходимости; при тех же условиях (т. е. при последовательности во времени, как она нами выражена) могло бы быть и так, что одно явление происходит, а другое за ним не следует [1].

В § 11 Гегель определяет необходимое как «то, что может произойти только так, а не как-нибудь иначе» [2].

В этих «пропедевтических» определениях случайности и необходимости гегелевская диалектика целиком не развернута; случайность и необходимость здесь только противопоставлены друг другу, как противопоставлены чувственное созерцание и рассудок; дело «разума» показать их единство в различии, что и производится в отделе «Действительность» «Науки логики».

Как необходимость, так и случайность даны, по Гегелю, в качестве объективных категорий действительности. Закономерность диалектического развития действительности подчинена необходимости, в этом смысле все действительное «может произойти только так, а не как-нибудь иначе». Вместе с тем, действительность не должна быть абстрагирована от всей ее полноты и конкретности; форма проявления необходимости «может быть такой, но может быть и иной», т. е., иначе говоря, наряду с необходимостью действительность включает в себя и случайность.

Дальнейшее указание Гегеля на «две стороны» случайности, указание, логически вытекающее из основных положений учения о единстве возможности и действительности, было отмечено Фридрихом Энгельсом как один из характерных признаков диалектического разрешения проблемы.

Случайное, как непосредственная действительность, имеет возможность непосредственно в нем самом, есть в себе и для себя и не нуждается ни в чем другом, т. е.

[1] *Гегель*, Введение в философию («Философская пропедевтика»), М. 1927, § 6, с. 28—29.

[2] Ibid., с. 33.

не имеет основания. Вместе с тем, случайное, как лишь возможная действительность, должно иметь основание в чем-либо другом.

«Случайное представляет поэтому две стороны; во-первых, поскольку оно имеет возможность *непосредственно* в нем, или, что то же самое, поскольку она в нем снята, оно не есть положенное или опосредованное, но *непосредственная* действительность; оно *не имеет основания*...

Но случайное есть, во-вторых, действительное, как нечто лишь возможное или как положение; так же точно и возможное, как формальное бытие в себе, есть лишь положение. Тем самым то и другое не есть в себе и для себя, а имеет свою истинную рефлексию в себя в некотором другом, или, иначе, оно *имеет некоторое основание*.

Таким образом,случайное потому не имеет основания, что оно случайно; и равным образом оно имеет некоторое основание потому, что оно случайно» [1].

Указанные Гегелем две стороны случайности как единства действительности и возможности определяют собою диалектичность самой постановки проблемы. Противоречие, заключенное в случайности, состоит в том, что она имеет основание и не имеет основания, т. е. случайность выражает собою двойственность самой действительности в ее единстве с возможностью и противоположении последней. «Но если даже сказано также: что осуществлено, имеет основание и обусловлено, то также должно быть сказано: оно не имеет основания и безусловно. Ибо существование есть непосредственность, возникшая от снятия опосредования через основания и условия, непосредственность, которая в своем возникновении снимает самое это возникновение» [2].

Рассуждение из оснований отвергается Гегелем как случайное философствование, как метод, свойственный софистике и эклектике, ибо задача истинной философии состоит в познании диалектического ритма понятия. Равным образом и здесь, при анализе категории случайности, Гегель устанавливает всю невозможность ограничиться рассмотрением оснований, т. к. это значило бы остановиться лишь на одной стороне проблемы.

Понимая случайное как «положенное, непосредственное взаимное превращение внутреннего во внешнее», великий немецкий диалектик именно в этом пункте непосредственно обращается к рассмотрению внутренней диалектической связи между случайностью и необходимостью.

Действительности в ее тождестве с возможностью присуща необходимость; вместе с тем, случайность есть единство действительности и возможности; отсюда следует, что категории случайности и необходимости не только не исключают друг друга, но, наоборот, друг друга обусловливают.

Так приходит Гегель к своему знаменитому положению, до наших дней смущающему всех метафизиков, но столь высоко ценимому Энгельсом,—к положению, что «случайное необходимо».

«Необходимое есть нечто действительное; поэтому как непосредственное оно есть лишенное основания; однако оно равным образом имеет свою действительность через нечто другое или в своем основании, но есть вместе с тем положение этого основания и его рефлексия в себя; возможность необходимого снята. Поэтому случайное необходимо потому, что действительное, как возможное, определено, и тем самым его непосредственность снята, находится в основании или бытии в себе и оттолкнута в обоснованное, а также потому, что эта его возможность, отношение основания, просто снята и положена, как бытие. Необходимое есть, и это сущее есть само необходимое. Вместе с тем оно есть в себе; эта рефлексия в себя есть другое, чем та непосредственность бытия; и необходимость сущего есть некоторое другое, поэтому сущее само не есть необходимое, но это бытие в себе есть само лишь положение, оно снято и само непосредственно. Таким

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2, с. 129.
[2] Ibid., с. 75.

образом, действительность в различаемом от нее, в возможности, тождественна самой себе. Как это тождество, она есть необходимость» [1].

Действительность необходима и вместе с тем она случайна; это значит, что присущая ей необходимость (действительность в возможности тождественна самой себе) определяет собой единство действительности и возможности, т. е. случайность.

Необходимость и случайность тем самым характеризуются как объективные диалектические категории; случайное необходимо—это значит, что объективная случайность присуща действительности как форма проявления лежащей в ее основе необходимости.

Между тем метафизическая концепция случайности дает последней формальное определение как абсолютной противоположности необходимости.

Христиан Вольф определяет случайное как то, чья противоположность не приводит к противоречию, или как то, что не является необходимым: «Contingens est cujus oppositum nullam contradictionem involvit, seu quod necessarium non est» [2].

В Энциклопедической логике Гегель вполне недвусмысленно высказывается по поводу метафизической постановки проблемы случайности. Говоря о «старой метафизике, как ее излагали до Канта», и указывая, что она продолжает существовать в качестве рассудочного воззрения на предметы, Гегель целиком отвергает взгляд на случайность и необходимость как на абсолютные противоположности (absolute Gegensätze).

«Третья часть (метафизики.—*М. Д.*), *космология*, имела своим предметом *мир*, его случайность, необходимость, вечность, ограниченность в пространстве и времени... Абсолютными противоположностями признаются при этом преимущественно случайность и необходимость (Als absolute Gegensätze gelten hierbei vornehmliche Zufälligkeit und Notwendigkeit...), внешняя необходимость и внутренняя необходимость, действующие и конечные причины, или вообще причинность и цель, сущность или субстанция и явление, форма и материя, свобода и необходимость, счастье и страдание, добро и зло» [3].

Так сталкиваются при разрешении проблемы случайности логика формальная и логика диалектическая; если для первой «случайное есть то, что не является необходимым», то для второй—«случайное необходимо».

Снова и снова конкретное рассмотрение действительности приводит к преодолению законов формального мышления.

Учение Гегеля о действительности вместе с тем положило конец кантовскому трансцендентальному пониманию необходимости и случайности. Для Канта обе эти категории были лишены объективного значения и являлись лишь субъективными принципами разума:

«Если для существующих вещей вообще я должен допускать что-либо необходимое, но в то же время ни одну из вещей самое по себе не имею права мыслить как необходимую, то отсюда неизбежно вытекает, что необходимость и случайность должны относиться не к самим вещам, так как в противном случае здесь было бы противоречие; иными словами, ни одно из этих основоположений не имеет объективного характера, но они могут быть только субъективными принципами разума» [4].

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2, с. 129—130.

[2] *Chr. Wolf*, Ontologia, с. 236.

[3] *Гегель*, Энциклопедия философских наук, т. 1. Логика. М.—Л. 1929, с. 72—73.

[4] *И. Кант*, Критика чистого разума, Петроград 1915, с. 355. По поводу этого кантовского понимания случайности Гегель в своем «Наброске к Энциклопедии» делает следующую интересную заметку: «Kant», S. 644. Das Notwendigkeit und Zufälligkeit nicht die Dinge selbst angehören und treffen müssen, weil sonst ein Widerspruch vorgehen würde, mithin keiner dieser Grundsätze objektiv sei (Grundsätze: dass kein Ding an sich notwendig, dass ich zu jedem Zufälligen ein Notwendiges denken muss)» (*Hegel*, Entwurf zur Encyklopädie, Hegel-Archiv, Lpz. 1912—1914, B 1, H. 1, S. 13).

Если для Канта необходимость и случайность—только субъективные принципы разума, то для Гегеля они—объективные категории действительности. Таково неоспоримое преимущество гегелевского объективного идеализма перед дуалистической критической философией.

Самый способ аргументации Канта наглядно показывает, сколь ценным оказался гегелевский диалектический метод для разрешения проблемы случайности.

Итак, мы видим, что уже анализ формальной действительности приводит Гегеля к целому ряду плодотворнейших утверждений относительно категорий случайности и необходимости. Самое существенное достижение состоит в признании случайности и необходимости объективными диалектическими категориями, взаимно друг друга обусловливающими и получающими свое истинное значение лишь в разрезе учения о действительности. Формальная и трансцендентальная логика оказываются бессильными не только разрешить, но даже правильно поставить проблему случайности; определение случайности как единства возможности и действительности преодолевает трансцендентальное понимание случайности как субъективного принципа разума; утверждение, что «случайное необходимо», разрушает метафизическую постановку проблемы.

Дальнейшее свое развитие гегелевская концепция случайности получает в учении о реальной действительности, реальной возможности и реальной необходимости.

Реальная действительность—это вещь со многими свойствами, осуществленный мир; «она имеет, таким образом, возможность как бы непосредственно в ней самой». Тем самым и возможность становится реальной; если формально возможное определяется как то, что не противоречит самому себе, то реальная возможность обладает конкретным содержанием, содержит в себе определения (Bestimmungen), обстоятельства (Umstände), условия (Bedingungen) вещей.

«Поскольку мы вникаем в определения, обстоятельства, условия некоторой вещи, мы не останавливаемся уже на формальном, а рассматриваем ее реальную возможность. Эта реальная возможность сама есть непосредственное существование... Реальная возможность некоторой вещи есть поэтому существенное многообразие относящихся к ней обстоятельств» [1].

Если формальная возможность, как это показал гегелевский анализ, сводится к пустоте законов тождества и противоречия, то иначе обстоит дело с реальной возможностью, где перед нами уже не формальная действительность, но действительность реальная, осуществленный мир, вещь, обладающая многими свойствами. Пустота формальной возможности, иначе говоря, формального определения ее данного осуществления в некоторой вещи.

Реальная возможность, будучи непосредственным существованием, вещью, вступившей в действительность, диалектически развивается: «многообразное существование в себе самом состоит в том, чтобы снимать себя и уничтожать в основании».

Лишь только круг всех обстоятельств, обусловливающих существование данной вещи, замкнется,—формальная возможность переходит в реальную: то, что формально возможно, должно лишь не противоречить самому себе, но то, что возможно реально, то уже не может быть иным, а следовательно, необходимо. «Отрицание реальной возможности есть тем самым ее тождество с собою; так как она, таким образом, есть в ее снятии отталкивание этого снятия внутрь себя самой, то она есть реальная необходимость. То, что необходимо, не может быть другим; но последним может быть то, что вообще возможно; ибо возможность есть бытие в себе, которое есть только положение и потому может быть по существу инобытием. Формальная возможность есть такое тождество, как переход в совсем другое; реальная же возможность, т. к. она имеет в ней другой момент, действительность, сама уже есть необходимость. Поэтому то, что

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2, с. 131.

реально-возможно, уже не может быть другим; при данных условиях и обстоятельствах не может воспоследовать ничего другого. Поэтому реальная возможность и необходимость различаются лишь повидимому» [1].

Гегелевская диалектика понятий в своем постепенном развертывании привела нас к реальной необходимости, а вместе с тем к тому пункту, где проблема взаимоотношения случайности и необходимости получает новое освещение по сравнению с теми результатами, которые были достигнуты в связи с анализом формальной действительности.

Если прежде было показано, что «случайное необходимо», то теперь вскрывается новая основа диалектического учения о случайности: с поразительной убедительностью великий немецкий диалектик показывает, что «реальная необходимость в себе есть в действительности также случайность» или же в формулировке, отмеченной Энгельсом, что «необходимость сама определяет себя как случайность».

Реальная необходимость, говорит Гегель, есть вместе с тем относительная необходимость, «а именно она имеет предположение, с которого начинается, ее исходным пунктом служит случайное».

Итак, диалектическое рассмотрение случайности приводит к необходимости,— наоборот, диалектическое рассмотрение необходимости обнаруживает в ней случайность.

«Относительность реальной необходимости представляется в содержании так, что последнее есть лишь безразличное к форме тождество, поэтому отличено от нее и есть определенное содержание вообще. Реально-необходимое есть поэтому некоторая ограниченная действительность, которая в силу этой ограниченности есть в другом отношении также лишь случайность.

Таким образом реальная необходимость в себе есть в действительности также случайность. Это проявляется в том, что хотя реально-необходимое по форме есть необходимое, но по содержанию ограничено и через последнее получает свою случайность. Но и в форме реальной необходимости содержится случайность; ибо, как оказалось, реальная возможность есть лишь в себе необходимое, положена же она как инобытие действительности и возможности в их взаимном противоположении. Реальная необходимость содержит в себе поэтому случайность; первая есть возврат в себя из этого беспокойного инобытия действительности и возможности в их взаимном противоположении, но не из себя самой в себя.

Таким образом в себе дано единство необходимости и случайности; это единство может быть названо абсолютною действительностью» [2].

Так завершается круг гегелевских суждений о случайности, отмеченных Энгельсом. Отправным пунктом служит установление противоречия, заключенного в случайности, которая имеет основание и не имеет его именно потому, что она случайность. Констатировав это противоречие, Гегель получает возможность связать случайность с необходимостью, отвергнуть их абсолютную противоположность и тем самым преодолеть «случайное философствование» о случайности. Ближайшее утверждение гласит, что случайность есть форма проявления, способ определения необходимости, и, наконец, анализ завершается финальным указанием, что диалектический ритм развития действительности, проступающий внешне в виде случайности, в основе своей подчинен абсолютной необходимости, абсолютной—не метафизически, но в том смысле, что ею включен в себя и момент диалектически с ней связанной случайности.

Все вышеизложенное позволяет с уверенностью сказать, что объективному идеалисту Гегелю, пользуясь диалектическим методом, действительно удалось построить глубоко содержательное и методологически ценное учение о случайности как об объективной категории.

---

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2 с. 132—133.

[2] Ibid., с. 133—134.

Самым трудным и способным создать недоразумение отделом этого учения несомненно является переход от критики метафизической концепции случайности к построению положительной диалектической концепции объективной случайности. В основном этот переход был уже нами охарактеризован выше, однако для полноты картины и для внесения наибольшей ясности в эту проблему отнюдь не лишним будет сослаться в заключение на энциклопедическую «Логику», где именно этот вопрос разработан Гегелем наиболее подробно и изложен в наиболее отчетливой формулировке.

Особенно ценным является при этом то обстоятельство, что в малой «Логике» Гегель без всяких обиняков характеризует случайность как объективную категорию и «узким педантством» называет мнение, «будто случайность есть только продукт нашей субъективной мысли».

Как и в других своих произведениях, в малой «Логике» Гегель борется с метафизической концепцией случайности: «наука должна стараться о том, чтобы понять кажущуюся случайность явлений». И вот непосредственно после тех строк, где случайность приравнивается разнообразным очертаниям и фигурам облаков, где заявляется, что для разума действительность интересна, лишь поскольку в ней развивается и проявляется идея,—непосредственно за этим Гегель дает классическую формулировку диалектической концепции случайности на основе объективного идеализма:

«Если случайность, как показывают предыдущие замечания, есть только неполный момент действительности, который не следует смешивать с самою действительностью, тем не менее она находит свое приложение в объективном мире как известная форма идеи. Во-первых, это замечается в природе, на поверхности которой случайность, так сказать, свободно раскидывается, и эту случайность необходимо допустить, не думая утверждать, что всякая вещь должна быть такова, как она есть, и не могла бы быть иначе, хотя философии нередко несправедливо приписывали такое притязание. В духовном мире случайность также находит себе место, как мы это заметили относительно воли, которая содержит в себе случайность, под формой произвола. И в этой сфере не должно простирать слишком далеко потребность разумного знания и искать необходимость таких явлений, которые имеют характер случайности, или, как говорят, выводить их a priori. Так, например, хотя язык есть, так сказать, тело мысли, случайность играет в нем роль точно так же, как в праве, в искусстве и проч. Справедливо, что наука и в особенности философия имеют своим предметом узнать необходимость, скрытую за кажущейся случайностью; но не должно представлять себе, будто случайность есть только продукт нашей субъективной мысли и что необходимо отвергать ее, чтобы достигнуть истины. Тех, которые исключительно преследуют это направление в своих научных исследованиях, справедливо обвиняют в узком педантстве и в бесплодной трате остроумия» [1].

Эта философская позиция Гегеля-диалектика позволяет считать его идеологическим предшественником марксизма и в вопросе о случайности как объективной категории. Позиция Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина при разрешении проблемы случайности лишний раз подтверждает революционизирующее значение гегелевской диалектики и в этом отделе его философии. Всякая попытка пройти мимо гегелевского разрешения проблемы случайности и связать исторически теорию диалектического материализма исключительно с французским материализмом XVIII века означает по существу отказ от диалектического метода.

Вместе с тем, отмечая заслуги Гегеля в области диалектического рассмотрения случайности, нельзя пройти мимо тех специфических черт, какие присущи гегелевской постановке проблемы, как попытки разрешить ее на основе объективного идеализма.

Категория случайности в философии Гегеля подвержена участи всей его диалектики, т. е. она представляет собою перевернутое отображение реальной действитель-

---

[1] *Гегель*, Энциклопедия философских наук, ч. 1, Логика, Москва 1861, с. 258.

ности. Случайность для Гегеля — объективная категория, но сама объективность рассматривается им с точки зрения абсолютного идеализма.

Необходимость диалектического ритма понятия развертывается в сфере идеалистической абстракции от реальной действительности материального мира, а в связи с этим искаженное значение приобретает и категория случайности. Случайность, единичность, конечность отрываются в идеалистической системе Гегеля от истинной реальности, которая свойственна, по мысли диалектика-идеалиста, лишь абсолютной идее. Диалектика необходимости и случайности оказывается вместе с тем переходом от абсолютной необходимой сущности гегелевского понятия к многообразию конечных вещей. В гегелевском диалектическом монизме обнаруживается трещина, противоречие между методом и системой. Трещина эта проходит и сквозь проблему случайности. Случайное и необходимое у Гегеля не только диалектически связаны, как это было показано выше, но вместе с тем между ними зияет пропасть, разделяющая в плане гегелевского идеализма конечное от абсолютного, грешные земные плоды от святого плода вообще.

Таким образом вся великолепная диалектика необходимости и случайности у Гегеля оказывается направленной в пустоту идеалистической абстракции. Задача марксистского разрешения проблемы случайности заключается поэтому, в первую очередь, в том, чтобы поставить на материалистическую почву гегелевскую трактовку этого вопроса, как это делается и в других отделах теории диалектического материализма.

Случайное, конечное для Гегеля не лежит «в основании бытия», подобная привилегия предоставляется немецким идеалистом лишь абсолютной идее; в этом смысле он говорит о небытии конечного, а следовательно о небытии случайного, признавая право на истинное бытие лишь за абсолютным духом.

«Вещь, субъект или понятие в своей сфере рефлектированы в себя, суть их разрешенное противоречие, но вся их сфера опять-таки есть определенная, различная, а потому конечная, а значит противоречивая. Она не разрешает сама этого высшего противоречия, но имеет свое отрицательное единство в некоторой высшей сфере в своем основании. Конечные вещи в их безразличном многообразии поэтому вообще таковы, что они противоречивы в самих себе, преходящи и должны возвратиться к своему основанию. Как будет рассмотрено далее, истинное заключение от конечного и случайного к абсолютной необходимой сущности состоит не в том, что ведется заключение от конечного и случайного, как от лежащего и остающегося лежать в основании бытия, но в том—что непосредственно присуще случайности,—что заключается от преходящего, себе в себе самом противоречивого бытия к абсолютно-необходимому, или правильнее, что указывается на возврат случайного бытия в себе самом в свое основание, в котором первое снимается,—и далее, что через этот возврат оно полагает основание лишь так, что само собственно становится положенным. В обычном умозаключении бытие конечного является основанием абсолютного; последнее есть, потому что есть конечное. Истина же состоит в том, что абсолютное есть, потому что конечное есть в себе самом противоречивая противоположность, что оно не есть. В первом смысле умозаключение выражается так: бытие конечного есть бытие абсолютного; во втором так: небытие конечного есть бытие абсолютного» [1].

Итак, противоречие между гегелевским диалектическим методом и его идеалистической системой в проблеме случайности проявляется в том, что эта диалектическая объективная категория в конечном итоге относится к сфере небытия конечных вещей; истинное же бытие признается лишь за необходимостью и всеобщностью абсолютного духа. Результат, достигнутый Гегелем-диалектиком, вступает в противоречие с результатом, достигнутым Гегелем-идеалистом. Разрешить до конца проблему случайности

[1] *Гегель*, Наука логики, ч. 1, кн. 2, с. 44—45.

диалектический идеализм оказывается не в силах. Задачу эту мог выполнить лишь диалектический материализм.

Замечательно, что если в диалектике Гегеля случайность имеет значение объективной категории, то по смыслу гегелевской идеалистической системы она приобретает значение категории субъективной, ибо за ней отрицается истинное бытие, являющееся, по Гегелю, предметом разумного познания. Истинно объективной категорией (в смысле объективного идеализма) оказывается лишь необходимость. Благодаря исходной идеалистической предпосылке сама диалектическая мысль Гегеля метафизируется, случайность отрывается от необходимости, превращается в субъективную категорию.

Таким образом механистическая точка зрения, не приемлющая диалектического разрешения проблемы случайности у Гегеля, естественно сближается с позицией Гегеля-идеалиста. Современные механистические материалисты, определяющие случайность как субъективную категорию, тем самым отвергают диалектическую постановку вопроса у Гегеля, но приближаются к точке зрения Гегеля-идеалиста; в одном случае на основе материализма, в другом случае—на основе идеализма, но и здесь и там одинаково игнорируется действительное диалектическое взаимоотношение необходимости и случайности.

Противоположность между существенным и несущественным, необходимым и случайным Гегелем-диалектиком преодолевается в учении о конкретности понятия—на эту сторону гегелевского учения о случайности обратил внимание Ленин. Вместе с тем, Гегель-идеалист, в конечном итоге приходящий к ничто абстрактной идеи, т. е. возвращающийся к отправному ничто всей своей системы, вращающейся в пустоте отвлеченности,—оказывается не в силах дать истинное объяснение реальной действительности, а тем самым и проблема случайности оказывается в этом смысле неразрешенной. Если Гегель указывает, что переход от несущественного к существенному есть переход от абстрактного к конкретному, то это его заявление следует сопоставить с тем фактом, что сама гегелевская конкретность ограничена рамками идеалистического миропонимания. Равным образом и та трактовка категорий необходимости и случайности, какая имеет место в «Науке логики», всецело лежит в плоскости объективно-идеалистического понимания действительности. Таким образом гегелевский конкретный идеализм при разрешении проблемы случайности, в конечном итоге, запутывается в логическом противоречии: стремясь постигнуть существенное, он отбрасывает объективную реальность как нечто случайное, несущественное и тем самым проходит мимо самого существенного; вся сложная и глубоко ценная работа над выяснением диалектической природы случайности служит только преддверием для учения об абстракции абсолютного духа, как белка в колесе вертящегося в заколдованном круге, в котором начало и конец—ничто. Лишь диалектическому материализму удалось правильно поставить и в основном разрешить проблему случайности,—и в этом была своя историческая необходимость.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ [1].

А. И. Рубин. Мне кажется, что в докладе т. Дынника проблема случайности не разбиралась во всей той широте, которую ей можно придать хотя бы у Гегеля. Существует несколько видов случайности: 1) абсолютная случайность или случайность беспричинная, 2) случайность конечных вещей (объективная случайность), 3) случайность встречи двух рядов и 4) случайность как произвол. В докладе совсем не упоминалось о случайности как встрече двух рядов,—может быть, потому, что у Гегеля это понятие не играет заметной роли. Не разбиралась также и весьма интересная проблема случайности, как произвола,—может быть, опять-таки, за неимением у Гегеля достаточного материала по этому вопросу.

[1] Прения даются в сокращенном виде.

Гегелевскую концепцию случайности я себе представляю следующим образом. Основным здесь является, по-моему, развитие глубокой мысли Спинозы о случайности и разрушимости всех конечных вещей (королларий к т. 31 второй части «Этики»). При этом у Гегеля подчеркивается, что конечные вещи суть нечто *объективно*-существующее, и, следовательно, случайность этих конечных вещей понимается как *объективная* случайность (Спинозу Гегель считал, как известно, акосмистом).

Очень важно обратить внимание на то, в каком контексте выступает в Гегелевской «Логике» понятие случайного. Третий отдел 2-й части «Большой Логики» начинается с категории абсолютного, которая берется в том виде, как она развита у Шеллинга и у шеллингизированного Спинозы. Переходя далее к понятиям атрибута и модуса, Гегель показывает, что модусы в шеллингианско-спинозовском понимании суть лишь результаты внешней рефлексии, не стоящие во внутренней связи и необходимом единстве с субстанцией и не дающие того имманентного перехода бесконечного в конечное и обратно, который требуется истинной философией. Вторая глава этого отдела «Логики» разбирает категории случайности, возможности, действительности и необходимости. И, наконец, в третьей главе мы имеем отношения субстанциальности, причинности и взаимодействия.

Что является основным во всем этом отделе Гегелевской «Логики»? Мне кажется, что основным здесь является выполнение той операции, которая была возвещена еще в Предисловии к «Феноменологии духа». А именно берется субстанция Спинозы и поднимается до понятия субъекта. И производится это таким образом, что методами *Фихте* (т. е. методами диалектики) доказывается, что субстанция должна быть сама собой опосредствована. Этим путем получается категория взаимодействия, которая и составляет переход к третьей части «Логики»,—к учению о понятии.

У Гегеля мы имеем синтез Спинозы (понятого в аспекте Шеллинга) с Фихте. От Шеллинга Гегелём берется созерцательный идеализм, от Фихте—момент диалектики. Синтез получается созерцательно-диалектический.

Основная проблема Гегеля—это поставленная Спинозой и Шеллингом проблема отношения между бесконечным и конечным. С чисто-логической точки зрения может показаться странным, почему в отделе о Действительности после категории абсолютного Гегель переходит к категории случайного. Между тем, все дело в том, что, по мнению Гегеля, отношение случайного к необходимому является основным и самым конкретным выражением отношения конечного к бесконечному (абсолютному). «Категория отношения *случайности* к *необходимости*, говорит Гегель, это та категория, в которой резюмируются и совпадают все отношения конечности и бесконечности бытия случайность есть *самое конкретное определение конечности бытия*, и точно так же необходимость есть бесконечность бытия в ее самом конкретном определении» (*Hegels* Werke hrsg. v. Glockner XVI, 434). Таким образом, решая проблему случайности, Гегель дает решение Шеллинговской проблеме бесконечного. Необходимое—это субстанция; случайное же—акциденция, модус. Отношение случайного к необходимому есть отношение акциденции к субстанции. Сам Гегель подчеркивает, что сущность акциденции заключается в ее случайном характере. «Уже самое слово «случайность» (Zufälligkeit) акциденция, выражает бытие как нечто такое, определенность чего состоит в том, чтобы «падать» (fallen, погибать)» (там же, с. 435).

Гегель считал, что система Спинозы есть система Шеллинга, система абсолютного тождества, лишенного всякого самоопосредствования. Задача состояла в том, чтобы внести в эту систему принцип самоопосредствования, принцип диалектического самодвижения. Этот принцип Гегель нашел у Фихте. Но в то время, как у Фихте основной и первоначальной категорией являлась категория «Я», игравшая у него роль Спинозовской субстанции,—у Гегеля категория субстанции достигается лишь в самом конце объективной Логики, в результате развития всех предшествующих категорий.

Если я правильно понял докладчика, у него был такой намек, что Гегель местами трактует случайность как нечто несуществующее. У Гегеля, действительно, есть такие моменты. Но по существу дела, если мы обратим внимание на то фундаментальное обстоятельство, что по Гегелю субстанция немыслима без акциденций, то мы увидим, что категория *объективной* случайности входит необходимой и весьма существенной составной частью в диалектичесукю систему Гегелевских категорий.

Теперь я перейду к понятию случайности, как произвола. Это понятие встречается у Шеллинга. У Гегеля вопрос о произволе, как о способности начинать самостоятельный ряд событий, т.е. вопрос о практическом деянии, не ставится. Зато для Маркса проблема революционной практики имеет фундаментальное значение.

Если мы обратимся к истории философии и возьмем таких философов, как Демокрит, Гоббс, Гольбах, то мы увидим, что в этом ряде философских систем объективная случайность совершенно отрицается и признается только абсолютная необходимость. Если мы перейдем к другому ряду философов—Платон, Декарт, Кант,—то здесь мы найдем, наряду с механистической трактовкой природы, признание абсолютной случайности в человеке. Кант ставит проблему о возможности (для человека) начинать совершенно новый, самостоятельный ряд действий. Наконец, третий ряд философов—Аристотель, Спиноза, Гегель—исходят из проблемы качества и выдвигают категорию *объективной* случайности.

Если Кант ставит вопрос о случайности, как о произволе, как о возможности начинать новый самостоятельный ряд, то у Фихте мы имеем ту же проблему, как проблему абсолютной свободы. Фихте является крайним выразителем идей Великой французской революции. Но после Фихте мы наблюдаем убывание этой революционности: у Шеллинга выступает на первый план момент созерцания, хотя в постановке проблемы истории у Шеллинга, прошедшего школу Фихте, еще сохраняется момент произвола. У Гегеля же этот произвол отпадает. В противоположность этому, у Маркса мы имеем опять возвращение к Фихте, к революционной стороне его философии, к принципу произвола (правда, на совершенно новой основе). Уже у молодого Маркса проводится мысль о превосходстве Эпикура и Лукреция над Демокритом в вопросе о возможности самостоятельного, свободного действия. У зрелого же Маркса мы имеем тот же синтез, который мы видели у Гегеля, но только обратно поставленный: у Спинозы или у французских материалистов берется природа, у Фихте—активность практики. Получается активность человека, способного изменять внешнюю природу, общественное устройство и самого себя.

Поэтому в проблеме случайности Маркса, как практического деятеля, интересовал не столько вопрос об отношении конечного и бесконечного (объективная случайность конечных вещей—как это было у Гегеля), сколько вопрос о том, в какой мере мы можем начинать новый самостоятельный ряд действий. И если у французских материалистов мы имели абсолютный фатализм, а у Канта—абсолютную случайность (способность начинать совершенно новый, самостоятельный ряд), то у Маркса мы находим синтез того и другого в виде учения о производительных силах и производственных отношениях. Необходимость создается производительными силами, но на основе этой необходимости остается место для свободы. Правда, человек не может начинать абсолютно самостоятельный ряд, но он может значительно изменять историю, ускорять или задерживать ее развитие. Вспомним, например, известное письмо Маркса к Кугельману (от 17 апреля 1871 года), где Маркс высказывает мысль о том, что победа Парижской Коммуны была бы возможна, если бы не та случайность, что пруссаки стояли под Парижем. «История имела бы очень мистический характер,—пишет Маркс,—если бы случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но *ускорение* и *замедление* в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых

фигурирует также и такой «случай», «как *характер людей*, стоящих вначале во главе движения».

Всем известный 1-й тезис Маркса о Фейербахе как раз и подчеркивает, что из домарксовских философских направлений *деятельную сторону*, в противоположность материализму, развивал *идеализм*. У нас иногда думают, что Маркс имел здесь в виду главным образом Гегеля. Я считаю, что это неверно: больше всех развивали «деятельную сторону» *Фихте* и Кант, гораздо слабее Шеллинг и Гегель.

В. А. Попова-Сурьянинова. Предыдущий оратор почти не обсуждал доклада М. А. Дынника и ограничился только тем, что, наметив четыре различных вида случайности, сделал ряд дополнений по вопросу о случайности, как моменте отношения конечного к бесконечному. Что же касается случайности, как встречи двух рядов, и случайности, как произвола, то сам А. И. Рубин вынужден был признать, что у Гегеля по этим вопросам нельзя найти достаточного материала. Я считаю, что докладчик широко использовал все основные произведения Гегеля, где трактуется проблема случайности, и не затронул только одной философии религии, где вопрос о случайности рассматривается в несколько ином аспекте.

Общее изложение и анализ проблемы случайности у Гегеля даны в докладе, по-моему, очень хорошо. Но все же доклад производит впечатление слишком абстрактного изложения. Правда, в этом виноват в первую голову сам Гегель, но все-таки мне кажется, что можно было бы привлечь ряд конкретных примеров и иллюстраций, хотя бы из Гегелевской философии истории, и на этих примерах показать, как проявляется в истории случайность и необходимость. Без этого некоторые места доклада могут показаться чересчур абстрактными и даже иногда, в момент ослабления внимания, софистическими.

Б. С. Чернышев. Я начну с нескольких замечаний по поводу выступления А. И. Рубина. Мне кажется, что А. И. Рубин переоценивает философию Фихте, в частности момент активности и самоопосредствования у Фихте. Разве абсолютный дух Гегеля не является тоже в известном смысле активным началом? С другой стороны, можно выставить общий тезис о том, что всякий идеализм включает в себе элементы дуализма. Так было и у Гегеля. И докладчик это совершенно правильно отмечал, проводя ту мысль, что категории случайности и необходимости теряют у Гегеля свое диалектическое значение и ценность в той мере, поскольку Гегель был метафизиком и идеалистом. Фейербах был прав, называя Логику Гегеля теологией, ибо как бы Гегель ни пытался растворить свое бесконечное и абсолютное в конечных вещах, все-таки его абсолютный дух сохраняет черты некоторого особого метафизического начала позади конечных и разрушимых вещей.

По поводу намеченного А. И. Рубиным различения четырех видов случайности у меня возникает вопрос, есть ли что-нибудь общее между ними и является ли эта классификация исчерпывающей. Сам А. И. Рубин не указал связи между своими четырьмя видами случайности.

Докладчик хорошо показал нам то место, которое занимает категория случайности в общем диалектическом ряду Гегелевских категорий, и отмечал, что проблема объективной случайности не получает у Гегеля удовлетворительного разрешения именно в силу идеалистического характера Гегелевской системы. Я хотел бы задать вопрос докладчику, в какой мере являются ценными с точки зрения диалектического материализма те переходы категорий случайности, формальной возможности, формальной действительности, реальной возможности и реальной действительности, которые преподносит нам Гегель. В каком смысле можем *мы* говорить о формальной действительности или о формальной возможности? Могут ли эти категории иметь для *материалистической* диалектики такое же значение, какое они имеют в идеалистической диалектике Гегеля?

А. Ческис. Я согласен с т. Поповой, что доклад т. Дынника было очень трудно слушать по причине его крайней абстрактности. Местами он производил впечатление некоторой игры понятиями, за которой трудно уследить. Недостатком доклада является, по-моему, также и то, что утверждаемая докладчиком мысль о невозможности для идеалиста Гегеля дать правильное разрешение проблемы случайности, каковое правильное разрешение дается-де только диалектическим материализмом,— что эта мысль осталась лишь декларацией и не сопровождалась демонстрацией того, *как* Маркс и Энгельс использовали Гегелевское понимание случайности и какое материалистическое содержание они вложили в эту идеалистическую (у Гегеля) категорию. В конце концев осталось неясным, что же такое представляет собою у самого Гегеля категория случайности и в каком отношении находится Гегелевское понимание случайности к тому пониманию, которое мы имеем в марксизме.

Теперь относительно выступления т. Рубина. Мне кажется, что т. Рубин допустил известный перегиб палки и неправильно толковал Маркса, пытаясь его фихтезировать. Никто не отрицает, что активность практики имеет для Маркса фундаментальное значение. Но при чем тут «произвол» и «способность начинать совершенно самостоятельный ряд действий»? Вообще вместо «произвола» следовало говорить о «свободе». Вопрос же о свободе и ее отношении к необходимости нельзя смешивать с вопросом о взаимоотношении случайности и необходимости. Свобода и случайность суть отдельные, самостоятельные категории и требуют особого рассмотрения.

Я допускаю возможность такого толкования, что природа и производительные силы репрезентируют необходимость, а человеческая деятельность—свободу и что история человечества представляет собой единство свободы и необходимости. Но при этом лучше п слово «свобода» и слово «необходимость» взять в кавычки.

Говоря о случайности в истории, Маркс и Энгельс большей частью имеют в виду или так называемых «великих людей», или перекрещивание различных рядов событий.

Роль индивидуальных особенностей тех или иных исторических личностей тоже сводится некоторым образом к перекрещиванию различных рядов. Об этом довольно много писал Плеханов. О случайности, как о форме проявления необходимости, ценнейшие замечания имеются у Энгельса.

Н. Бобровников. Мне кажется, что основным недостатком доклада является то, что в нем не показано, что именно *диалектический метод* был основанием и орудием того понимания категории случайности, которое нам здесь изложил т. Дынник. Если я правильно понял докладчика, он говорит, что всякая случайность есть в то же время необходимость, а всякая необходимость есть в то же время случайность. Но разве в этом состоит истинная диалектика этих категорий? Я считаю, что основным диалектическим моментом является здесь *момент развития*. Если выпадает развитие, то диалектики нет. Вот я и думаю, что докладчику следовало показать, каким образом *на основании развития* меняются места этих двух категорий, так что случайность *становится* необходимостью, а необходимость случайностью.

Возьмем какой-нибудь конкретный пример. То обстоятельство, что В. И. Ленин родился в г. Симбирске, является случайным по отношению к тому, что Ленин впоследствии стал великим вождем Октябрьской революции. Но то обстоятельство, что Ленин в определенный момент своей жизни воспринял теорию революционного марксизма,—это, несомненно, имело *существенное* значение для его роли в революционном движении. Здесь мы имеем уже не случайность, а необходимость. Усвоение Лениным революционного марксизма было одной из необходимых предпосылок того реального процесса развития, который привел к Октябрьской революции, подготовленной и совершенной под руководством Ленина. Тут мы констатируем реальную связь не в понятии только, а в действительном *развитии* событий.

Поскольку у т. Дынника этот момент развития в его анализе понятия случайности выпал, мне и кажется, что самое ценное в диалектическом учении о случайности не получило в докладе достаточного выражения. Доклад много выиграл бы, если бы т. Дынник попытался проверить свои рассуждения на конкретном научном материале. В этом случае он избежал бы той недооценки момента развития, которой, по-моему, страдает его слишком абстрактное изложение проблемы случайности.

Теперь несколько слов о выступлении т. Рубина. Я считаю, что т. Рубин неправильно толкует 1-й тезис Маркса о Фейербахе. По т. Рубину выходит, что Маркс имел здесь в виду активное отношение к объектам *в гносеологическов смысле*. Такая гносеологическая активность обязательно ведет к субъективному идеализму, и потому Беркли *в этом* смысле должен быть признан еще более активным, чем Фихте. Что же касается Маркса, то он говорил, конечно, не об этой гносеологической активности, а об активности *исторической*. Маркс указывал, что, познав мир, нужно на основании этого знания переработать, изменить, преобразовать мир. В 1-м тезисе о Фейербахе, говоря об идеалистах, развивавших активную сторону, Маркс имел в виду не Канта и Фихте, а главным образом Гегеля. Ибо Гегель более всех других идеалистов проник в познание исторической активности,—в познание законов человеческой истории под углом зрения активного изменения этой истории.

С. Турецкий. Я согласен с т. Поповой и другими товарищами, отмечавшими крайне абстрактный характер доклада. Но сейчас я скажу несколько слов только по одному из вопросов, затронутых т. Рубиным, а именно, по вопросу о взаимоотношении так называемой «случайности конечных вещей» и случайности, как встречи двух или многих рядов необходимости. Я считаю, что оба эти вида случайности составляют в сущности одно и то же. Не случайно, что в *марксизме* категория случайности выступает, с одной стороны, как проблема столкновения рядов, а с другой стороны—как форма проявления необходимости, т. е. как «случайность конечных вещей». Гегелевское «истинное бесконечное» следует понимать в смысле *закона* определенной области явлений, а отношение его к конечному как форму проявления этого закона в отдельных, случайных вещах, т. е. в конкретном многообразии явлений. Конкретная необходимость, таким образом, включает в себя и момент случайности. Абстрактная необходимость существует лишь как момент необходимости конкретной, в неразрывной связи и единстве с другим моментом—случайностью. Ни одна вещь, ни один процесс, ни одно «качество» не существуют изолированно, так сказать «в себе»; они необходимо находятся во взаимодействии с окружающими их явлениями и только в этом взаимодействии, в этом «столкновении» с рядами других «необходимостей» они «проявляют» себя. Отсюда следует, во-первых, что необходимость невозможна без случайности. В этом смысле («случайное» необходимо) высказался Гегель, и на эту его мысль ссылается Энгельс в известном фрагменте о случайности («Диалектика природы»).

Отсюда следует, во-вторых, что случайность как форма проявления необходимости и случайность как столкновение рядов необходимостей—лишь две стороны одного и того же процесса. Мысль эту можно проиллюстрировать на примере общественных формаций. Так, абстрактный капитализм (то же можно сказать и о феодализме и о других формациях) никогда реально не существовал. Общие законы капитализма действуют в многообразных, конкретных формах его проявления. Эти формы проявления капитализма обусловлены конкретными историческими условиями его существования в данной стране, т. е. столкновением его «внутренней необходимости» с рядами других необходимостей во времени (предшествующие формации) и в пространстве (другие страны). То же можно сказать и о биологическом виде. Вид конкретно существует, «проявляется» в форме разновидностей («случайные различия индивидов внутри отдельных видов», Энгельс). С другой стороны, эти разновидности образуются благодаря взаимодействию данного вида с окружающей его средой.

Случайность, следовательно, не представляет собой чего-то исключительного: она существует необходимо. Часто употребляемые примеры, где случайность выступает как столкновение *двух* рядов необходимостей и как нечто исключительное (напр., кирпич, упавший на голову прохожего) является лишь частным случаем случайности и нисколько не противоречит этим общим положениям.

Таков рациональный смысл гегелевского учения о случайности. Правда, в своей *системе* он истолковывает достигнутые им диалектические результаты в идеалистическом духе и тем самым обесценивает их. Но нас сейчас прежде всего интересует именно эта методологическая сторона учения о случайности, которая была широко использована основоположниками диалектического материализма.

А. Арутюнянц. Доклад т. Дынника подвергся в прошлый раз довольно сильным нападкам. Отмечалась чрезвычайная абстрактность доклада, его неполнота, декларативный, по преимуществу, характер большинства выдвинутых докладчиком положений, в частности, даже таких серьезных, как отличие марксовой постановки вопроса о случайности от гегелевской или самого утверждения объективности случайности и пр. Правда, доклад т. Дынника, как я позже узнал, является только главой из подготовляемой им книги. Но это обстоятельство вряд ли является отводом сделанных ему упреков, поскольку т. Дынник выступил здесь с *самостоятельным* докладом.

Основное содержание доклада т. Дынника свелось к *описанию* высказываний Гегеля о случайности, причем центр всего изложения занимало разъяснение тех четырех пунктов гегелевской формулировки учения о случайности, которые приводит в «Диалектике природы» Энгельс. Эти четыре пункта действительно имеют фундаментальное значение для диалектического учения о случайности, требуют выяснения заключенного в них рационального смысла.

Но т. Дынник ограничился только простым приведением расширенного текста, в котором эти положения встречаются у Гегеля, и некоторыми комментариями к этому тексту. Так что подлинного разъяснения указанных положений и их материалистической интерпретации мы в докладе не имели.

Прения по докладу были достаточно оживленными, но мне кажется—не очень продуктивными. В частности, вопрос о случайности, как произволе, вряд ли имеет основания в марксистской методологии.

Категория случайности имеет важнейшее значение для марксистской методологии. К диалектико-материалистическому пониманию категории случайности лучше всего подойти тем путем, каким шел и Энгельс в своем известном фрагменте о Случайности и Необходимости, а именно, через критику, с одной стороны, механического детерминизма, отрицающего объективность случайности вообще, и, с другой—через анализ метафизического понимания случайности, как чего-то абсолютно-противоположного необходимости. Только на фоне анализа этих точек зрения можно по-настоящему понять ту якобы парадоксальную игру словами, которая имеется в формулировках Гегеля, приводимых Энгельсом.

Нет смысла долго останавливаться на точке зрения механического детерминизма. Она достаточно развенчала себя и исторически и в наши дни. Для кратенькой иллюстрации возьму тот пример, которым оперирует т. Бухарин для доказательства субъективности случайности,—пример случайной встречи знакомого на улице. Пример, надо сказать, чрезвычайно неубедительный. Когда я говорю, что я случайно встретился на улице с таким-то человеком, то это означает вовсе не то, что мне неизвестны причины, приведшие этого человека на данную улицу в данное время, ибо я могу услышать от него самый подробный рассказ об этих причинах, и все-таки наша встреча не перестанет от этого быть тем, что мы называем случайностью. В этом примере мы имеем самый обыкновенный случай пересечения независимых причинных рядов.

Еще более остроумны в вопросе о случайности наши механисты, когда утверждение субъективности случайности они совмещают с обычными в их устах упреками, что деборинцы опираются *на случайные* высказывания Энгельса в «Диалектике природы». Одно из двух: или у Энгельса есть случайные высказывания, тогда случайность—категория вполне объективная, или их нет, но тогда деборинцы опираются, очевидно, на совершенно необходимые положения Энгельса.

Для выяснения диалектической трактовки категории случайности надо было бы подробнее остановиться на второй из критикуемых Энгельсом концепций случайности, на точке зрения метафизики, признающей объективность случайности, но совершенно отрывающей ее от категории необходимости. При таком абсолютном противопоставлении случайности необходимости с особой резкостью выпячивается вопрос об объективности случайности, и я бы рискнул заметить, что в наших спорах с механистами мы иногда не выходили за границы такой метафизической трактовки вопроса о случайности. Случайность выступает здесь как нечто несущественное и противопоставляется необходимости, как *единственно* существенному. Такая метафизическая трактовка, с моей точки зрения, является совершенно неизбежным этапом всякого научного познания, но должна быть только этапом, связанным с анализом. Без такой трактовки случайности нельзя установить никакой закономерности вообще. Для того, чтобы от непосредственно данного чувственного многообразия перейти к познанию общих закономерностей, к познанию «абстрактной всеобщности», мы неизбежно отвлекаемся от тех или иных сторон явления, как несущественных, случайных, и выделяем необходимое, существенное. И в этом противопоставлении, в порядке анализа, существенного несущественному, случайному, и то и другое фигурируют как нечто вполне объективное. Такого рода анализ явлений одинаково признается, конечно, и материалистами и идеалистами. Но в то время как идеалисты (Риккерт, например) настаивают на *субъективности* принципа выделения существенного, материалисты исходят из признания *объективности* обеих сторон (существенной и несущественной) в самих изучаемых вещах. Этот этап абстрактного противопоставления существенного несущественному, необходимого случайному характеризует всякое индуктивное знание. Остановка на этом этапе приводит к метафизической ограниченности, для которой характерна абстрактная необходимость и абстрактная случайность, причем только первая признается единственно достойным объектом науки. Для перехода к диалектическому пониманию категории случайности достаточно указать, что как раз Дарвин и Маркс показали, что то, что считалось (и было в действительности) несущественной, случайной стороной явления, оказывается, в сущности, иногда самой существенной, именно потому, что она как раз оказывается *условием развития* изучаемых явлений. Накопление случайных отклонений в отдельных особях приводит к изменению биологических видов. Подобным образом Маркс показал, что обмен, бывший объективно случайным явлением в первобытной общине, не характерным для нее, накопляясь и развиваясь, привел к разрушению этой общины, к разделению труда между общинами, к стиранию, таким образом, границ между ними и т. д.

Вопрос о случайности как условии развития не был затронут совершенно в наших прениях и докладе, а между тем именно эта сторона случайного снимает метафизическую концепцию случайности и приводит к точке зрения единства и взаимного проникновения случайности и необходимости, приводит к пониманию той *конкретной необходимости*, которая обусловливает *специфическую* закономерность данного явления. Вопрос о случайности, как необходимом условии развития подводит к другому: к вопросу о переходе случайного в необходимое и необходимого в случайность. В последнем вопросе неизбежно вскроется и несостоятельность метафизического противопоставления абстрактной необходимости—абстрактной случайности, и, с другой стороны, проблема случайности конечных вещей увяжется с проблемой случайности, как

пересечения различных причинных рядов. Всякое конечное бытие оказывается случайным именно потому, что ни одно явление не определяется одной только внутренней необходимостью, поскольку всякая вещь находится в многообразных связях с другими вещами. Вся совокупность связей составляет в известном смысле конкретную необходимость данного явления, с точки зрения которой т. н. существенное, т. е. абстрактная необходимость, сама определяется как случайность. С другой стороны, конкретные явления как случайные оказываются только *формой проявления* общей, абстрактной необходимости, формой проявления закона. Что случайное необходимо, а необходимость сама переходит в случайность,—это чрезвычайно популярно показал Плеханов как раз на его известном примере с пересечением причинных рядов. Появление европейцев в Америке было случайностью с точки зрения общественного развития Мексики или Перу, но с момента появления европейцев эта случайность обратилась в необходимость, определившую все дальнейшее развитие перуанцев и мексиканцев. С другой стороны то, что было необходимым результатом истории этих народов до появления европейцев—их общественный строй, определивший их развитие до испанского завоевания—обратился в некотором смысле в случайность по отношению к их развитию после завоевания.

И еще последнее: диалектическая концепция случайности тесно связана с более углубленным пониманием проблемы качества, проблемы специфичности. Уже Плеханов подчеркивал, что как раз случайное обусловливает *индивидуальные* особенности того или иного явления. Напомню, какое большое значение придавал Ленин специфическим индивидуальным особенностям русского капитализма. Эти индивидуальные особенности, являясь *случайными* по отношению к общим закономерностям капитализма и империализма, явились тем не менее как раз *необходимыми* условиями для возможности пролетарской революции именно в России.

8. А. Сахалтуев. В общем и целом я согласен с основными положениями доклада т. Дынника. Доклад производит впечатление тщательно и аккуратно проработанного. Но он имеет тот недостаток, что в нем не показано с достаточною ясностью, что именно диалектический материализм берет из гегелевского учения о случайности.

Исследуя те или иные гегелевские категории, мы всегда должны проверять их на конкретном материале естествознания или общественных наук. Я постараюсь проверить на двух экономических проблемах, разбираемых Марксом, то единство случайности и необходимости, на котором настаивает Гегель и о котором говорил в своем докладе т. Дынник; этим путем мы получим вместе с тем конкретную иллюстрацию взаимного перехода этих категорий друг в друга.

Первая проблема—это развертывание форм стоимости. Вначале мы имеем «простую, единичную или *случайную* форму стоимости», где два случайных товара противостоят друг другу в акте случайного обмена. Дальнейшее развитие приводит к «полной или развернутой форме стоимости». Обмен стал уже здесь обычным явлением, но отдельный эквивалент, вступающий в обмен, еще *случаен*, хотя вместе с тем и необходим, в качестве одного из членов уходящего в бесконечность ряда товаров-эквивалентов. Наконец, во всеобщей форме стоимости, всякий товар *необходимо* выражает свою стоимость в определенном всеобщем эквиваленте. Денежная форма есть та же всеобщая, но эквивалентом является здесь не *какой-либо* определяющий товар, а *золото*.

В этом развертывании форм стоимости и товар в относительной форме, и товар-эквивалент двигаются от случайного к необходимому. Эквивалент превращается в *необходимый* всеобщий эквивалент, а всякий прочий товар приобретает качество обязательной *необходимой* обмениваемости на деньги. Если в случайной форме обмена (простая, единичная форма) содержится в зародыше форма необходимая (т. е. денежная), то и наоборот, в необходимой форме лежит зародыш ее противоположности—случайной формы обмена. В переходный к социализму период, когда еще не исчез рыночный обмен, пла-

новые элементы нашего хозяйства все более и более превращают рыночный обмен в случайное явление.

Другая проблема—это проблема кризисов. Известно, что в докапиталистическую эпоху кризисы носили случайный характер. При капитализме же—как это подчеркивается у Маркса—они стали необходимым явлением. Теперь, если взять те «кризисы» (хотя здесь лучше употреблять другие термины), которые имеют место в переходный период к социализму,—то эти «кризисы» опять являются некоторой случайностью. Далее. Основная необходимая причина капиталистических кризисов (противоречие между общественными производительными силами и частнохозяйственными отношениями присвоения) реализуется в случайных формах. Перепроизводство основного капитала было той необходимой формой проявления указанной основной причины, которая была характерна для капиталистических кризисов до империалистической войны, но которая в кризисе 1921 года до известной степени отступила на задний план перед другими диспропорциями загнивающего капитализма. Из необходимой формы проявления основного противоречия она превращается в случайную. И наоборот, те диспропорци капиталистического строя, которые раньше выступали как случайные формы проявления основной причины кризисов, теперь приобретают характер необходимости.

А. И. Рубин. В прошлый раз выступавшие после меня товарищи обвиняли меня в «фихтезировании» Маркса за то, что я подчеркивал революционную сторону в философии Фихте и утверждал, что философия Маркса явилась известной реакцией против консервативной стороны Гегеля и, в этом смысле, известным возвращением к более революционно настроенному Фихте. Мне кажется, что дело обстоит именно так. Уже относительно Канта в «Коммунистическом манифесте» отмечается, что его философия была выражением требований первой французской революции. В еще гораздо большей степени отразилась французская революция на Фихте, который специально выступал в защиту этой революции и проводил идеи мелкобуржуазного утопического социализма. С Шеллинга начинается реакция, что же касается Гегеля, то разве не о нем сказано у Энгельса, что «революционная сторона была раздавлена (у него) под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны»?

Перехожу непосредственно к категории случайности. Категория эта может относиться к различным другим категориям, и в зависимости от этого меняется и значение случайности. Случайность относится: к возможности (Спиноза, Гегель), к действительности (Юм), к необходимости (Спиноза, Гегель), к свободе (Кант, Фихте, Шеллинг), к целесообразности (Кант).

Следует различать между абсолютной случайностью и случайностью относительною. Абсолютная случайность у Гегеля не имеет места. Что же касается относительной случайности, то тут можно отметить три вида ее: 1) случайность причинности (или случайность конечных вещей), 2) случайность встречи и 3) случайность произвола. Уже у Аристотеля, который впервые занялся разработкой проблемы случайности, указаны все эти три вида случайности.

Первый вид случайности имеет место, главным образом, в области механических явлений. Например, одно тело толкает другое.

Случайность встречи имеет большое применение в органическом мире: органическая вещь является результатом встречи отцовской и материнской клеточек.

Оба эти вида случайности основаны на необходимости и могут быть сведены к *к встрече*, как более общему понятию (встреча в пространстве и встреча во времени). Гегель приводит классический пример: с крыши падает кирпич и убивает проходящего по тротуару человека. Этот пример может обсуждаться и как случайность встречи, и как случайность причинности. Сам Гегель говорит о нем, что здесь «обстоятельства случайны, результат же необходим» (XVI, 21).

Третий вид случайности—это случайность, как произвол. У Канта и Фихте мы имеем понятие абсолютного произвола, абсолютной свободы: способность начинать новый самостоятельный ряд. У Шеллинга эта случайность произвола начинает основываться на необходимости и теряет характер абсолютной случайности.

У Гегеля категория произвола играет гораздо менее значительную роль, чем понятие случайности конечных вещей, но все-таки она у него не отсутствует. В § 15—«Философии права» Гегель определяет произвол как «случайность, поскольку она есть воля». В § 5 Гегель весьма неодобрительно отзывается объ «отрицательной свободе», как о «фанатизме разрушения всякого существующего общественного порядка», имея здесь в виду эпоху террора. Характерно, что в этой связи он тут же полемизирует против Канта и Фихте. Категорию произвола Гегель отрицает, как абстрактную, атомистическую и связанную с фанатизмом.

Таким образом, поскольку в философии Гегеля основное значение имеет понятие случайности конечных вещей, к категории же произвола Гегель относится отрицательно, я и считаю, что отношение Гегеля к проблеме случайности можно охарактеризовать как *созерцательное* по преимуществу.

Маркс представляет собою реакцию против созерцательно-диалектического идеализма Гегеля. У него мы видим сильнейший акцент на деятельную сторону, на практику. В 1-ом тезисе о Фейербахе Маркс указывает, что материализм до того времени отличался созерцательным характером, идеализм же разрабатывал деятельную сторону. Но у Гегеля мы имеем такой идеализм, который по своему созерцательному характеру более приближается к домарксовскому материализму, чем, скажем, к практическому идеализму Фихте.

В письме к Кугельману (от 17 апреля 1871 года) Маркс ставит возможность победы в зависимость от «благоприятных шансов», в частности, в зависимость от революционного характера вождей.

Если у самого Маркса из указанных мною трех видов случайности главную роль играла категория произвола (в смысле возможности активного вмешательства в ход истории), то у Энгельса более разработаны два другие вида случайности, относящиеся более к области природы. Все три вида случайности трактуются в марксизме на основе необходимости, формою проявления которой они являются.

У Плеханова момент активного вмешательства в ход истории менее подчеркнут, чем у Маркса. Плеханов более напирает на момент встречи двух рядов. В этом отношении у Ленина мы имеем реакцию против Плеханова в виде усиленного подчеркивания активной, революционной стороны. При этом Ленин прямо ссылается на цитированное мною письмо Маркса к Кугельману и резко полемизирует с Плехановым (предисловие к русскому переводу писем Маркса к Кугельману): «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов».

Но, с другой стороны, в «Детской болезни левизны» Ленин предостерегает также и против переоценки революционной *стихии*. По Ленину, революционер должен сочетать в себе величайшую страстность с хладнокровным и трезвым учетом всех конкретных обстоятельств.

Ленин всегда и по самым разнообразным поводам подчеркивал активную, революционную сторону в марксизме. Между прочим, именно вследствие этого он считал «достойной внимания» книгу идеалиста-гегельянца Джентиле о философии Маркса (Джентиле, в отличие от Кроче, подчеркивает практические, активные моменты в диалектике Маркса).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДОКЛАДЧИКА [1]

В прениях по моему докладу некоторые товарищи частично или полностью солидаризировались с выставленными мною тезисами, а вместе с тем мне был сделан ряд критических замечаний и упреков. Многие товарищи отмечали абстрактный характер доклада и трудность его усвоения при слушании. Я полагаю, что такого рода упреки я имею полное право отвести на том основании, что сама тема моего доклада достаточно трудна, я же со своей стороны пытался сделать все для того, чтобы изложение было более легким для усвоения, и с этой целью представил доклад в написанном виде. Тов. Попова заявила даже, что «если остановить свое внимание и *вслушаться несколько менее внимательно*, то получится *впечатление* страшной абстрактности, иногда софистических положений». К этой формулировке присоединился и т. Ческис. По сути дела речь идет, таким образом, не об абстрактности и софистичности доклада, а об недостаточной сосредоточенности внимания некоторых из его слушателей. Доклад свой я читал для товарищей с большой философской подготовкой и потому имел основание претендовать на полное неослабное внимание к тому, конечно, нелегкому материалу, который я представил по вопросу о проблеме случайности у Гегеля. Если бы я читал популярную лекцию о случайности, я построил бы свое изложение совершенно иначе.

Теперь я перейду к отдельным возражениям в том порядке, в каком они были сделаны.

Тов. Рубин пытался внести ряд дополнений, указавши на различные виды случайности. При этом, однако, он сам признал, что у Гегеля очень мало материала по вопросу о случайности, как встрече двух рядов, и по вопросу о случайности, как произволе. На последней проблеме т. Рубин особенно подробно останавливался и развивал здесь мысли, которые представляются мне неправильными и неприемлемыми. Пытаясь связать марксизм не столько с Гегелем, сколько с Фихте, и как бы выбрасывая лозунг: «Назад к Фихте»,—т. Рубин вступает на опасный путь. Проблему произвола следовало бы рассматривать как проблему отношения между свободой и необходимостью. У т. Рубина же имеется тенденция понимать произвол как беспричинное явление, как способность начинать новый самостоятельный ряд. Отсюда у т. Рубина неправильное понимание революционной практики и неправильное толкование Маркса и Ленина. Тов. Рубин упускает из виду то революционное значение гегелевской диалектики, о котором говорили и Маркс, и Энгельс, и Плеханов, и Ленин.

Что касается указания т. Рубина и т. Поповой на то, будто бы в «Философии религии» Гегеля имеется иная трактовка проблемы случайности, чем в тех произведениях Гегеля, которых я, главным образом, касался в моем докладе, то я никакой существенной разницы здесь не нахожу. (Докладчик останавливается на разборе категории случайности в «Философии религии» Гегеля).

Тов. Ческис упрекал меня в том, что я ограничился простой декларацией по вопросу о марксистском понимании учения о случайности. Я должен указать на то, что этот вопрос уже был мною изложен печатно—в статье о Плеханове и в примечаниях к «Анти-Дюрингу» Энгельса, и настоящий мой доклад является дальнейшим *продолжением* этих работ, в которых я подробно разбираю марксистское диалектическое понимание случайности как объективной категории.

Все построение моего доклада имело в виду показать на примере Гегеля, в чем состоит ошибка механистического понимания категории случайности.

Тов. Чернышев поставил вопрос о значении гегелевских категорий формальной возможности и формальной действительности. В докладе я проводил различие

[1] Дается в сокращенном виде.—*Ред.*

между категорией формальной возможности и формальным пониманием возможности. Я считаю, что гегелевская критика формальной возможности была, по существу дела, критикой формального понимания возможности и связана с его общей критикой формальной логики.

Тов. Бобровников упрекал меня за недостаточное внимание к моменту развития. Этот упрек я должен отвести целиком, т. к. я неоднократно указывал в своем докладе, что вопрос о случайности и необходимости у Гегеля тесно связан с вопросом о развитии, о диалектическом ритме понятия.

Тов. Турецкий, в виде дополнения к докладу, высказал интересные мысли по вопросу о взаимоотношении случайности, как формы проявления необходимости, и случайности, как пересечения различных причинных рядов.

Перехожу к выступлению т. Арутюнянца. Тов. Арутюнянц имел возможность в течение двух недель знакомиться с печатным текстом моего доклада. Однако его выступление убеждает меня в том, что эта возможность оказалась для него формальной, а не реальной. Вместо критического рассмотрения поддерживаемых мною положений он слишком поспешно присоединился к «довольно сильным нападкам» прежде выступавших товарищей, и мои возражения им, очевидно, остаются в силе и в данном случае. Хотя и верно, что доклад мой представляет собой главу из подготовляемой мною к печати книги, но я на это никогда не ссылался с целью отвести те или иные упреки, и эта информация т. Арутюнянца к делу не относится. Тов. Арутюнянц заявил, что гегелевские формулировки относительно взаимосвязи случайности и необходимости в моем докладе не получили подлинного разъяснения. Если бы, вместо того чтобы прибегать к подобным сильным оценочным суждениям, не подкрепленным никаким фактическим материалом, т. Арутюнянц ознакомился с текстом моего доклада, то он убедился бы, что по всем четырем положениям Гегеля, приведенным у Энгельса, мною подробнейшим образом было показано, как они друг из друга у Гегеля вытекают. При этом я пользовался при чтении Гегеля тем методом, который был рекомендован Энгельсом в письме к К. Шмидту (от 1 ноября 1891 года) и о котором я считаю вовсе не лишним напомнить.

Тов. Арутюнянц говорил о неполноте моего доклада. Подобное заявление очевидно должно повлечь за собой если не изложение и критику тех сторон учения Гегеля, которые не были затронуты в докладе, то, по крайней мере, авторитетное указание хотя бы на главнейшие опущенные стороны вопроса. Но напрасно я ждал подобного указания. Во всем своем выступлении т. Арутюнянц не затронул ни одного пункта, который не разбирался бы в моем докладе, поскольку это касалось Гегеля. При этом т. Арутюнянц допустил некоторые неправильные формулировки. Например, говоря о случайном, как несущественном, и противопоставляя по этому вопросу идеалистическую точку зрения материалистической, т. Арутюнянц заявил, что материалистическая точка зрения признает объективность случайности. Между тем далеко не всякий материализм признает объективность случайности.

Уклонившись от реальной критики доклада, т. Арутюнянц предпочел более легкий путь: *бегло повторил* то, что уже достаточно *основательно выяснено* в нашей дискуссии с механистами. Очевидно т. Арутюнянцу неясно, что задача исследовательской работы (в данном случае о гегелевской категории случайности) состоит *не в повторении* уже известных, хотя бы и правильных положений, *но в применении диалектического метода* к новому, еще неисследованному или мало исследованному материалу.

ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ И МАТЕРИИ У НЕОРЕАЛИСТА АЛЕКСАНДЕРА

Доклад Д. Квитко [1]

С. Александер является одним из самых выдающихся философов английского неореалистического направления,—автором книги: «Space, Time and Deity», в которой он пытается разрешить проблемы пространства, времени, материи, сознания и т. д. Появление этой книги было отмечено буржуазными философами как событие огромнейшей важности; говорилось, что труду этому суждено оставить глубокий след в философской литературе, как одному из самых значительных произведений XX в. (первое издание появилось в 1920 г.).

Книгу эту можно было бы назвать «Мир как пространство и время», ибо в ней все в конечном счете сводится к пространству-времени. Уже из одного этого видно, что Александер претендует на объективизм, реализм, но, как мы покажем дальше, его реализм далек от материализма. Александер сбивается то в метафизический реализм, напоминающий средневековый реализм, то в механизм, и хотя он старается свести свою философию к реалистическому монизму, его отношение к религии выдает его идеалистическую физиономию, как ни тщательно он старается ее скрыть. Правда, божество у него не играет роли первопричины, а является следствием, этапом в развитии мира или тем, что он называет—пространством-временем, но в каком бы наряде божество ни появлялось, в наряде ли эволюции или первопричины, фидеизму, идеализму широко распахиваются двери.

«Я равнодушно прохожу,—говорит он,—мимо насмешки Аристофана, направленной по адресу одного из софистов того времени, сказавшего, что «вихрь» («vortex») изгнал Зевса и царствует вместо него. Предметы опыта—вихри—имеют место в субстанции Пространства-Времени, а «всеобщность»—закон их построения. Но я надеюсь, что мне удастся показать в конце, как Вихрь снова водворяет Зевса на трон, более обеспеченный и более почетный» [2].

Здесь уже вполне ясно выступает идеализм нашего философа, который не желает ссориться с наукой, не признающей первопричины, и протаскивает божество через черный ход философии, при этом употребляя схоластические выверты. Таким образом и религия удовлетворена и права науки гарантированы. Что божество часть мира, детище мира—это явное поражение для религии, но поражение, при котором религия все же что-нибудь спасает. Зато религии он «обещает», что закрепит за ней такую позицию, при которой божество может спокойно царствовать, вроде английского короля, права которого сильно ограничены, но который «беспечно» сидит на троне. Английская политика оказывает свое влияние и на философские дела.

---

[1] Зачитан в Институте философии Комм. Академии 16. V 1929 г.

[2] «Space, Time and Deity», London, Macmillan, 1927, p. 236.

Александер критикует философов, рассматривающих время и пространство как вместилище, в котором содержатся вещи. Ограниченность такой точки зрения, по Александеру, заключается в том,что связь вещей с пространством, в котором вещи находятся, почти случайна. На опыте мы видим,—говорит он,—что вещи находятся в тесной связи с пространством и временем и не только находятся в определенной связи, но и занимают пространство, имеют форму и подвержены изменениям во времени.

Хотя, по его мнению, мы могли бы ограничиться анализом отношений, в которых находятся между собою части, однако такой подход был бы слишком узок, слишком схематичен и отнюдь не соответствовал бы действительному отношению вещей, с одной стороны, пространства и времени,—с другой.

На языке философов XVII в. вещи и события суть «модусы субстанций»—протяженности и длительности. С этой точки зрения, качества, как цвет и др., являются частичной характеристикой протяженности, т. е. то, что мы видим, не есть протяженный цвет, а наоборот—окрашенная протяженность. При таком взгляде упрек, брошенный по адресу Канта, что возможно якобы себе представить пространство без материальных вещей, но нельзя вообразить мир вне пространства,—является по мнению Александера совсем незаслуженным, и в этом отношении он вполне присоединяется к Канту.

Взгляд Александера об отношении вещей или событий к пространству-времени состоит в том, что сущность пространства и времени вовсе не сводится лишь к порядку сосуществования вещей или их следствия. Пространство и время у него не формы существования материи: это то вещество, из которого предметы состоят, и все многообразие мира есть комплекс пространства-времени. Наше познание о пространстве-времени нам доставляют наши чувственные восприятия. Хотя наши органы восприятия доставляют нам отрывки, однако мы их воспринимаем как фрагменты целого, а не как части, из которых мы приходим к понятию целого.

Когда мы говорим о пространстве-времени как о непрерывном целом, в котором различимы точки и моменты, мы выходим за пределы чувственных восприятий, мы пользуемся понятиями, умозрительными построениями. Даже самое элементарное содержание нашего опыта полно таких понятий. Примерно, какой-нибудь предмет определенного цвета и формы мы воспринимаем как человека, а не только как цвет и форму, хотя мы воспринимаем лишь цвет и форму того, что мы называем человеком. Таким образом, благодаря нашей интерпретации того, что мы воспринимаем, наше представление, собственно говоря, не реально, а «идеально»—воображаемо. Образ человека складывается у нас из того, что мы чувственно воспринимаем, дополненного нашими мыслями, воображением. Познание пространства и времени достигается тем же путем, как и познание других объектов нашего опыта, т. е. из чувственных восприятий, обработанных нашим мышлением. Человек может чувственно воспринимать только ограниченные протяжения, однако в своем опыте он познает, что один отрезок пространства граничит с другим, или содержится в более обширном отрезке пространства.

На основании всех этих данных мы приходим к понятию протяжения, далеко выходящему за пределы наших чувственных восприятий. Это делается отчасти при помощи нашего воображения, но главным образом при помощи понятия, выработанного из опыта построения одного отрезка пространства из меньших отрезков протяжений и из точных измерений длины. Не только бесконечное пространство, но и огромные протяжения вообще можно только вообразить, но воспринять чувственно—невозможно. Без посредства разума наш опыт был бы очень ограничен.

Точно так же мы не воспринимаем непосредственно точек (пространства) или моментов (времени), а длительность и протяженность. Но опыт нас учит, что длительности и протяженности свойственна бесконечная делимость. При помощи метода, обратного тому, посредством которого мы получаем понятие бесконечного пространства и времени, мы и приходим к понятию бесконечно-малых отрезков времени и простран-

ства (т. е. к понятию—точка или момент). Такое умственное построение позволительно лишь при условии, если мы будем иметь в виду, что точка или момент изолированы от других точек или мгновений.

«Что эти эксперименты—идеальные конструкции,—говорит Александер,—не дает еще нам права притти к заключению, что они не действительны, как мы не имеем права считать, что спина какого-нибудь человека недействительна только потому, что я ее не вижу, а только представляю себе. Чувственное восприятие не имеет монопольного права на познание действительности. К понятию действительности мы приходим при помощи всех наших умственных способностей. Требуется же для этого одно—последовательность» [1].

Итак, представления о бесконечности пространства и времени и об их непрерывности вырабатываются нашим опытом при помощи мышления. На основании данных чувственного восприятия мы приходим к выводу, что каждый отрезок пространства есть часть большего протяжения. Понятие же бесконечного пространства, как было сказано, получается из данного нам в чувственном восприятии пространства, переработанного мыслью. То, что мы чувствуем как самое большее протяжение, мы и принимаем за все пространство. Понятие бесконечного пространства—положительно, а понятие ограниченного пространства—отрицательно, ибо не то бесконечно, что не является конечным, но конечно то, что не бесконечно. «В этом смысле Пространство или Время есть бесконечный предмет, первичный по отношению к каждой его части» (с. 42).

«Пространство и Время,—по словам Александера,—бесконечны, потому что они не нуждаются ни в чем другом для своего существования. Вы можете выбрать любую часть, согласно любому закону выбора, и вы найдете, что этот выбор сам бесконечен. Вот почему круг рассматривался как символ целого, ибо при вращении он возвращается к самому себе» (с. 43).

Как мы видим, Александер далек от метода познания, который делает своим исходным пунктом только чувственное восприятие. Он отвергает чистый эмпиризм. Согласно его взгляду, чувственное восприятие дополняется, интерпретируется мышлением. Понятие «всеобщность» не есть простая абстракция, не существующая объективно, как утверждает прагматизм. Александер также не согласен со взглядом рационалистов-платонистов (некоторых неореалистов), у которых «понятие» имеет свое отдельное существование. Александер соединяет оба взгляда. Так как в созерцании нам даны и пространство и время и так как все дано в пространстве и связано во времени, поэтому, заключает наш философ, примат всего—пространство-время. Но Александр забывает про свое обещание держаться в рамках опыта. Трактуя о примате пространства-времени, он впадает в чистый рационализм и совершенно упускает из виду материю. Допуская существование формы материи и движение,—условия существования материи—пространство-время,—он, однако, стушевывает и в конце концов сводит на-нет то, формами чего они являются, а именно—материю.

Уже с первых рассуждений о примате целого над частью, о его понятии протяженности и длительности, которое в своей совокупности исчерпывает всю природу, видно, что эти формы материи он делает краеугольным камнем мироздания, единственной субстанцией всего; что этими сущностями он желает исчерпать всю природу.

Сказать, что понятие бесконечного положительно, а понятие конечного отрицательно—значит создавать какие-то искусственные барьеры между ними. Что часть меньше целого, что часть противополагается целому, из этого еще не следует примат целого. Такое рассуждение приближает его к схоластическому толкованию. Но так ставить вопрос—односторонне, ибо не все конечное вторично. Надо указать, в каких случаях оно вторично. Ведь целого без частей не бывает, точно так же, как понятие части подразуме-

[1] «Space, Time and Deity», p. 41—42.

вает целое. Противоположные понятия целого и части, бесконечного и конечного синтезируются в единстве. В целом существуют части, каждая же часть есть фрагмент целого. Говорить же безоговорочно о примате бесконечного—значит допускать существование бесконечного без конечного.

Говорить о примате бесконечного можно в другом смысле, а именно: что мир в целом—без причины, causa sui, в то время как конечное имеет причину, но в данном случае Александер не трактует о причинности, а говорит лишь об отношении целого и части в смысле количества, а не причинности, не развития мира. В вопросе о первичности он противопоставляет пространству-времени в целом его части. Если говорить о первичности всего пространства, то это действительно абсурдно, ибо пространство извечно состояло и состоит из частей, и представить себе момент, когда не существовало частей пространства,—бессмыслица. Бессмысленно также говорить о бесконечном времени в смысла первичности, ибо самая текучесть времени не позволяет брать совокупность времени и противопоставлять его частям в смысле первичности и вторичности, ибо время—не источник, из которого моменты вытекают, а состоит из того, что мы называем моментами. Неумение разрешить проблемы целого и части характерно не для одного Александера, а для всего метафизического типа мышления. Не зная, как диалектический материализм разрешает эти вопросы, метафизики невольно возвращаются к старому спору реализма и номинализма: что действительнее, что является приматом—целое или часть, общее или отдельное? Но то, что простительно было для схоластов. непростительно для новейших «создателей» философских систем, ибо это показывает, что они ничему не научились, а многое забыли.

ОТНОШЕНИЕ ВРЕМЕНИ К ПРОСТРАНСТВУ

Обычно представляют себе пространство и время независимыми друг от друга. Александер стоит на противоположной точке зрения. По его словам, «они зависимы друг от друга, т. е. нет Времени без Пространства и Пространства без Времени, как нет жизни без тела, или тела, которое функционировало бы, как живой организм, без жизни. Пространство проникнуто Временем, а Время—Пространством» (с. 44).

Философы XVII столетия видели главные свойства мира в протяжении и мышлении, что же касается длительности, то этой категории они уделили мало внимания. Бергсон—по словам Александера,—первый философ нашего времени, который серьезно занимался этим вопросом, но он недооценил значения пространства.

В нашем опыте,—говорит Александер,—время нам представляется как «длительность», как нечто, следующее одно за другим, т. е. мы различаем «прежнее» от «последующего». «Как указывает мистер Рэссель, длительность, тянущаяся от прошедшего через настоящее к будущему, собственно принадлежит психическому времени... Но мы не можем говорить о прошедшем, настоящем и будущем в отношении физического Времени, где настоящее—момент физического Времени, установленного (fixed) отношением наблюдающего сознания и образующего границу или разрез между «раньше» и «потом», которые можно назвать прошлым и будущим» (с. 44—45).

В противоположность Рэсселю, утверждающему, что между временем, как мы его воспринимаем, и действительным временем лежит непроходимая пропасть, Александер говорит, что время одно и то же в обоих случаях, т. е. мы имеем дело в различной степени с тем же пространством-временем под различными аспектами. Что «наблюдается» как физическое пространство-время, «воспринимается» как психическое пространство-время и «мыслится» как математическое пространство-время. Метафизика, трактующая об истинном пространстве-времени, объединяет все эти понятия в единое понятие абсолютного пространства-времени.

В этом вопросе Александер более прав, чем Рэссель, когда он говорит, что наше сознание отражает действительное время, а не является феноменом только. На

наш взгляд время не отличается от объективной действительности вообще, т. е. наше сознание отражает время, как и другие части объективной действительности, не полно, не точно, но все же *отражает*, иначе получается, что наше сознание «создает» понятие времени, что время нам дается a priori, а это—кантианство.

Если бы время существовало независимо от пространства,—говорит Александер,—то в нем не могло бы быть непрерывности, ибо сущность времени—в его «временной» природе, т. е. оно нечто, имевшее место раньше, в настоящем, в прошлом или в будущем. Прошедший момент больше не присутствует,—он прошел, он умер. Длительность времени, которую мы чувствуем, отличается от пространства, которое мы воспринимаем как протяженность. И то и другое продолжительно, только совсем по-иному. Пространство как бы все дано, между тем как время сводится к последовательности моментов. Но если эта последовательность была бы не чем другим, как только «чистым» временем, она состояла бы из погибающих моментов. Вместо длительности были бы одни лишь моменты и ничего больше, т. е. «теперь», которое нуждалось бы в вечном возобновлении. Для наблюдателя существовал бы лишь «настоящий момент» («a mere now»), и время не содержало бы ни прошлого, ни будущего. Вследствие своей последовательности, время не только не было бы «длительностью», но оно даже для себя перестало бы быть «последовательностью». Если бы мы могли себе представить обозревателя и события во времени, этот обозреватель мог бы различить эти два «теперь» при помощи характерной особенности событий, но даже сам обозреватель не мог бы быть уверен, что оба «теперь» следуют одно за другим. Даже память ему мало помогла бы в этом отношении, ибо память не может быть гарантией, что события, которые не происходят вместе, связаны между собой. Декарт сознавал трудность проблемы, и чтобы выйти из положения, он постулировал мир, созидаемый в каждый момент, поэтому вопрос о создателе для него не представлял никакой трудности. Не вникнув в природу времени, он неизбежно должен был притти к такому выводу.

Согласно Александеру, пространство и время суть самые простые элементы мира. Но лишь последовательность моментов—длительность—не оставляет места для существования чего-либо. Однако в нашем опыте,—говорит он,—имеют место и длительность и сосуществование. Чтобы время было больше, чем мимолетным моментом, требуется, чтобы прошлое не было «мертвым». Но тогда нужно что-то другое, что могло бы поддержать эту длительность, т. е. связь прошлого с настоящим и настоящего с будущим. То, что делает возможным связь и непрерывность, есть пространство. Если бы длительность не была проникнута протяженностью, не могло бы быть того, что мы чувствуем как «прежде», «теперь», «после».

Если некоторые философы предполагают, что время и пространство не действительны и противоречивы, то объясняется это тем, что время без пространства и пространство без времени действительно не существуют. И если время не могло бы быть тем, чем оно есть без тесной связи с пространством, то и пространство также немыслимо без тесной связи с временем, ибо пространство, взятое отдельно в своем специфическом характере абсолютного сосуществования, ничем в своих частях не отличается друг от друга. Подобно тому как время, поскольку оно было бы лишь временем и ничем больше, сводилось бы лишь к настоящему моменту, к тому, что называется «теперь», точно так же пространство, поскольку оно было бы только пространством, было бы пустотой, ибо его элементы друг от друга не различались бы. Но континуум без элементов не есть континуум, и пространство поглощало бы все, что в нем содержится, в нем не оставалось бы места для существования ни многообразия вещей, ни чего бы то ни было вообще. И мы встретились бы с теми же трудностями, из-за которых неприемлема спинозовская философия, т. е. трактование субстанции и атрибутов. Но в нашем опыте непрерывность и всеобщность пространства не согласуются с другим эмпирическим свойством пространства, которое свидетельствует о наличии многообразия, и, «чтобы избежать этой несогла-

сованности, мы должны постулировать другую сущность, не пространственную, при которой были бы возможны отличающиеся друг от-друга части пространства. Эта другая форма существования и есть время... Таким образом мы приходим к заключению, что без времени элементы пространства были бы бессодержательны» (с. 47).

Без пространства невозможна связь во времени. Без времени не было бы точек соприкосновения в пространстве. Различные свойства этих двух взаимно дополняющих элементов составляют то, что Александер называет единым Временем-Пространством. Из этого следует, что отдельно нет «точки» (пространства) без «момента», как нет «момента» без «точки». Поэтому надо сказать,что *точка происходит в моменте*, что *момент занимает точку*. Пространство и время, взятые отдельно—простые абстракции. Благодаря тому, что их принимали за отдельные сущности, стало возможным появление берклианской критики. Предотвратить же эту критику можно только понятием единого пространства-времени.

Выше было говорено о «непрерывности» пространства-времени. Это надо понимать в смысле непрерывности «точек-моментов». Как нельзя отделить форму шара от самого шара, точно так же нельзя отделить время от пространства. Форма шара есть лишь понятие, к которому мы приходим, когда мы мысленно отделяем ее от шара. Время и пространство можно только мысленно отделить от «Времени-Пространства», но такое отделение будет не живой действительностью, а абстракцией, а абстракция лишь позволительна в определенных рамках, но когда мы рассматриваем эти абстракции, как вещи, существующие в действительности, мы—в области пустых понятий.

Из вышесказанного не следует, однако, что момент не может занимать несколько точек, т. е. не следует, что время не может повторяться в пространстве. Время повторяется в пространстве, как пространство повторяется во времени, т. е. точка повторяется в моментах. Если бы точка не повторялась в моментах, и—наоборот—пространство перестало бы иметь свои специфические черты; то же самое можно сказать относительно времени. Как точка перестала бы носить характер постоянства, так момент перестал бы носить характер текучести.

Вот это отношение пространства к времени имеет место в субстанции. В определенный момент времени меняются только некоторые части субстанции. Действительно, если бы некоторые части субстанции не подвергались бы изменению, если бы длительность существования всех частей была бы везде одинакова, субстанция, как таковая, не могла бы существовать. Если бы вся субстанция менялась в одно и то же время и ее части не повторялись бы во времени, или если никакие части не повторялись бы вместе, не было бы субстанции.

Время и пространство Александер представляет себе таким образом:

а) Каждое из них состоит из элементов или частей, неразличимых, когда элементы другого исключены.

б) Каждая точка пространства детерминирована и отличается моментом во времени, и каждый момент времени—своим положением в пространстве. Существует единая действительность, которая есть «Пространство-Время», а не «пространство», «время», взятое отдельно. Каждый из этих двух элементов обязан своим различием другому элементу... Каждый из них играет роль тождества при различии другого. Без пространства время было бы лишь «голое» («bare») «теперь», вечно повторяющееся. Без времени не было бы «различия». Но действительное время и пространство—«субстанция» (употребляя платоновское выражение), которая содержит в одном и тождество и различие.

Мы видели, что Александер критикует теорию независимости пространства и времени, объясняя ею берклианскую критику. Как же он относится к теории относительности?

В отличие от теории относительности, согласно которой время есть четвертое измерение и которая полагает, что каждую точку-момент занимает субстанция (материя),

Александер постулирует субстанцию, которая есть фрагмент пространства-времени, т. е. субстанция не существует в пространстве-времени, а фрагмент пространства-времени составляет субстанцию.

Александер хочет показать, что время поддерживается пространством—и наоборот,—в противном случае прошлое состояло бы из преходящих моментов и мы не могли бы судить о будущем, так как не было бы связывающего звена. Но наш английский философ дает фон картины мира без содержания, и потому у него, естественно, получается какая-то пустота. Материю,—то, что он подразумевает под этим словом,—он сводит к комбинации пространства и времени, но материя—нечто отличное от пространства и времени, хотя она находится в пространстве и подвержена изменениям во времени. Сказать, что отдельные моменты погибли бы, если бы не было пространства, которое связывало бы их,—это взять одну пустоту (текучую) и заполнить ее другой (неподвижной), думая, что таким образом получится содержание. Но пространство, чтобы не быть пустотой, должно содержать в себе «что-то»; время имеет смысл, когда что-то меняется. Говорить о постоянстве и изменении и не касаться того, что постоянно и вместе с тем меняется, значит говорить о пустых абстракциях, значит свести на-нет опыт и науку, служащие Александеру путеводной звездой. Свое метафизическое мировоззрение он строит на точке-моменте. Но точка-момент—элемент длительности-протяженности, и вместо того чтобы постулировать нечто, что обладает длительностью и протяженностью, он, так сказать, «вытряхивает» это «нечто», материю, и хочет заполнить пустое место формами, свойственными миру.

Посмотрим, что происходит, когда точка соединяется с моментом. Так как точка—постоянный элемент, сам по себе бессодержательный, сосуд, так сказать, а время—содержимое, то получается, что когда момент оставляет эту точку и переходит в следующую точку, следующая точка-момент делается одинаковой с предыдущей, и идентичные точки-моменты бесконечно повторяются. Но предположим, что каждая точка имеет свою специфическую особенность, не является лишь вместилищем, тогда не момент заполняет точку, а точка синтезируется с моментом, и будучи разнородными элементами, они—взятые отдельно—вовсе не абстракции, а своеобразные элементы. Третье предположение, что момент погибает безвозвратно,—тогда бесконечное порождение новых моментов неизбежно, т. е. мы приходим к выводу о постоянном возобновлении мира,—предположение Декарта, которое Александер критикует и к которому ему пришлось бы вернуться, дабы быть выдержанным, либо бросить свою предпосылку, что в мире есть пространство-время и стать на точку зрения материализма, что мир состоит из материи в движении, а пространство и время—формы существования материи.

Александер говорит, что время само по себе, а пространство само по себе не существуют, что одно без другого—пустые абстракции. Уже не говоря о том, что в нашем опыте мы не сталкиваемся с такими элементами, как точки-моменты, которые были бы неразлучными спутниками (не только взаимно поддерживающими элементами), уже не говоря о том, что все это гипотеза, в каком смысле можно пространство-время все-таки назвать единой, нераздельной субстанцией? Если одно без другого не существует, то тут, очевидно, мы имеем дело отнюдь не с субстанцией, состоящей из двух элементов, а с одной субстанцией, обладающей этими двумя свойствами—постоянством и изменчивостью. Материя и отличается этими свойствами—постоянством и изменчивостью—относительным постоянством и относительной изменчивостью. Но у Александера выходит, что не субстанция (материя) занимает пространство-время, а часть пространства-времени есть эта субстанция и заполняется она, как мы увидим ниже, различными предметами, которые в последнем счете—тоже пространство-время.

«Пространство,—говорит Александер,—порождается временем или во времени, ибо время—источник движения. Пространство мы должны себе представить как след времени, принимая во внимание, что нет Времени без Пространства, в котором Время

оставляет след. Но сказать, что Время есть также след Пространства, неправильно, ибо Пространство само по себе не имеет движения. Соответствующая формулировка должна быть такова: Время, двигаясь из прошлого через настоящее в будущее, занимает некоторый отрезок Пространства» (с.61).

При поступательном движении,—говорит Александер,—точки не передвигаются, а меняют свой коэфициент времени, т. е. пространство «заполняется» временем. Движение тела состоит в том, что последнее занимает точки, становящиеся «настоящим» (в смысле времени), так что во всякой фазе движения точки, пройденные телом, имеют различные «значения времени» («time values»), если линию движения взять в целом. Таким образом пространство-время есть система движений, и мы могли бы назвать пространство-время *движением*, если бы движение не было бы общим названием отдельных движений, между тем как пространство и время—единое целое, в котором и пространства и времена—только части. Говорить о движении в целом—значит говорить о пространстве-времени. Говорить о «бытии»—значит говорить о времени, соединенном с пространством. Выше было сказано, что пространство рождается во времени. Это надо понимать не в том смысле, что новое пространство рождается,—такое понятие было бы в противоречии с понятием бесконечности, при котором начало немыслимо,—это надо понимать в смысле распределения моментов времени среди точек пространства.

В целом или части пространства моменты времени расположены различно,—утверждает наш философ,—так что при движении времени точки делаются различными точками-моментами, а моменты также делаются различными моментами-точками. Таким образом картина мира меняется каждый момент, и возможен рост мира. Иллюстрацией движения времени в пространстве может служить «муравьиное гнездо, чем-нибудь встревоженное, или (менее приятный пример)—гнилой сыр под микроскопом» (с. 63). Но лучшая иллюстрация—это газ в закрытом сосуде, как это понимается кинетической теорией газов. А еще лучшей иллюстрацией может служить растущий организм, в котором происходит постоянное изменение или перетасовка ячеек. Там некоторые из ячеек еще не дозрели, другие уже зрелы, третьи перезрели и находятся в различных стадиях старчества и болезни.

Пространство,—говорит Александер,—порождается временем или во времени, ибо время—источник движения. Если пространство невозможно отделить от времени, то как может время порождать пространство? Почему не сказать, что пространство порождает время? Одно из двух: или оба элемента существуют нераздельно (и тогда бессмысленно сказать, что время порождает пространство), либо они существуют раздельно и тогда время не может существовать без пространства, уже не говоря о том, что, согласно Александеру, бесконечное и вечное не может рождаться. Но если, как он далее поясняет, точка меняет свой коэфициент времени, то ведь момент меняет свою точку, и согласно теории относительности, с которой у Александера по его же собственным словам, много общего, можно было бы сказать, что пространство—источник движения, что пространство порождает время, если вообще есть смысл в этих словах. Но тут мы имеем дело с набором метафизических фраз, из которых никак нельзя вывести понятия о природе времени и пространства и об их отношении друг к другу.

Далее следует утверждение, что «время, двигаясь из прошлого через настоящее в будущее, занимает некоторый отрезок пространства». Но из этого отнюдь не явствует, что пространство порождается во времени или временем, и если это только метафора, то она не совсем удачна и еще больше запутывает метафизический узел. «В поступательном движении,—говорит наш философ,—точка не передвигается, а меняет свой временный коэфициент». Это значит, что момент проходит по точке наподобие воды, протекающей по руслу. Но тогда уже нельзя сказать, что точка и момент нераздельны. Если за прошлым моментом следует другой—настоящий момент, который занимает ту же точку или другую, то все же каждый момент, канув в вечность, ничем не связан с предыдущим

моментом. Из того, что прошлый момент был соединен с точкой и что будущий момент также будет соединен с какой-нибудь иной точкой, не следует, что оба момента соединены между собой, не следует, что отдельные точки-моменты внутренне связаны между собой. Но все же Александеру угодно назвать пространство-время единым целым.

Далее. Так как каждая точка-момент непохожа на всякую другую точку-момент благодаря движению времени, то отсюда следует рост мира. Александер под словом «рост» подразумевает не увеличение в объеме, а развитие мира или изменение мировой картины. Но очевидно, что развития тут не может быть; в конце-концов, точка-момент остается точкой-моментом, даже если она меняет свою физиономию, ибо в таком движении, которое просто похоже на «прогнивший сыр», основы роста, развития низшего к высшему не заложены. Но в конце Александер поправляется и представляет движение пространства-времени наподобие организма. Но между картиной мира, похожей в своем движении на «муравьиное гнездо» или «гнилой сыр», и ростом организма—дистанция огромного размера. Органический рост логически совсем не вытекает из его взгляда на строение и движение элементов мира. В муравьином гнезде происходит одно лишь перемещение насекомых, и этот пример очень удачно рисует бесплодность его доктрины. При простом перемещении пустых частей нет жизни материи со всеми ее качествами и изменениями, нет связи, а есть только случайное *соседство* частей, нет противоположностей, обогащенных развитием и соединяющихся во взаимных противоречиях то постепенно, то посредством скачков, нет места ни новым формам, ни росту. У Александера же все сведено к движению, которое у него заключается в простом перемещении и которое помимо перемещения ничем не может быть. Такое движение, являясь только частным случаем всеобщего закона движения, есть в то же время самый бесплодный из всех видов движения.

Да к чему вообще говорить о пространстве-времени, если между последним и движением можно поставить знак равенства? Почему в одном случае назвать движение пространством-временем, а в другом—движением? Материи, наполняющей пространство-время, ведь нет, об этом мы знаем уже. Теперь мы узнаем, что само пространство-время есть система движений, т. е. что движется не пространство-время, а само пространство-время—движение, т. е. движется движение. Это идея далеко не новая, и 20 лет тому назад Ленин критиковал ее следующим образом:

«Оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, т. е. перейти на сторону идеализма. Тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи к мысли. Дело представляется так, как будто бы этого отношения не было, а в действительности оно протаскивается тайком, остается невысказанным в начале рассуждения, но выплывает более или менее незаметным образом впоследствии» [1].

Александер действительно умалчивает об отношении материи к мысли, но как мы видим уже, все это тайком протаскивается и впоследствии выплывает в виде божества.

Итак, мы видим, что попытка объяснить мир как движение без материи, хотя Александер смотрит на движение как на объективный источник, есть идеалистическая попытка, и вся затея нужна была нашему философу, чтобы упрочить трон божеству.

СУБСТАНЦИЯ

Все существующее, будучи комплексом пространства-времени,—субстанция, ибо всякая часть бытия сводится к пространству-времени. Субстанция—отрезок пространства, являющийся ареной длительности. Даже простое движение по прямой линии может

[1] «Материализм и эмпириокритицизм», т. X, с. 224, Гиз, 1925.

служить примером субстанции, хотя это движение не повторилось бы. «Вещь или сложное вещество,—говорит Александер,—пространственная конфигурация, в которой имеют место различные движения, относящиеся к качествам предмета; сложное вещество или предмет есть длительная во времени пространственная конфигурация с движениями, определяющими ее. Таким образом движения, относящиеся к качеству «желтый», и другие, относящиеся к качеству «твердый», содержатся в конфигурации атома или молекулы золота. В конфигурации атома качества группированы согласно закону строения вещества» (с. 270).

Но движения, лежащие в основе качества, очень сложны. Из качеств наиболее простой субстанцией является движение, составляющее звук, духовная же субстанция—самое сложное движение, занимающее пространственный контур особого порядка. Точка не есть покоющийся предмет, а граница движения. Благодаря своему соединению с временем, точка связывается с другими точками-моментами. Движение, как было сказано раньше, не означает, что точка является материальным телом, передвигающимся из одного места в другое, а означает, что время точки перестает быть настоящим, а настоящее переходит в другую точку, продолженную с ней. Это означает, что конфигурация субстанции остается той же. Поэтому самая простая субстанция есть движение. Когда мы берем движение в самой ограниченной форме, мы получаем точку-момент, и движение это можно назвать субстанцией момента (momentory substance). Точка-момент по своей природе—движение, а не что-то покоющееся (statical). Оно идеальное, не действительное движение, и по этой причине оно действительное элементарное бытие (existent), и оно действительно по причине идеального характера» (с. 272). А на с. 325 он разъясняет это таким образом: «Точки-моменты должны рассматриваться *не как физические электроны, а как метафизические элементы, основные части пространства-времени или движения*. Они действительны, но если простительно явное противоречие, они идеальные действительности» (курсив наш.—*Д. К.*).

Качества, будучи определенными движениями, занимают определенные места, не смешиваясь друг с другом. Если же мы этого не замечаем, то причина та же, по которой кровь кажется нам красной, хотя в ней имеются и белые шарики. В качествах нет ничего мистического, так как они сами являются частями пространства с определенными конфигурациями. Субстанция может быть материальной, жизненной или духовной, но в последнем счете она определяется отрезком пространства-времени, который она занимает.

Весь мир, согласно Александеру, наполнен субстанцией, ибо все находится в движении, но субстанция не есть что-то материальное. Чтобы не было никакого сомнения на этот счет, Александер разъясняет, что элемент субстанции не есть электрон, а «метафизический элемент». Но этот «метафизический элемент» не является непознаваемой вещью в себе или вещью в себе, характер которой мы постепенно познаем. Александер не довольствуется теми данными о строении вещества, которыми нас наука снабжает. У него все удивительно просто. Вещество сводится в конечном счете к движению, но так как в нашем опыте мы встречаемся с качествами, то вся разница между одним качеством и другим, между одним веществом и другим сводится к сложности движения, и словом «сложность» все исчерпывается. Как реалист, Александер не отрицает качеств, но, сводя их к движению, он в сущности признает одно только количество, одно только число. Правда, он говорит, что одно вещество отличается от другого своей конфигурацией, что внутри этой конфигурации существуют качества, но так как они все сводятся к движению, то в последнем счете вещество есть отрезок пространства-времени, в котором происходят различного рода движения, т. е. оно есть движение, в котором происходят движения. Поскольку эти качества сохраняют свое свойство, одно вещество отличается от другого. Но что означает «сохранять свое свойство»? Оно, очевидно, означает, что количество движения остается одним и тем же, ибо сложностью движения все качество исчер-

пывает себя. Направление не должно играть никакой роли, поскольку последней основой все же является простое движение. Каким же образом простое перемещение в состоянии произвести такое специфическое явление как качество? Но на этот вопрос мы у автора ответа не находим.

Диалектическое мышление совершенно чуждо Александеру, и поэтому о переходе количества в качество он не говорит. Ведь качество в понятии диалектического материализма есть своеобразное, не сводимое к количесту, свойство материи (хотя оно переходит в другое). Но материи Александер не признает. Таким образом та связь, та непрерывность пространства-времени, которую Александер пытается доказать, оказывается чисто внешней т. е. связи никакой собственно и нет. На самом деле, ведь пространство-время состоит из точек-моментов, а сама точка-момент сводится к ограниченному движению; но если это так, тогда каждая точка-момент есть что-то законченное, и сказать, что между одним законченным движением и другим законченным движением существует связь—значит признать продолжение движения, значит говорить об одном непрерывном движении. Александер говорит о непрерывном движении, но что тогда означает граница движения, что означает точка-момент? По Александеру, каждая точка является только вместилищем момента, как будто бы время активный, а точка—пассивный элемент, как будто бы в движении находится лишь время, но не пространство. Но если это так, тогда все пространство, т. е. все точки, одинаково, т. е. все одинаково бессодержательно, ибо в конечном счете время(движение) заполняет их. Чем же одна точка-момент отличается от всяких других точек-моментов? А между тем весь мир, по схеме Александера, от этого различия и зависит. Наш автор должен был показать, как при такой связи элементов существует действительный мир, который ничем не обязан нашему духу, ибо, по его мнению, наш дух ничего не может создать, а только отражает действительность.

Субстанция,—говорит Александер,—может быть материальной, духовной, или жизненной, но в последнем счете она определяется конфигурацией пространства-времени, в котором имеет место движение. Но раз она определяется только этим и ничем другим, как может один предмет отличаться от другого? Как может движение развиваться, расти и перейти в другое, высшее? Качества,—говорит наш автор,—сводятся к движениям, которые не смешиваются друг с другом. Но весь вопрос в том, как они могут не смешиваться, т. е. как движение, соприкасаясь с другим, не затрагивает другого, не переходит в другое движение, как оно сохраняет свою самостоятельность? Пример с красными шариками в белой жидкости неприменим, ибо шарики—один элемент материи, а белая жидкость—другой элемент материи, в то время как, по Александеру, материи не существует, а существует одно движение.

Если простое движение по прямой линии можно назвать субстанцией, то вся разница между движением, качеством и субстанцией лишь номинальна, и субстанции никакой нет. Философия Александера тогда страдает еще одним недостатком. Вместо упрощения терминологии, которая вносила бы некоторую ясность, его терминология усложняется. Проще было бы представить эту философию так: ничего, кроме движения, не существует. Пространство-время сводится к движению, качества—сложные движения, то, что называется субстанцией—тоже движение.

Итак, физический мир есть арена движения. Так как нет пространства без времени и времени без пространства, то нет поэтому пустого пространства и времени, а также—неподвижного пространства. Пространство и время могут не содержать в себе материи или событий, но все же они заполнены друг другом, и поэтому они не пусты, а представляют собою континуум или пленум. То, что мы подразумеваем под понятием «пустота», есть промежуток между телами, материальными или другими. Если бы материальные тела наполнили бы пространство, не было бы места для продвижения этих тел. Но в таком пленуме пространства-времени тела могут двигаться, ибо их движение означает, что временные коэфициенты пространственных очертаний меняются.

Александер несогласен со взглядом Ньютона на время и пространство, говоря, что «неподвижное или абсолютное пространство Ньютона есть система неподвижных мест. Но так как каждая точка есть также момент, покоющееся место есть место, в котором время опущено» (с. 66). Покой же—по Александеру—относительное понятие.

Рассматривая пространство-время в отношении к моменту, мы находим, что все пространство не занято одним моментом, а заполнено временами различных дат. Пространство заполнено «изохронами», или одновременными событиями, а время—«изохорами», или пространственными событиями. Поэтому перспектива пространства-времени, рассматриваемая с одной точки-момента, отличается от перспективы пространства-времени, рассматриваемой с другой точки-момента, все равно принимается ли во внимание момент или точка. Точки, «одновременные» в одном случае, могут быть «последовательны» в другом случае, т. е. они имеют различные «временные» коэфициенты.

Как было пояснено раньше, пространство, взятое в целом, не находится ни в движении, ни в покое. Покой—относительное понятие, и в действительности его не существует, ибо всякая часть пространства имеет свой коэфициент времени и находится в движении. О покое можно говорить только тогда, когда мы не принимаем во внимание движение. Например, два движущихся тела могут в отношении друг к другу находиться в покое, так как мы принимаем во внимание не их собственное движение, а отношение друг к другу.

«Я могу сидеть неподвижно,—говорит Александер,—на своем стуле, в то время как комары движутся вокруг меня. В этом случае я не принимаю во внимание движения стула вместе с землей, потому что я в данном случае заинтересован комарами... Но в то время как я не меняю своего положения в отношении земли, комары меняют его» (с. 34).

Если бы что-нибудь могло быть в абсолютном покое, все остальное также должно было бы быть в покое, ибо если бы точка могла бы задержать свое время, вся система наступательных линий в пространстве-времени была бы выведена из строя, и точка на какой-нибудь линии была бы только точкой, а не точкой-моментом, а это невозможно.

«Таким образом, если абсолютный покой означает отрицание движения, такового нет в действительности. Покой—это один вид движения, или, правильнее, это—движение, в котором некоторые черты выпущены» (с. 84). Но если абсолютный покой означает лишь положение в пространстве, где элемент времени выпущен, это—не больше, чем абстракция.

Александер тут пытается доказать, что нет пустого пространства, что все заполнено пространством-временем и что при таком «пленуме» тела в состоянии двигаться. Такое разрешение вопроса было бы верным, если бы тело действительно было бы телом, а не движением, когда же движение тел сводится к тому, что «временные» коэфициенты пространственных очертаний меняются, то это просто значит, что место одного временного коэфициента (говоря языком Александера) занимает другой временный коэфициент. Чем же этот отрезок пространства-времени отличается от какого-либо отрезка, чтобы заслужить название тела? На это мы ответа не находим. Как Александер ни старается, ему не удается справиться с понятием тела. Его «пленум» есть «пленум» Парменида наизнанку. У Парменида нет движения, нет изменения. Бытие есть «пленум», но застывший «пленум». У Александера бытие есть пространство-время—«пленум», но если тело состоит только из движений, а пространство-время—тоже система движений, то вся разница между одним и другим только в коэфициенте времени (пространственное вместилище, собственно говоря, не играет никакой роли).

По учению Александера, пространство в целом не находится ни в движении, ни в покое. Но Александер не имеет права говорить о пространстве в целом. Ведь пространство неотделимо от времени, как же можно говорить о пространстве в целом? И если пространство неотделимо от времени и пространство-время—система движений, то уже нельзя сказать, что пространство не находится ни в движении, ни в покое.

Все относительно в отношении друг друга, говорит Александер. Поэтому некоторым философам и кажется что пространство и время недействительны. Но если вме-

сто тел со своими качествами мы мыслим о «чистых» событиях или точках-моментах, которые составляют пространство-время, тогда получается совершенно другая картина. Те же самые точки могут быть заняты различными моментами, но это значит, что точки-моменты отличаются от других точек-моментов в целом пространстве-времени. Быть точкой-моментом без всякого отношения к другим точкам-моментам—противоречие, ибо точка-момент есть элемент движения и находится между двумя другими точками-моментами. Одно движение относительно по отношению к другому движению. Но каждая точка-момент не похожа на другие точки-моменты, и поэтому она в некотором смысле абсолютна.

По словам Александера, его теория пространства-времени находится в полном согласии с теорией Минковского об абсолютном мире четырех измерений. Но хотя согласно теории относительности каждый наблюдатель живет в своем собственном пространственно-временном мире, однако в философском смысле релятивист должен итти дальше своего относительного мира—к абсолютному пространственно-временному миру, ибо оба наблюдателя могут сравнить свои вычисления и таким образом придти к такому понятию мира, в котором оба мира наблюдателей объединены. Ведь те, что смотрят на часы, общаются между собою, иначе философская позиция релятивиста была бы позицией солипсизма. В самом деле, если бы солипсисты желали быть последовательными, они даже не могли бы разговаривать между собой.

Во избежание солипсизма надо гипостазировать абсолютный пространственно-временный мир, объединяющий пространственно-временные миры всех наблюдателей. В таком случае пространственно-временные миры служат только мерилами отдельных наблюдателей, т. е. они являются их «перспективами».

Что касается вопроса об абсолютном мире, в котором все отдельные миры наблюдателей—перспективы—объединяются, и мире (правильнее—мирах) релятивистов, то между ними мало общего. По учению теории относительности такого абсолютного пространственно-временного мира нет. Теория относительности трактует о материи в пространстве-времени, а не о материи, которая сводится к пространству-времени. Пространство-время есть нечто своеобразное, а не сводится к понятию движения.

Согласно теории относительности, время является четвертым измерением, у Александера «оно со своими отличительными чертами соответствует трем измерениям Пространства, и, если можно так выразиться, Время со своим одним измерением покрывает, обнимает все измерения Пространства, а не является чем-то добавочным» (с. 59).

Если у релятивистов время—форма, то у Александера оно—вещество. Как мы видим, общего между этими двумя концепциями времени и пространства очень мало, и когда Александер называет время четвертым измерением, то он, очевидно, забывает простую истину, что то, что «соответствует» и «обнимает три измерения», не может быть одним измерением, и между теорией относительности и теорией абсолютного нет точек соприкосновения.

КАТЕГОРИИ

Категории являются основными свойствами пространства-времени, взятыми не в целом, а в какой-либо части его. «Зачаты» они временем через пространство. Категории разделяются на простое «тождество» (т. е. когда вещь тождественна самой себе); на тождество рода (яблоко, примерно, тождественно общему понятию «яблоко»); на тождество числа (отдельный—частный случай рода) и, наконец, тождество самой субстанции.

Всякая точка-момент тождественна самой себе, ибо она занимает частицу пространства-времени. Тождество себе есть то, что называется «бытием». Всякое «бытие» отличается от другого «бытия» тем, что занимает другой отрезок пространства-времени.

«Бытие» состоит, выражаясь словами одного героя «Платоновского диалога» («Тимеус»), из «того самого» и «другого», т. е. оно «тождественно» самому себе и вместе

с тем «различно», т. е. состоит из двух отрезков пространства-времени, каждый из них тождественен себе и «различается» от другого. «Тождество», «различие» и «существование» относятся к самой природе пространства-времени, взятого не в целом, а в каждой его части, и, как было сказано, пространство и время дополняют друг друга, т. е. к «тождеству» придается «различие».

«Тождество» и «различие» называются категориями не потому, что они являются общими понятиями, а потому, что они обладают свойствами, принадлежащими пространству-времен, т. е. они не субъективные понятия, а объективные вещи.

«Бытие» какой-нибудь вещи относится к категории «бытие», потому что она занимает частицу пространства-времени и является пространственно-временным комплексом. «Бытие» и численное «тождество» и «различие» принадлежат к элементарным категориям. Тождество вещи—не что иное, как отрезок времени-пространства, занимаемый вещью.

Из законов мышления самый важный—закон противоречия. Он сводится к тому, что занимаемая часть пространства-времени не может быть занята другой частью пространства-времени. Это значит, что вещь не может быть А и не-А в одно и то же время, иначе она занимала бы два отрезка пространства-времени, другими словами, один отрезок пространства- времени не есть другой отрезок пространства-времени. Закон тождества означает, что занимать можно только определенный отрезок пространства-времени, а закон исключенного третьего,—что из двух данных отрезков пространства-времени мы можем остановиться на одном из этих двух, а не на третьем.

Александер говорит, что категории характерны для каждой части пространства-времени, но не для пространства-времени в целом. Этим он хочет сказать, что пространство-время первично по отношению к категориям, а также, что целое первично по отношению к частям, но это схоластика, ибо раз все части пространства-времени отличаются закономерностью, значит пространство-время в целом закономерно, ибо ни логика, ни практика не позволят нам сделать разрыва между всей природой и частью ее.

Утверждая, что категории «зачаты» через пространство, наш автор думает, что ему этим утверждением удалось доказать примат пространства-времени над категориями. Но что значит это «зачатие», как оно происходит, из чего он заключает о нем, остается туманным. Между прочим, этим утверждением он оспаривает теорию родственных ему неореалистов, которые усматривают логический примат понятий над временно-пространственным миром, но примата пространства-времени над категориями он не может доказать, ибо категории, т. е. связи, закономерности, так же вечны, как сам мир в целом. Раз нет начала временно-пространственному миру, раз невозможно себе представить состояние мира, при котором категории не действовали бы, следовательно, говорить о примате пространства-времени над категориями, или наоборот, неправильно [1].

---

[1] Неореалисты, поддерживающие платоновский «реализм», т. е. утверждающие, что «понятия» существуют только логически и что они первичны по отношению к миру наших восприятий, в сущности придерживаются платоновского идеализма, хотя они объявляют себя поборниками объективизма, т. е. утверждают существование объективного мира, независимо от духа. Допускать примат логической концепции—значит допускать существование понятий без материи, т. е. примат духа. А это—идеализм. Хотя они и не говорят о Логосе—носителе всех понятий, всеобщностей—и называют себя неореалистами, но на самом деле они представляют разновидность объективного, путанного идеализма, т. е. эклектизма. Диалектический материализм не отделяет понятий от предметов ни логически, ни существенно и признает примат материи над духом, но из этого не следует, что диалектический материализм допускает существование мира без категорий, т. е. примат времени-пространства или материи над категориями. Миру нет начала, как нет начала и категориям.

Из определения понятия «бытие», что оно равнозначно «тождеству», а также из другого его определения, что «бытие» состоит из «тождества» и «различия», мы видим, что Александер погряз в метафизической тине, из которой ему трудно выбраться. Он бьется вокруг вопроса о «становлении», не будучи в состоянии его разрешить, и должен ограничиться повторением формулировки, что «бытие состоит из тождества и различия», хотя это противоречит его схеме, что бытие=тождеству=отрезку пространства-времени. Все его бессилие происходит оттого, что он отрицает существование материи, и поэтому «становление», которое соединяет противоположные понятия «бытия» и «небытия», он критикует как противоречащее формальной логике. Но все же ему приходится на момент забыть формальную логику и стать на точку зрения диалектики, повторяя вслед за Платоном, что бытие равняется тождеству плюс различие, вместо—бытие=тождеству. Правда это только на момент, ибо его разъяснение гласит, что отрезок пространства-времени (=бытие) тождественен себе и отличается от другого отрезка. Но это, в сущности, значит, что отрезок пространства-времени никогда не меняется, ибо один отрезок не может сделаться другим и сохранить свое тождество, и все же несмотря на это он не может отделаться от фактов, от проблемы роста.

Его метафизический взгляд на закон противоречия виден из того, что он пытается свести этот закон к пространству-времени, говоря, что закон противоречия сводится к тому, что один отрезок пространства-времени не может быть занят другим отрезком, что вещь не может быть А и не-А. Диалектический материализм доказывает бесплодность этого закона, утверждая, что процесс, движение нарушают закон противоречия (как его формальная логика трактует), что в процессе имеет место обратное явление, т. е. что А переходит в не-А, что вещь есть А и не-А. Но Александер трактует закон противоречия, согласно формальной логике, и потому его философия не может свести концы с концами. Закон исключенного третьего, который в сущности повторяет закон противоречия, признается Александером, как и всей формальной логикой, как отдельный закон. Чтобы быть последовательным, он сводит этот закон к пространственно-временному понятию, т. е. он утверждает, что один отрезок пространства-времени не может быть другим. Но это повторение прежней мысли. Преподносится же она читателю совсем в другом облачении, дабы он подумал, что ему подают что-то новое.

Категорию—«всеобщее» или «всеобщность» Александер толкует как постоянство существования в пространстве-времени, говоря, что определенный отрезок пространства-времени сохраняет свою конфигурацию, т. е. оно существует не вне времени и пространства, как некоторые неореалисты предполагают, а в пространстве и времени. Причем «бытие» (existence) и «идеальное бытие» (subsistence) суть две группы действительности, два класса объекта мысли.

Он также критикует Гегеля за его утверждение, что «бытие» и «небытие» соединяются в «становлении». Неправ Гегель, говорит он, в том, что он рассматривает природу как нечто выпавшее из мысли, вместо того чтобы считать, что «всеобщее» есть нечто, находящееся в природе. По Александеру—«бытие» есть «движение», т. е. отрезок пространства-времени, а «истинная или конкретная мысль связана с природой. Переход от мысли к мысли не делается самой мыслью, ибо переход возможен к живым мыслям. Мысли обязаны своей связью не мысли, а движению» (с. 204).

«Всеобщее» существует постольку, поскольку оно выражается в «особенностях» и ему присуще столько действительности, «сколько возможно». Оно существует постольку, поскольку существуют «особенности», и оно пространственно-временно. «Всеобщее—нигде в особенности, хотя оно везде, и оно готово вступить в бытие, когда случай представляется. Оно не вечно или вне времени, но свободно от ограничения особенным отрезком времени» (с. 222). «Всеобщее не только существует в смысле «идеального бытия»

(subsistence),а не бытия (existence), но оно принадлежит к категории временно-пространственной, физической, биологической, психологической в зависимости от ступени, к которой принадлежит «особенное».

Но «всеобщее» вовсе не неизменчиво, не неподвижно и не вечно, как пифагорейцы и Платон себе представляли. «Даже такой огромный ум, как Платон, не сумел освободиться от взглядов своего века, тенденцией которого было искать высшего идеала, совершенства в покое, а не в неведующем покоя движении. Поэтому, чтобы объяснить движение, он принужден был искать другого источника, который он нашел в душе» (с. 236).

«Всеобщее» не есть особенное движение, но план движения, и воплощается оно в особенном движении. «Законы строения предметов и отношений между ними—не изобретения наших умов, приписанные природе, а часть самой природы, и они более значительны, чем особенные факты, из которых они (т. е. законы—*Д. К.*) будто бы извлечены нашим разумом, как будто бы разум мог сделать действительным то, чего он не находит в природе таковым» (с. 227).

Из этих определений видно, что понятие «всеобщее» далеко не ясно Александеру. С одной стороны—оно пространственно-временно и, следовательно, близко подходит к понятию «особенное», с другой—оно не пространственно-временно. С одной стороны, оно не изменчиво, с другой—оно изменчиво. Вульгарно-материалистический подход, что все должно свестись к протяжению, сменяется более правильным подходом, что хотя закон действует в пространстве-времени, однако он сам не есть иространство-время. Как же диалектический материализм смотрит на понятие «всеобщее», «особенное»?

«Всякое отдельное,—говорит Ленин,—есть (так или иначе) общее. Всякое общее—есть частичка (или сторона, или сущность) отдельного... Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого *рода* отдельными (видами, явлениями, процессами) и т. д.[1]

То же самое говорит т. А. Деборин в своей книге «Диалектика и естествознание».

«Понятие», с точки зрения диалектики,—конкретно, формальная логика превращает понятие в абстрактную, бессодержательную тень действительности. На самом же деле понятия полны реального содержания. Помимо этого, они не являются чем-то застывшим и неизменным, а текучими и переходящими друг в друга, конечно поскольку они составляют отражение реальных процессов действительности. Так как отдельные вещи не существуют вне связи с другими вещами, с общим, составляя моменты, звенья последнего, то естественно, что противоположность между отдельным и общим только относительная» [2].

Сравнивая эти четкие определения со сбивчивым метафизическим лепетом, приведенным выше,мы видим, что метафизик, желающий быть реалистом, неизбежно должен запутаться в своих определениях, ибо, с одной стороны, реализм обязывает, с другой—метафизический метод связывает, поэтому—он то говорит, что понятие временно-пространственно, то—что оно нигде в особенности.

Если справедливо замечание Александера насчет Платона, что он должен был платить дань традициям своего времени, которые усматривали совершенство в покое, то не менее справедливо положение, что буржуазные философы обязаны платить дань буржуазной идеологии—искать дорогу к абстрактному, а через абстрактное—к фидеизму. Построив свою метафизическую систему, Александер приходит к понятию «божество», которое реализуется в пространстве-времени. Это божество, разумеется, высшая ступень прогресса. Удался ли Александеру этот теологический трюк—это вопрос, но слова Ленина, что всякая метафизика ведет к фидеизму, подтверждаются и по отношению к современной философии. Его трактат, написанный якобы в духе реализма, но пропитанный метафизическими и схоластическими рассуждениями, иллюстрирует, как глубоко прав был Ленин, когда он заострил вопрос о «партиях в философии».

[1] Т. XIII, с. 303, изд. 3-е.

[2] *А. Деборин*, Диалектика и естествознание, с. 106.

ОТНОШЕНИЯ

Все существующее, согласно Александеру, находится в каком-нибудь отношении, ибо все события имеют место в едином пространстве-времени. Отношения так же свойственны миру, как субстанция. В последнем счете она выражает непрерывность пространства-времени. И хотя пространство-время в целом само по себе не состоит из отношений, но оно проникнуто отношениями в своих частях. Отношения так же конкретны и так же действительны, как предметы, будучи по существу пространственно-временными. Отношения—«внешняя действительность», когда они соединяют внешние предметы, «духовная действительность»—когда они соединяют духовные предметы. Отношения—не субъективные категории, а объективные. Итак, отношения суть пространственно-временные связи между предметами, сами предметы, как и связи, в последнем счете—пространственно-временные комплексы. Так как само пространство-время непрерывно, отношения, которые связывают предмет, тоже непрерывны, только в другой форме. И отношения и предметы, которые соединяются посредством отношений,—элементы одной действительности. Нет отношений без предметов, точно так же, как нет предметов без отношений. На вопрос—бывают ли отношения внутренними или внешними, Александер отвечает, «что все зависит от того, что мы понимаем под словами «внешнее и внутреннее». Если под внешним понимать существование как существование предметов, тогда отношения внешни. Если подразумевать самостоятельное существование отношений без предметов, которые они связывают, тогда они не имеют бытия... Если быть внутренним означает, что отношения—качества предмета или относятся как качества, тогда отношения—не внутренни. Отношения не принадлежат самим предметам, ибо принадлежать означает пространственно быть в предмете... но если внутренность отношений означает, что они не могут существовать без предметов, тогда отношения внутренни... Но если мы разделим мир на предметы и отношения, мы впадем в абстракцию. Тогда получается, что предметы не влияют друг на друга, а отношения как будто ни к чему не относятся. Мир состоит из предметов в их связи» (с. 250—251).

В вопросе об «отношениях» у Александера замечается рядом с ошибками и правильный подход. Прав он в том, что «отношения так же свойственны миру, как вещество», но не прав он, когда говорит, что в последнем счете они сводятся к непрерывности. Прерывность так же характерна для процесса, как непрерывность. Согласно теории диалектического материализма, нет непрерывности без прерывности (теория скачков), как нет прерывности без непрерывности. Одно тесно связано с другим (единство противоположностей), но между предметами существует внутренняя связь, а не, как неореалисты утверждают, внешняя связь («externality of relations»).

Александер занимает неопределенную позицию в этом вопросе, хотя он правильно приходит к выводу, что не существует предметов без отношений и отношений без предметов. Идеалисты и даже некоторые неореалисты подчеркивают реальность отношений, стушевывая вопрос о предметах связи, причем английские неогегельянцы, вроде Брэдли, все сводят к внутренним отношениям, в то время как неореалисты защищают позицию внешних отношений.

Александер прав, что мир невозможно разделить на предметы и отношения, а его надо рассматривать как предметы в их связи. Эта позиция гораздо ближе к позиции диалектического материализма, чем к неореализму, представителем которого он является. Предметы не существуют без всякой связи. Связь не может быть без предметов, не может быть связи «вообще», а предметы вступают каждый раз в какую-нибудь связь. Если же разделить мир на предметы и связи, тогда получается будто бы каждый предмет имеет отдельное независимое существование. Но предметы, даже поскольку они различаются между собой, имеют какие-нибудь отношения, противоположности, и бытие предмета означает вступление его в какое-нибудь отношение с другим предметом, иначе его сущ-

ствование ничем не выразилось бы. Благодаря отношениям меняются сами предметы, взаимодействие оказывает влияние, оставляет отпечаток на предметах, и, меняясь, предметы, в свою очередь, устанавливают новые отношения. Таким образом, благодаря внутренним отношениям, благодаря движению выявляются новые особенности, которые, преодолевая старые связи, вступают в новые отношения с предметами, с которыми они находились в противоречии. Это соединение противоречивости дает новый толчок к дальнейшему существованию и выявлению новых качеств. Но это толкование чуждо Александеру, ибо он по рукам и ногам скован своим метафизическим методом, и поэтому всякое даже правильное положение проникнуто у него неправильным толкованием и подходом.

ПРИЧИННОСТЬ

Пространство-время, по Александеру, как нам уже известно, есть система движений, а всякое движение связано с каким-нибудь движением. «Отношение непрерывности между двумя различными движениями есть причинность, движение, предшествующее тому, в которое оно продолжается по порядку следования,—причина, другое—следствие» (с.279).

Понятие причинности как вещи,—говорит он,—неправильно, также неправильно понятие причинности как соединения событий, ибо здесь упускается из виду процесс и берется изолированное событие.

Причина есть движение вещества (субстанция), как например причиной разбитого стекла служит камень. Причиной всегда служит какое-нибудь движение, ибо вещь есть сложная субстанция в движении.

«Итак, причинность есть отношение непрерывности (continuity) между одной субстанцией и другой, является ли субстанция вещью или просто движением, которое мы не привыкли называть вещью (например свет)... Причинность, таким образом,—пространственно-временный переход одной субстанции в другую, а причина—движение, которое предшествует телу, в которое оно переходит» (с. 281).

Но субстанцию или движение можно назвать причиной только тогда, когда оно переходит в другое движение, отличное от первого.

«Я,—пишет Александер,—должен пройти мимо доктрины Маха и его последователей, утверждающей, что причина есть лишь полезное средство для сокращения описательной работы, ибо эта доктрина кладет в свою основу гипотезу, с которой мы согласиться не можем. Для нас понятие означает реальность, иначе понятие—ничто. Оно может быть ошибочным, но даже тогда оно объективно. Что наука состоит из понятий, проверенных опытом,—совершенно правильное описание того, как мы приходим к познанию» (с. 293).

Из всех этих определений причинности мы видим, что эта проблема далеко не ясна Александеру. Он то говорит об отношении двух различных движений, то—о движении вещества. Говоря о вещи, находящейся в движении, Александер приближается к истине, ибо согласно диалектическому материализму нет вещества без движения, как нет движения без вещества, но, допуская понятие вещества, указывая только на движение, он удаляется от правильного подхода к вопросу о причинности. Говоря о непрерывности между двумя различными движениями, которая сводится к причинности, Александер становится на точку зрения механистического материализма, не признающего «скачков» в природе, не признающего перехода количества в качество. В самом деле, при переходе количества в качество—и наоборот, один из видов проявления причинности—скачок неизбежен. Александер же говорит о непрерывности движения и вместе с тем о переходе одного процесса в другой без скачка. Поэтому его объяснение причинности страдает теми недостатками, благодаря которым становится неизбежной критика материалистов.

Причинность, согласно диалектическому материализму, сводится к внутреннему отношению, при котором качество и количество при своей противоположности, связаны

единством, поэтому возможен переход одного в другое. Но так как нет процесса без вещи, то отношение одного процесса к другому есть отношение одной вещи в действии к другой вещи. Причинность имеет место во времени и всегда предшествует действию. В этом Александер прав и здесь он отгораживается от идеализма, который старается спутать понятие причинности и устранить элемент времени.

Поскольку Александер допускает, что одно движение предшествует другому, называя первое действие—причиной, другое—следствием, он прав. Так же верно его положение, что одно движение должно перейти в другое, чтобы можно было назвать явление причинностью; но внутренней связи между причиной и следствием он не подчеркивает, что делает переход одного движения в другое как бы случайным.

Допуская временной элемент, определяя причинность как переход движения вещества в другое вещество, он, естественно, должен отгораживаться от махизма, допускающего только функциональность, рассматривающего причину как «полезное средство», т. е. рассматривающего ее субъективно. Но в своем суждении о понятии как «реальность или ничто» он сам скатывается к платоновскому идеализму, согласно которому всякое понятие имеет самодовлеющую извечную реальность; и в самом деле между действительным и ложным понятием нет разницы, раз и то и другое объективно имеет независимое существование. Александер также прав в том, что события детерминированы объективно, а не только логически. В этом он опять-таки отгораживается от Маха и становится на материалистическую точку зрения, хотя слово «материализм» буржуазному философу не по душе.

Искание соотношений доказывает, что события детерминированы и действительно детерминированы, а не только логически. Так как непрерывность свойственна движению и так как причина есть процесс, а следствие—другой процесс, отношение между двумя процессами есть переход одного движения, происходящего раньше, в другое движение, происходящее позднее.

Александер несогласен с Бергсоном, что «изменение» есть сущность (Stuff) предметов. Если бы Бергсон вместо «изменения» постулировал движение, тогда между ними не было бы разногласий, говорит он. Когда Бергсон утверждает, что «изменение» может иметь место без предметов, что движение не нуждается в носителе, он прав только в одном, а именно, что движние происходит без материи, что само движение есть все; но «изменение» и «движение», по Александеру,—не одно и то же. Движение первично, вещь вторична, ибо материя вещи—это комплекс движений. «Гераклит, современным последователем которого является мистер Бергсон,—говорит Александер,—так же, как ионийские философы, постулировал вещество, подверженное «изменению». Это вещество, как они предполагали, есть огонь. Но изменение само по себе не может занять место огня, с другой же стороны, движение или Пространство-Время может, изменение же—эмпирическая форма этого вещества» (с. 330).

Спор с Бергсоном, что является сущностью предметов—«изменчивость» или «движение», Александер превращает в чисто словесный спор о разнице между движением и изменчивостью, как будто бы эти два понятия абсолютно противоположны, как будто бы их можно отделить друг от друга, и этим он еще раз подчеркивает свою идеалистическую позицию, что движение возможно без того, что движется, т. е. без материи. Неправ Александер, утверждая, что Бергсон является современным последователем Гераклита, уже хотя бы потому, что Гераклит постулировал вещество, подверженное изменчивости, а Бергсон постулирует только одну изменчивость. Современным представителем того течения, которое Гераклит возглавлял, является диалектический материализм, который признает изменчивость и материю, т. е. материю, подверженную изменчивости. Александер не упоминает диалектического материализма, потому что он о нем, очевидно, не слышал. Спор между Александером и Бергсоном характерен для позиции философа, называющего себя реалистом, учение которого, однако, проникнуто идеализмом,

Отрицая изменчивость как характерную черту реальности и сводя все к движению, он этим выявляет свою механистическую позицию, которая, очевидно, уживается с идеалистическими тенденциями, ибо если движение не сводится к изменчивости, оно—простое перемещение. Александер хочет показать, что «изменчивость» только частный случай (механического) движения, когда, наоборот, перемещение—частный случай, а «изменчивость»—характерная черта движения, ибо изменчивость сопровождается новизной, своеобразностью, в то время как простое перемещение—перемена места в пространстве.

Итак, наш мир проникнут категориями, являющимися для автора высшими формами бытия. Все существующее—комплекс пространства-времени и находится оно в каком-нибудь соотношении причинности, которая также состоит из пространство-временной сущности. Эти категории не являются априорными, не зависят от мышления, а даны нам в опыте, являются объективными формами мира.

Само мышление—высшая ступень развития пространственно-временных комплексов. Наши представления о мире вообще априорны. Они являются инструментами нашего опыта. Что касается самого пространства-времени, то никакое другое слово так не характеризует это понятие, как древнее слово «Hyle». Оно—сущность (Stuff) всех вещей. «Если я называю его субстанцией,—говорит наш философ,—а не материей, то это лишь во избежание путаницы, которую с собой вносит понятие материи. Материя—конечный комплекс пространства-времени с материальным качеством. Понятия субстанции великих философов XVII века отличаются от такого понятия субстанции. Оно—высшее выражение мира, а не, наподобие Пространства-Времени, мир в своем низшем выражении. Субстанция в этом смысле—не просто пространство во времени, а то, что не нуждается ни в чем другом и является своей собственной причиной... Это не высшее понятие индивидуальности или личности, или духа, а скорее то, в чем высшая индивидуальность или личность реализуется:.. Предполагать, что мир является своей собственной причиной—значит представить себе мир, порождающий сам себя в определенный момент» (с. 341).

Александер,—во избежание путаницы,—против употребления термина материи. Дело здесь касается не одной терминологии, хотя для философии она имеет огромное значение. Материя,—говорит он,—подразумевает конечность, а он трактует о бесконечности. В этом он якобы следует по стопам великих философов XVII века. Но Александер напрасно взывает к теням великих мыслителей XVII века. Субстанция Спинозы не есть пространство-время, а материя, обладающая атрибутами протяженности и мышления. Декартовская трактовка субстанции, как она ни ограничена, все же проникнута материалистическим элементом. Согласно диалектическому материализму (который во взгляде на природу материи является продолжением спинозизма, но спинозизма, очищенного от схоластики, теологической терминологии и обогащенного диалектическим мышлением), материя неисчерпаема, бесконечна, а пространство-время является формой существования материи. Понятие «материя» вовсе не исчерпывается понятием электрона, ибо сам электрон лишь этап на пути открытия науки о природе материи, сам электрон так же неисчерпаем, как и вселенная. Таким образом понятия материи и бесконечности—не взаимно-исключающие понятия, а взаимно-дополняющие понятия. Если механистический материализм усматривал раньше сущность материи в атомах, а теперь в электронах, а Александер усматривает сущность всего в пространстве-времени, то диалектический материализм, не отрицая ни реальности электронов, ни пространства-времени, подчеркивает момент бесконечности материи, говоря, что электронами себя материя не исчерпывает, а проявляет себя лишь частично, что электрон лишь одна форма проявления материи.

ВОПРОСЫ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИИ

«Согласно нашему предположению,—говорит Александер,—имеется только один, а не два процесса: психический и нервный. То, что чувствуется изнутри, есть пси-

хический процесс, то, что наблюдается или дано нам извне,—механический или нервный процесс. Когда мы говорим о них раздельно, мы рассматриваем тот же самый процесс сначала в отношении характера, соединяющего его с более простыми жизненными процессами, а затем—в отношении нового качества, которое выявляется на более высокой фазе жизненной сложности» (т. II, с. 5). Мы поэтому должны считать фактом то положение, что нервный процесс, обладающий на определенной ступени развития качеством «сознания», есть психический процесс, который является также жизненным процессом определенного порядка, но для того, чтобы жизненный и нервный процесс превратился в психологический, т. е. чтобы в нем могло появиться сознание, требуется совпадение нервных и других жизненных условий, не имеющих места в жизненных процессах, не являющихся психическими. Александер солидаризируется с Дж. Ст. Миллем, который говорит, что для того, чтобы сознание могло появиться, требуется наличие условий, образующих новое явление.

Психический процесс есть поэтому явление, которое, несмотря на то, что оно сводится к физиологическим условиям, означает присутствие специфической физиологической конституции. «Из определенных физиологических условий,—пишет он дальше—природа образовала новое качество сознания, которое не есть только физиологическое, хотя оно живет и движется и имеет свое бытие в физиологических условиях. Поэтому возможна независимая наука психологии» (т. II, с. 8). Александер несогласен с положением, что сознание сводится лишь к инертному сопровождению нервного процесса. Он отвергает доктрину, утверждающую, что сознание есть лишь эпифеномен нервного процесса, который продолжал бы действовать с таким же эффектом, даже если бы сознание отсутствовало. Те нервные процессы, которые не являются психическими, не находятся на том уровне нервных процессов, которые являются ими. Нервный процесс, являющийся также психическим, меняется и делается другим, когда он перестает быть психическим.

«Психический процесс и его нервный процесс,—пишет Александер,—имеют одно и то же существование, а не два существования. Как умственный процесс он чувствуется испытывающим субъектом; как нервный процесс он наблюдается извне посторонним лицом или умственно наблюдается даже самим субъектом. Поэтому не может быть никакого параллелизма между психическими и физиологическими сериями, как предполагает теория так называемого психологического параллелизма» (т. II, с. 9).

Разница между психологией и физиологией та, что психология занимается изучением процесса с точки зрения чувствующего, а физиология—с точки зрения наблюдающего.

Если не рассматривать сознания как единого целого психических процессов, идентичного с целым физиологических процессов, тогда мы должны стать на точку зрения анимизма, который рассматривает сознание как независимую сущность, действующую на мозг или находящуюся под влиянием действия мозга, или рассматривающую мозг как инструмент сознания. «Но как мы обычно говорим о восходе и заходе солнца, хотя нужно было бы говорить о движении земли вокруг солнца, так при *определенных условиях* мы можем сказать, что сознание, при волевом акте, напр., действует на мозг прямо и производит движение членов косвенно; или что стимул возбуждает сознание посредством мозга и направляет ход мыслей» (т. II, с. 12).

«Сознание есть «появление» жизни, а жизнь есть появление из низшего физико-химического уровня существования. «Появление» («emergent») означает новизну, которой обладает сознание, хотя оно сводится к определенному нервному расположению. Таким образом это предположение противопоставляется другому, согласно которому сознание есть «результат» чего-то низшего» (т. II, с. 14).

В вопросе о психо-физических процессах у Александера имеется целый ряд верных положений, приближающих его к диалектическому материализму, но и целый ряд

недочетов. Александер прав, когда он говорит, что то, что мы чувствуем изнутри, есть психический процесс, а что наблюдается извне—нервный или физиологический процесс, но исчерпывается ли психический процесс нервным? На это диалектический материализм дает отрицательный ответ. На самом деле, если и по Александеру психический процесс есть новое свойство, качество, отличное от низших нервных процессов, то это качество либо не сводится ни к чему другому, остается своеобразным свойством особого порядка, либо не есть новое качество, а тот же нервный процесс (пусть высший), но тогда сознание есть субъективное качество, - эпифеномен, тень действительности! В другом месте Александер говорит, что «качество сознания не есть физиологическое, хотя имеет свое бытие в физиологических условиях». Это—явное противоречие. Качество сознания, которое не является физиологическим, должно быть чем-то другим. Правда, эти два свойства, атрибуты мышления и протяжения, имеют свое единство в материи, но тут два атрибута, а не один, а у Александера они—то два, то один. Если психическое и физиологическое тождественны, тогда наука психологии не независимая дисциплина. Согласно Александеру те нервные процессы, которые не являются психическими, не находятся на уровне нервных процессов, которые являются таковыми, т. е. психическими. Выходит, что вся разница между физиологическими и психическими процессами сводится к сложности нервной системы—и только. На самом деле новое качество сознания, появляющееся при наличии более сложной высшей организации нервной системы,—действительно новое качество, которое появляется при новой комбинации материи как результат своеобразия, новизны этой комбинации.

Александер говорит, что разница между предметами физиологии и психологии та, что психология занимается изучением процесса с точки зрения чувствующего, а физиология—с точки зрения наблюдающего. Разница между этими дисциплинами не исчерпывается лишь изучением с этих двух точек зрения. Задача психологии, помимо этого изучения, по нашему мнению, несколько больше: она должна показать, состояние субъекта, процесс, происходящий в нем, и в какой мере субъект отражает объект; изучение же физиологического процесса—необходимый этап в психологии,—никогда нам не скажет об отражаемом предмете, и потому «рефлексология», «бихевиоризм», являясь необходимыми звеньями при изучении психической жизни, не исчерпывают всей задачи психологии. Переживания собаки и слюна, выделяемая собакой как результат условного рефлекса, не идентичны; конечно с этим Александер согласился бы. Все же он говорит об одном процессе.

Сравнение психического и физиологического процессов с восходом и заходом солнца неверно, ибо эти два процесса качественно различны, объективно различны, иначе они не были бы двумя атрибутами материи. Восход же и закат солнца не являются двумя атрибутами солнца, а являются результатами вращения земли, хотя объективно они могут сопровождаться целым рядом явлений вроде приливов и отливов и т. д.

Как мы видим, в мировоззрении Александера борются два элемента: материалистический и идеалистический, желание быть объективным и невольные уступки идеализму, и поэтому материалистом Александера назвать нельзя, ибо «быть материалистом,—по словам Ленина,—значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, не зависящую от человека и от человечества истину—значит так или иначе признавать абсолютную истину».[1] Александер признает объективную истину, открываемую нам органами чувств, он признает существование пространства-времени, и поэтому его можно было бы назвать материалистом, если бы он не отрицал материю—объективную истину, также открываемую нам органами чувств. Отсюда у него все многообразие мира—качества, категории, сознание—являются какими-то призраками. Они так же бестелесны, бескровны, как бескровны и призрачны «идеально

[1] «Материализм и эмпириокритицизм».

существующие», вне времени и пространства, а потому не имеющие «бытия» «понятия» (временно-пространственные категории). Правда, его мир—объект—не зависит от субъекта, но ведь тот, кто верит в призраки, тоже полагает, что они не зависят от его пугливой, болезненной фантазии, однако такой «объективизм» было бы смешно назвать материализмом. Объективизм Александера одной стороной своей принадлежит той же категории фантомов, и с таким объективизмом диалектический материализм ничего общего не имеет, ибо диалектический материализм признает материю носительницей всех качеств, объективность которых отражается сознанием, а сознание—особым свойством материи. Признавая диалектический процесс в природе, который *не сводится* к простому механическому перемещению неизменных частиц, или движению движения, диалектический материализм является единственной философией, стоящей на точке зрения объективной истины, открываемой нам органами чувств.

О МЕНЬШЕВИСТСКОЙ ПЛАТФОРМЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ

ДОКЛАД С. ДИМАНШТЕЙНА [1]

Особенности последней меньшевистской платформы по национальному вопросу, принятой меньшевистским центральным комитетом в марте—апреле 1929 г. и опубликованной в «Соц. вестнике» (№ 7—8 за 1929 г.), вытекают из всей предыдущей истории меньшевистских шатаний в данном вопросе. В истории меньшевистской национальной программы мы наблюдаем ряд разнородных и противоречивых тенденций. Даже в то время, когда основное ядро меньшевиков еще почти не расходилось с большевиками в национальном вопросе, отдельные меньшевистские выступления уже как бы предвосхищали ту оппортунистически-оборонческую позицию, которую меньшевизм в целом занял впоследствии.

Говоря об «основном ядре меньшевиков», мы имеем в виду Плеханова, Мартова и др., которые в период II съезда партии вместе с большевиками боролись против национализма Бунда, против национально-культурной автономии и против недооценки национального вопроса П. С.-Д. Плеханов резко квалифицировал бундовцев, называя их в одной статье «сионистами, боящимися морской качки», т. е. теми же сионистами, которые лишь вследствие боязни морской качки предпочитают оставаться в России. Позднее Плеханов довольно решительно осуждал даже более близких ему идеологически кавказских социал-демократов, упрекая их в том, что, связавшись с мелкобуржуазными элементами, они в национальном вопросе допустили некоторое отступление от общей программы партии в сторону национализма. Еще в августе 1905 г. Плеханов говорит, что «отечество есть категория историческая, т. е. преходящая по своему существу. Как идея племени сменилась идеей отечества, сначала ограниченного пределами отдельной общины, а потом расширившегося до нынешних национальных пределов, так идея отечества должна отступить перед несравненно более широкой идеей человечества». «Идея отечества связывает людей одной страны тесными узами солидарности во всем, что касается интересов этой страны, в их противоположность к интересам других стран» [2].

Однако наряду с подобными выступлениями мы имеем ряд данных, говорящих о том, что грехопадение меньшевиков в национальном вопросе произошло давно. Так, в связи с русско-японской войной, в «Искре» появилась статья Потресова «О патриотизме», в которой явно пробивалась тенденция к подчеркиванию большей важности национальных моментов по сравнению с классовыми. Статья Потресова, правда в довольно туманной форме, говорила о «связи между частью и целым», об «общенародном

---

[1] Зачитан в Комиссии по изучению национального вопроса Комакадемии и является первым в серии докладов, посвященных национальной платформе антисоветских партий, намеченных к заслушанию в Комиссии. Печатается в сокращенном виде.

[2] *Плеханов*, Патриотизм и социализм, с. 9.

деле» и т. д. [1]. В 1916 г., когда оборонческое лицо меньшевизма окончательно выкристаллизировалось, Потресов считал возможным ссылаться на эту статью, указывая, что «основное положение статьи остается... нетронутым» [2].

Еще раньше в письмах Аксельрода мы находим указания о необходимости— в частности, в связи с еврейским рабочим движением—отдельных национальных организаций. В 1895 г. Мартов на собрании Бунда в Вильне впервые сформулировал требование отдельной организации еврейских рабочих, как гарантии того, что интересы еврейского пролетариата не будут обойдены революционной социал-демократией. Ко времени 11 съезда Мартов в этом вопросе пришел к позиции, мало чем отличающейся от позиции Ленина.

Основной критерий для различения между подлинно марксистской революционной позицией в национальном вопросе и позицией оппортунистической, националистической заключается в оценке ими соотношения национального и классового моментов. С одной стороны, национальный вопрос рассматривается как нечто самодовлеющее, самостоятельное. Такая позиция неизбежно ведет к требованию сотрудничества классов. С другой стороны, как момент самодовлеющий рассматривается борьба классов, а национальный момент берется и используется как фактор, усиливающий или ослабляющий позицию пролетариата в интернациональной классовой борьбе. Такова единственно революционная марксистская позиция в данном вопросе.

Меньшевистскую политику и программу в национальном вопросе прежде всего характеризует невыдержанность в этом основном пункте. Здесь источник всех их принципиальных ошибок и искажений в национальном вопросе. Меньшевики органически неспособны поставить этот вопрос на его должное место. С одной стороны, мы нередко сталкиваемся с оценкой национального вопроса, как «дробного», «третьестепенного» и т. д. (особенно в тех случаях, где этим можно покрыть великодержавный шовинизм); с другой стороны, национальный вопрос, проблема нации, отечества, патриотизма и т. д., выпячивается как главное и основное, по отношению к которому классовые моменты играют подчиненную роль.

Отметим мимоходом, что логическим выводом из последней позиции является та насквозь оппортунистическая теория в области рабочего движения, которую в последнее время развивают австро-марксисты (Реннер, Бауэр) и которую они противопоставляют основным принципам Коминтерна. Согласно этой теории существует столько же социализмов, столько же форм рабочего движения, сколько наций. Национальность— самостоятельный фактор, определяющий формы классовой борьбы: «русский» большевизм, «английский» лейборизм, германский «марксизм» объявляются при этом равноправными, исторически одинаково оправданными, национальными формами рабочего движения и социализма, которые должны и могут мирно ужиться друг с другом, каждый в своих национальных пределах. Таким образом теория национальной самобытности используется как тонкое орудие борьбы с большевизмом, благодаря которому можно совместить платоническое сочувствие большевизму, как «национально-русской» форме социализма, с предательством и оппортунизмом по отношению к собственному пролетариату.

Патриотизм, национализм, оборончество по существу вытекают из той же концепции. Позиция большинства меньшевиков в период империалистической войны в достаточной мере известна, чтобы была надобность на ней останавливаться слишком обстоятельно. Плеханов этого периода рассматривает патриотизм как идеал, приобщение к которому поставит Россию в ряду европейских народов. «Дорваться России до патриотизма—значит дорваться до Европы»—такова формула Потресова, знакомая нам

---

[1] «Искра» от 15/III 1904, № 62, с. 2.

[2] *Потресов*, О патриотизме и о международности, сб. «Самозащита», Пгд. 1916, с. 20.

по его выступлению во время японской войны. В 1916 г. Потресов призывал «через патриотизм—иного пути нет—в международное царство братства и равенства» [1].

Чрезвычайно характерна позиция Ноя Жордания. Ярый оборонец во время империалистической войны, он решительно возражал тогда против всякого выдвигания национальных требований угнетенными нациями России, в том числе и грузинами, квалифицируя этот вопрос как дробный и третьестепенный. Однако за период 1916—1924 гг. он проделал своеобразную эволюцию; он стал обосновывать австро-марксистской формулой о национальных социализмах необходимость ликвидации советской власти в Грузии.

У Жордания получается, будто весь вопрос борьбы с советским строем, с диктатурой пролетариата, является подчиненным моментом, вытекающим из соображений национальной политики. Ставя дилемму (конечно, ложную по существу) о несовместимости разрешения национального вопроса и сохранения диктатуры пролетариата, он естественно, приходит к единственно возможному для него выводу о необходимости решительной борьбы с диктатурой пролетариата, вплоть до интервенции—будто бы в целях разрешения национального вопроса. Нас, марксистов, конечно, подобная фразеология не может ввести в заблуждение; мы знаем, что «национальный интерес»—фраза, прикрывающая классовый интерес наших классовых врагов внутри и вне нашей страны. Это тот троянский конь, посредством которого они хотят проникнуть в нашу твердыню.

Политика меньшевиков в период Февральской революции 1917 г. полностью отражает те же характерные черты меньшевизма. Во Временном правительстве и в советах меньшевики, ссылаясь на второстепенное значение национального вопроса, фактически поддерживали великодержавную политику русской буржуазии в отношении угнетенных наций России. Манифест о роспуске финляндского сейма был подписан, в числе прочих, меньшевиком Церетелли (как и эсером Черновым). Отклонение первой коалицией скромнейших национальных требований украинцев (в июне) было принято *единогласно* всеми министрами, как буржуазными, так и «социалистами». Эта политика подавления национальных стремлений угнетенных народов во имя великодержавных интересов русской буржуазии мотивировалась «необходимостью предоставить решение всех вопросов Учредительному собранию»; великодержавный характер этого требования, ставившего право угнетенных наций на самоопределение в зависимость от решения органа, где преобладающее влияние принадлежало господствующей нации, был в свое время разоблачен Лениным [2], не говоря уже о том, что в 1917 г. этот лозунг—«До Учредительного собрания», применявшийся и в национальном, и в аграрном и других кардинальных вопросах революции—был общим лозунгом всех реакционных сил—их последней ставкой в борьбе с нараставшей революционной волной.

Что же предполагали меньшевики проводить в самом Учредительном собрании? На это дает ответ их избирательная платформа, опубликованная в меньшевистской «Рабочей газете» 25 октября 1917 г.

В этой платформе меньшевики обещают угнетенным национальностям отстаивать... «целость и единство» Российского государства, «ибо государственное единство обеспечит наиболее благоприятные условия для экономического и политического развития России». В противовес выдвинутому большевиками «праву наций на самоопределение, вплоть до полного отделения», меньшевики требуют для «областей, отличающихся своими национальными особенностями», «права самого широкого самоуправления», вплоть до полной *автономии*». Автономия в пределах единого государства—это крайний предел революционности меньшевиков в национальном вопросе в 1917 г. Отметим, что платформа 1917 г. уже содержит бундовское требование культурно-национальной автономии, о ко-

[1] *Потресов*. О патриотизме и о международности, сб. „Самозащита", Пгд. 1916, с. 20.
[2] См. *Ленин*, т. XIX, с. 217.

торой у нас будет итти речь дальше при анализе меньшевистской платформы 1929 г., к анализу которой мы сейчас и переходим[1].

Основной пункт, открывающий практическую часть этой новой платформы, гласит:

«РСДРП исходит из признания полной независимости и государственного суверенитета вновь образовавшихся государств в их современных границах (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша) и борется против всякого посягательства на их самостоятельное существование, как и против всех попыток насильственного отторжения от них вошедших в их состав частей, стремясь к добровольному и в интересах обеих сторон совершающемуся установлению тесных хозяйственных связей и к заключению дружественных политических, торговых, таможенных или иных соглашений между ними и СССР.

Отстаивает право всех национальностей, входящих ныне в состав СССР, на свободное демократическое самоопределение—в формах автономии, федерации и вплоть до независимого государственного существования для народов, составляющих территориально-компактное целое, и в формах культурно-национальной автономии для наций, территориально рассеянных, и для национальных меньшинств. Всякое насильственное подавление национального самоопределения, основанного на демократическом волеизъявлении самих народных масс, под каким бы предлогом это подавление ни совершалось, РСДРП самым решительным образом отвергает и будет противодействовать ему всеми доступными ей средствами.

Требует увода армии, оккупирующей Грузию (!) и предоставления этой стране возможности действительно свободного демократического самоопределения» (§ 2).

Достаточно сопоставить этот пункт со всей предыдущей историей меньшевизма в национальном вопросе, чтобы убедиться в том, что перед нами—плохо замаскированная программа классовой контрреволюции. Мы видели, что самая «смелая» дооктябрьская платформа меньшевиков не шла дальше внутренней «автономии», мы показали, что дела меньшевиков вполне соответствовали этой платформе: участие министров-меньшевиков в 1917 г. в подавлении финляндского сейма и Украины, даже не претендовавших на полное отделение, достаточно убедительно доказывало «искренность» их платформы 1917 г. Отделение от буржуазной России было для меньшевиков неприемлемым; однако старый большевистский лозунг отделения становится приемлемым, как только он может быть использован для ослабления диктатуры пролетариата и в интересах ее врагов.

Эта линия проводится меньшевиками с достаточной (для меньшевиков) последовательностью. Они требуют увода армии, «оккупирующей Грузию», «заступаются» за страну, входящую свободным и равноправным членом в наш Союз республик, пользующуюся всеми благами свободного развития своей национальной культуры, и в то же время, с другой стороны, говоря о неприкосновенности «современных границ» такого государства, как Польша, не считают необходимым ни словом обмолвиться о войсках, оккупирующих порабощенные Западную Украину и Западную Белоруссию, Бессарабию, подвергнутые жесточайшему национальному и классовому угнетению и террору; упрекать меньшевиков в нелогичности не приходится: здесь своя логика—логика классовой ненависти к советской стране.

Меньшевики однако не ограничиваются признанием большевистского принципа—«права на отделение», они идут дальше и готовы признать чуть ли не всю советскую конституцию.

«РСДРП признает,—гласит один из следующих пунктов,—что система регулирования межнациональных взаимоотношений, сложившихся в результате революции, идет навстречу как требованиям национального равноправия и национальной победы, так и действительным потребностям революции и трудящихся классов всех наций Советского Союза. Поскольку эта система нашла себе выражение в положениях конституции СССР,

[1] Платформа опубликована в апреле в «Социалистическом вестнике».

положения эти в основных и существенных чертах подлежат сохранению и развитию в будущем» (§ 4).

Налицо полная капитуляция меньшевиков перед результатами нашей национальной политики. Правда, результат сознательной и последовательной деятельности партии и советского правительства они стараются представить фаталистически, как систему, стихийно «сложившуюся в результате революции», умалчивая о том, что такой результат «сложился» в решительной борьбе против них, умалчивая о том, насколько он соответствует их прошлой программе и *их прогнозу*: суть однако в том, что теперь меньшевики готовы даже обещать сохранить эту систему национального устройства «и в будущем», т. е. подразумевается, тогда, когда они и их единомышленники будут у власти. Это конечно не говорит о том, что меньшевики действительно и искренно признали правильность нашей линии и стали на нашу позицию в национальном вопросе, а лишь о том, что они убедились в исключительной крепости нашей позиции в национальном вопросе, в том, что на отрицании этой позиции они не могут нажить никакого политического капитала и что выгоднее им признать ее, чем продолжать безнадежную борьбу в этой плоскости.

Уклонившись от борьбы в области принципов, меньшевики переносят центр тяжести своей атаки в область *практики*, утверждая о расхождении принципов и практики нашей национальной политики. «Недостатками, присущими самой советской системе», основы нашей национальной политики сводятся якобы на-нет и превращаются «даже в собственную противоположность, становясь из орудия национального освобождения и примирения орудием разъединения наций и их общего бесправия перед лицом всевластного центрального правительства». Корень зла в том, что «все национальные федеративные (вероятно, союзные — *докл.*) и автономные республики, как и национальности, на словах пользующиеся культурно-национальной автономией (таких национальностей у нас нет, как нет и культурно-национальной автономии ни на словах ни в действительности—*докл.*)—на деле диктаторски управляются соответствующими национальными коммунистическими центрами, в свою очередь подчиненными диктаторской власти Всесоюзного центрального комитета» (§ 4). При этом более всего им ненавистна наша политика социалистического наступления; по их мнению эта «утопическая политика коммунистической диктатуры, направленная острием своим против крестьянства и мелкой буржуазии, составляющих главную народную массу национальностей Советского Союза», питает в недрах масс этих национальностей пагубный «националистический сепаратизм» как реакцию против «московской» центральной власти».

Было бы, разумеется, совершенно бесцельно вдаваться здесь в полемику с меньшевиками по вопросу о задачах реконструктивного периода или о недостатках и достоинствах советской системы. Меньшевики повторяют на новый лад старое требование: «Советы без коммунистов», т. е. советская система без того, что является ее основой и смыслом—руководящей роли пролетариата, т. е. советы без строительства социализма. Мы слишком хорошо знаем, что наша система демократического централизма практикой проверена как полностью и адэкватно соответствующая интересам революции, пролетариата и трудящихся масс всех национальностей, что она при существующем капиталистическом окружении является единственной защитой этих национальностей от прихода к власти капиталистов или хотя бы их агентов—тех же меньшевиков. Однако тот факт, что меньшевики теперь применяют эти лозунги в области национальной политики, лишний раз подчеркивает пропасть, лежащую между революционным большевизмом и оппортунизмом. Признавая на словах принципы и результаты нашей политики, они в то же время проглядели ее подлинную сущность, выхолостили ее живое содержание и основу. Они не заметили, что наша политика национального освобождения, ликвидации неравенства между национальностями зиждется именно на интернациональной солидарности всех народов нашего Союза, на их доверии друг к другу и к руководству всесоюзного про-

летариата, являющегося гегемоном революции, ведущим освобожденные им в прошлом угнетенные национальности к социализму. Меньшевики этого не видят, так как для них национальный момент является вопросом самостоятельным, рассматриваемым вне зависимости от общих задач социалистической революции, а в действительности—как орудие борьбы с революцией.

Интересно, однако, отметить, что меньшевики боятся тех выводов, которые вытекают из ими же отстаиваемых положений. Отрицая центральное руководство, они в то же время решительно возражают против «сепаратизма», который является как бы прямым логическим выводом из этого отрицания. Они считают, что «в наличных исторических условиях как интересы социальной и политической самозащиты рабочего класса всех наций Советского Союза, так и общие интересы революции и всех трудящихся требуют пропагандирования и отстаивания внутри каждой нации и перед лицом всех их необходимости сохранения как *хозяйственного*, так и *государственного* единства республики на основах федеративной и автономной связи ее отдельных частей и культурно-национальной автономии рассеянных наций и национальных меньшинств» (§ 3) и что «националистический сепаратизм, т. е. стремление к государственной независимости, во что бы то ни стало и при всех условиях, противоречит интересам рабочего класса, революции и трудящихся масс всех наций Советского Союза» (§ 5). Эти положения показывают, какова настоящая цена столь резких атак на «московский» централизм; меньшевики не против централизма вообще: они за хозяйственное и государственное единство республики и, вообще говоря, против сепаратизма; они лишь против той системы централизма (в действительности сочетающей единое политическое руководство и единый план с величайшей самодеятельностью мест), в которой претворяется диктатура пролетариата всех национальностей в Союзе ССР.

Остановимся еще на одном существенном пункте платформы—на вопросе о национально-культурной автономии. Этот вопрос имеет крупное историческое и теоретическое значение, так как в борьбе вокруг него, как и вокруг вопроса о праве на самоопределение и отделение, выковалась четкая большевистская линия по национальному вопросу и происходило размежевание между революционным и оппортунистическим крылом довоенной социал-демократии.

Необходимо впрочем указать на то, что первоначально между большевиками и меньшевиками не было больших расхождений по этому пункту. Принцип национально-культурной или персональной автономии (в данном случае различия в оттенках между этими двумя формами автономии несущественны) для экстерриториальных народов, выдвинутый и разработанный австрийскими социал-демократами (Реннером и Бауэром) в применении к лоскутной монархии Габсбургов, был перенесен на российскую почву Бундом; в требовании национально-культурной автономии и заключалось одно из основных расхождений между Бундом и РСДРП ко времени II съезда РСДРП. Как было указано, меньшевики в то время стояли на позиции, противоположной Бунду. Однако, в годы реакции наблюдается постепенное сползание с этой позиции и сближение с националистическими требованиями Бунда. Уже августовский блок признал пункт о национально-культурной автономии *совместимым* с программой РСДРП; в 1917 г. меньшевизм делает еще один шаг и включает этот пункт непосредственно в свою программу (см. цитированную выше платформу к Учредительному собранию) одновременно с к. д., которые на своем VIII съезде в 1917 г. тоже включили пункт о культурной автономии в свою программу. Платформа 1929 г., разумеется, сохраняет и закрепляет это «завоевание», как показывает процитированный выше пункт платформы, говорящий о «культурно-национальной автономии для наций, территориально рассеянных, и для национальных меньшинств».

Позиция большевиков всегда заключалась в последовательном и решительном отрицании культурно-национальной автономии. Эта позиция зафиксирована в ряде

статей и выступлений Ленина в годы реакции и революции, а также в довоенной работе т. Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Культурно-национальная автономия—орудие буржуазии для культурного порабощения масс, для разъединения пролетариата разных национальностей и поддержания классового мира в пределах каждой национальности. Согласно принципу культурной автономии, рабочие разных национальностей, живущие и работающие бок о бок, для удовлетворения своих культурных дел смыкаются не друг с другом, а со своей национальной буржуазией. Национальное объединение и классовое раздробление—таков неизбежный результат культурно-национальной автономии; вот почему принцип культурно-национальной автономии абсолютно несовместим с интернационализмом. И вовсе не случайно, что в меньшевистской платформе отсутствует момент интернационализма, солидарности и тесного сближения рабочих разных национальностей (исключая «общей борьбы пролетариата всех наций Союза за демократическое преодоление большевистской диктатуры») и, в частности, вопрос об организации рабочих разных национальностей в одну пролетарскую партию. Они, повидимому, стоят на бундовской точке зрения параллельных организаций пролетариата по национальному признаку: это принцип культурно-национальной автономии, перенесенный в организационную структуру партии.

Заключительный аккорд, достойным образом завершающий эту программу, состоит в утверждении, что действительное разрешение национального вопроса и борьба с шовинизмом возможны лишь «в том случае, если государственные формы Союза и политика его будут удовлетворять требованиям масс—прежде всего крестьянских—всех наций (§ 6), т. е. «в рамках демократическо-республиканского строя» (§ 8).

Итак, национальный вопрос, неразрешимый при диктатуре пролетариата, т. е. класса, наиболее проникнутого духом интернациональной солидарности, получает свое разрешение в рамках буржуазной демократии. Ненависть к советской системе заставляет меньшевиков забыть об опыте «разрешения» национального вопроса в таких послевоенных «демократиях», как Чехо-Словакия, Польша и т. д. Это лучше всего показывает, что платформа меньшевиков по национальному вопросу—не случайный эпизод, а органическая часть общей теории международного реформизма.

При изложении реформистской платформы необходимо отметить полное умолчание о таком важном вопросе, как развитие национальных культур и о тенденциях этого развития. Это объясняется существующими у них разногласиями по данному вопросу. Меньшевистская литература по данному вопросу показывает большое количество течений, борющихся друг с другом. Большинство стоит, по существу, на руссификаторской точке зрения; развитие национальной культуры—для них «игра в бирюльки». Они высказываются против «воссоздания» наций, «обреченных на гибель и исчезновение». Они еще признают Украину и, разумеется, Грузию. Белоруссия для них уже искусственное образование, не говоря о восточных или угрофинских народностях.

Для мирового меньшевизма характерно, что размежевание в нем происходит по национальной линии. Национальные меньшевистские партии, в частности кавказские, группирующиеся вокруг эмигрантского журнала «Прометей», не принимают изложенной здесь платформы. Их объединяет только ненависть к диктатуре пролетариата. Национальные меньшевики с пеной у рта говорят о проводимой нами политике коренизации, развития национальной культуры и т. д., так как они знают, что вовлечение в наше гигантское строительство широких масс коренных национальностей, чувствующих себя хозяевами своей страны, лишает их почвы, выкорчевывает корни их возможного влияния в национальных республиках.

Главное, что отделяет российских меньшевиков от национальных, заключается в том, что первые высказываются против сепаратизма и не стоят открыто за интервенцию, а «националы» занимают интервенционистскую позицию, суля всякие блага тем империалистам, которые захотели бы заняться освобождением «угнетенных» народов

СССР, продавая заранее богатства своей страны оптом и в розницу. Итак, в то время как национальные меньшевики делают необходимый логический вывод из своей позиции и, зная, что широкие массы национальностей СССР не с ними, открыто призывают помощь извне, «российские» меньшевики боятся этого вывода, трусливо от него уклоняются и продолжают уповать на чудесное «демократическое преодоление большевистской диктатуры внутренними силами самих революционных классов» и считают «необходимым вести решительную борьбу не только с национально-буржуазными, но и с социалистическими (!) группировками, допускающими ориентацию на международные конфликты». Как мы видели, это—не единственная непоследовательность этой контрреволюционной, убогой теоретически и практически, поистине меньшевистской платформы.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

Тов. Шульман. Платформа, принятая меньшевиками, носит следы определенного компромисса: тут мы находим, с одной стороны, выступления против сепаратизма, с другой стороны—подчеркивается необходимость борьбы с великорусским шовинизмом, как «особо опасным в современных условиях» (§ 7). Последний момент, если хотите, вплоть до буквальной формулировки взят из того, что некогда было принято нашей партией. Но в основном их платформа, конечно, платформа контрреволюционная. Тут напрашивается параллель с позицией контрреволюционных партий по аграрному вопросу. Как известно, в те годы, когда интервенция была реальным фактом, белогвардейцы прямо ставили вопрос об отобрании бывшей помещичьей земли у крестьян. Потом, когда они увидели, что новый строй земельных отношений органически вошел в плоть и кровь крестьянства, они уже вопрос так не ставят, и даже открытые монархисты не говорят о полной реставрации былых отношений. Они согласны на словах признать завоевания, полученные крестьянством в результате революции. О том, какую ценность имеют подобные обещания, конечно, говорить не приходится. Вполне аналогично отношение меньшевиков к тем завоеваниям, которые получили бывшие угнетенные нации в результате революции.

В платформе очень характерен последний пункт, в котором указывается, что «свою борьбу за разрешение национальной проблемы...РСДРП неразрывно связывает с общей борьбой пролетариев всех наций Союза за демократическое преодоление большевистской диктатуры». Меньшевики ставят здесь точки над и. Они прямо заявляют, что вся национальная проблема у них связана с борьбой за буржуазную демократию, т. е., иначе говоря, с общей контрреволюцией.

Тов. Широв. Тов. Диманштейн рельефно оттенил основные черты меньшевистской платформы. Нельзя считать случайным, что меньшевистский ЦК счел необходимым принять особую платформу по национальному вопросу именно сейчас. Это связано с общей политической обстановкой как внутри, так и вне нашей страны. Известно, что обострение классовой борьбы в нашей стране, в связи с сопротивлением, оказываемым капиталистическими элементами города и деревни нашему социалистическому наступлению, ведет к некоторому росту националистических и шовинистических тенденций среди этих элементов. Меньшевики и ставят свою ставку на националистические слои мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции, как возможных союзников в общей контрреволюционной работе. Платформа имеет целью реабилитировать меньшевиков в глазах этих слоев, незабывших еще их предательской роли в период керенщины. Принятием основ советской конституции в национальных взаимоотношениях они пытаются восстановить свою сильно подорванную репутацию.

С другой стороны, в этой платформе меньшевики опять разоблачили себя как один из отрядов международного империализма в его нападении на Советский Союз. К этому объективно сводятся все разговоры о Грузии, т. е. о закавказской нефти.

Несколько слов по существу платформы. Меньшевики остаются на точке зрения культурно-национальной автономии. Там, где они говорят о большем, они имеют в виду прежде всего Украину и Грузию, т. е. те нации, которые «освобождались» не для разрешения национального вопроса, а для самозащиты от большевизма. Во всяком случае они имеют в виду т. н. исторические нации. Проблема возрождения неисторических наций, восточных народов, служивших объектом колонизаторской политики царизма, у них вообще не ставится. Повидимому, для этих-то, не успевших национально консолидироваться народов, они и предлагают культурную автономию. Это требование лишний раз подчеркивает рабскую зависимость наших меньшевиков от западноевропейского реформизма, в частности от австро-марксизма, вместе с которым они идеализируют западноевропейскую демократию и ее «успехи» в разрешении национального вопроса.

Тов. Карпыч. Бывают документы, которые при всей своей неприемлемости и ошибочности все же являются крупными событиями либо в области теории, либо в области политики. Является ли меньшевистская платформа таким документом? Отнюдь нет. Платформа обнаруживает полное вырождение меньшевизма, особенно в теоретическом отношении, так как она лишена всякого научно-теоретического обоснования. Однако она несостоятельна не только теоретически, но и политически. Тов. Оширов думает, что эта платформа может стать знаменем для национальных капиталистических элементов. Я думаю однако, что она даже в этом отношении не представляет никакой опасности; ибо эта компромиссная платформа не может удовлетворить никого, в том числе и национально-буржуазную контрреволюцию, которая скорее пойдет за явными откровенными националистами, чем за меньшевистскими эклектиками и капитулянтами. Ибо документ действительно представляет собой полную капитуляцию: достаточно сопоставить ее с платформой 1917 г., чтобы в этом убедиться.

Тов. Великовский. Мы переживаем в настоящее время реконструктивный период. Этот период должен найти отражение в нашей национальной политике. Это не значит, что мы должны ее менять—об этом не может быть и речи,—а лишь то, что в нашей национальной политике мы должны проводить такую линию, которая соответствовала бы задачам реконструктивного периода. Так, например, на первый план выдвигается проблема индустриализации национальных республик и т. п. Несомненно существует определенная связь между переживаемым нами моментом и тем, что меньшевики сочли необходимым как раз сейчас выдвинуть свою национальную программу. Этот факт говорит о том, что нам необходимо в нашей комиссии поставить серьезную работу по изучению задач нашей национальной политики в реконструктивный период.

Что касается самой программы по существу, то остановимся специально на вопросе о Грузии. Тут необходимо прежде всего отметить, что вопрос об уводе «армии (предполагается «русской красной армии») и предоставлении этой стране возможности действительно свободного демократического самоопределения» поднимается ими только в отношении Грузии. Нельзя это истолковать иначе, как в смысле признания меньшевиками, что все остальные национальности Советского Союза, кроме Грузии, действительно добровольно идут с нами и участвуют в нашем Союзе. С опозданием в 12 лет меньшевики вынуждены это признать.

Что касается Грузии, то, как понимают меньшевики это «свободное демократическое определение»? В качестве образчика этого понимания можно привести цитату из журнала «Прометей», на который ссылается Диманштейн.

«Большие естественные богатства Кавказа *должны быть доступны для всех*. Ведущая к Центральной Азии дорога *должна быть открыта перед всеми*. На самом деле Кавказ, точнее Закавказье, своими несметными богатствами, известными и ценными с древнейших времен—нефть, марганец (чиатурское марганцевое месторождение является важнейшим в мире), уголь, медь, цинк, железо, серебристый свинец, табак, лес, хлопок,

шерсть, чай, шелк, фрукты, вино, скот—действительно будет способствовать улучшению экономического положения Европы, *доставляя ей сырье, большей частью необработанное*.

Кроме того, эта страна, будучи совершенно лишенной индустрии и промышленных продуктов, а также капиталов, представляла бы из себя *ценнейший рынок* для притока туда этих продуктов и вложения капиталов».

В связи с этим отрывком нельзя не отметить того, что меньшевистская платформа не заключает и намека на ту проблему ликвидации фактического экономического неравенства и экономической отсталости бывших колоний, которую мы сейчас ставим как актуальную задачу нашей национальной политики. Для них национальные окраины продолжают оставаться *колониями*.

«Прометей», как известно, является органом сепаратистских национальных меньшевистских группировок, не примыкающих в национальном вопросе к меньшевистской платформе. Однако нетрудно убедиться в том, что объективный политический смысл их выступлений тождественен. В своем меморандуме Лиге наций так называемый «Комитет независимости Кавказа» пишет, что он «убежден в том, что Лига наций... распространит свое благотворное влияние на народы Кавказа в их борьбе за независимость».

А «Прометей» раскрывает скобки и дополняет «меморандум»: «Час настал,—пишет он,—надо силами Лиги восстановить независимость Кавказа, ибо нет иного способа облегчить лежащее на Польше и Румынии бремя». Если российские меньшевики говорят о неприкосновенности границ Польши и Румынии, то национальные меньшевики, со свойственной им болтливостью, прямо говорят об облегчении этим государствам «бремени» наступления на СССР.

В качестве курьеза приводим еще цитату из близкого меньшевикам органа мусаватистов «Мусават».

«Дело национального Азербайджана начинает приобретать реальное значение (!): на днях князь Кирилл Владимирович из дома Романовых, который провозгласил себя единственным наследником трона будущей России, подписал грамоту, в которой он признает независимость Азербайджана и остальных кавказских республик. Он также подписал в присутствии французских сенаторов протокол, в котором обещает предоставить кавказским народам независимость».

Добавить к этому нечего.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДОКЛАДЧИКА

Можно было бы собственно отказаться от заключительного слова, поскольку защитников меньшевистской платформы среди нас само собой разумеется не нашлось, а выставленные мною положения возражений не встретили. Необходимо однако оттенить еще несколько моментов, недостаточно освещенных в самом докладе.

Прежде всего: платформа почти не вносит нового. Единственный «оригинальный» и новый момент в ней—это признание (на словах конечно) нашей советской программы. До сих пор меньшевики не говорили об этом так откровенно. Платформа не содержит ни одной новой теоретической мысли, не содержит и намека на более углубленный анализ итогов и результатов нашей национальной политики, колоссальных сдвигов, происшедших в национальных взаимоотношениях, процессов мощного развития и возрождения к новой жизни самых отсталых народов и племен, хозяйственных и культурных достижений национальностей СССР, изменения всей физиономии, всего, так сказать, психологического склада этих национальностей. Все это прошло мимо них; такой анализ для них опасен, в свете этого анализа немедленно вскрылась бы несостоятельность их критических потуг по адресу «московского централизма».

Далее, во главу угла меньшевики ставят: сохранение границ Польши на основе Рижского договора, сохранение границ Румынии на основе захвата Бессарабии и т. д.

В отношении этих стран, являющихся тюрьмой народов, они и не ставят вопроса о праве угнетенных наций на самоопределение и отделение. Ведь меньшевики по существу иждивенцы II Интернационала, поддерживающего европейских империалистов. Для европейского же империализма Польша, Румыния и т. д.—вассалы, выполняющие полезные функции. Этим объясняется умолчание меньшевиков по данному вопросу.

Опубликование платформы меньшевиков совпало с возрождением интереса к национальному вопросу в кругах Лиги наций. На ближайшей сессии Совета Лиги наций в Мадриде вопрос о меньшинствах будет основным вопросом; к этому готовится II Интернационал, готовятся, разумеется, и наши меньшевики. Платформа отображает взгляды II Интернационала, все теснее смыкающегося с международным империализмом: она представляет собой разрешение национального вопроса в аспекте империализма; она отвечает идеологии буржуазии, причем буржуазии угнетающих наций, ибо для буржуазии угнетенных наций она уже неприемлема. Этот переход меньшевиков от мелкобуржуазной к откровенно буржуазной идеологии господствующих наций и зафиксирован в разобранной нами платформе.

В КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ФОРМ

ДОКЛАД П. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО [1]

Доклад ставит себе целью дать чисто теоретическое построение происхождения религий, не вдаваясь в рассмотрение подробного конкретного материала. Положение Н. Я. Марра «нет науки о языке без признания актуальности проблемы о происхождении языка... нет и не может быть речи о каком-нибудь научном методе... без правильного решения или хотя бы правильной постановки этой проблемы»—содержит в себе методологическое требование чрезвычайной важности. Однако, раскрытие таких проблем, как происхождение языка, религии, семьи во всей их конкретности наталкивается на целый ряд существенных трудностей, связанных с тем, что общая проблема первобытности перестала быть для исследователя более или менее определенной. Исследователи, сделавши своим девизом точность, отказываются от постановки проблемы о происхождении и считают трактовку таких вопросов, с точки зрения методологической, прыжком в метафизику. Последнее утверждение представляет собой скрытый, но очень важный методологический промах, так как выяснение тех конкретных социальных сил, которые действуют при возникновении определенного общественного института, раскрывает природу этого института и даже, возможно, его конечную судьбу. Вместе с тем всякий исследователь, дающий каузальное объяснение эволюции общественного института, дает, тем самым, хотя быть может и смутное, объяснение самого начала этой эволюции. Чисто феноменалистическое или формальное объяснение социального явления методологически утопично, а по существу представляет собой скрытое стремление канонизировать данное явление как извечное. Методологическая необходимость иметь представление о начале социального института связана с такой же методологической необходимостью иметь представление о его предполагаемом конце, так как прекращение действия тех социальных сил, которые вызвали к жизни данный институт, оставляет его в виде жалкого, нежизнеспособного рудимента. Отказ от всякого рода предсказаний является не только стремлением к чистому феноменализму, но и желанием канонизировать самое явление. Таким образом фиксирование представления о начале и конце изучаемых общественных институтов должно с чисто методологической точки зрения входить в систему таких дисциплин, как история религии, семьи и языка. Если такое представление и будет не совсем точным в своих деталях, все же оно окажет оплодотворяющее влияние на изучение исторического развития данного института и укажет его значение в истории человеческого общества. Само историческое исследование должно быть увязано с основными проблемами настоящего, у Маркса говорится: «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Маркс о Фейербахе).

Теория Тэйлора о происхождении религии основана на принципах старинной психологии, изучавшей психическую жизнь с точки зрения законов о простейших ассо-

---

[1] Печатается в кратком изложении.

циациях. Тэйлор создал миф о «диком философе», совершенно не похожем на первобытного человека, жизнь которого сводилась к удовлетворению простейших позывов, как голод, жажда и половое влеченье. Философская попытка дать объяснение магико-религиозному поведению появилась только впоследствии. Тэйлор совершенно упустил из виду техническую, экономическую и политическую жизнь раннего общества и придал религии самодовлеющее существование, развивающееся по присущим ему имманентным законам.

Современная этнология знает целый ряд религиозных феноменов, которые не входят в ранние анимистические верования. Это в первую очередь *культ мертвого тела*, самая архаическая форма религиозных верований, которая должна быть строго отделена от анимистических форм почитания различного рода душ и духов. О нем имеются археологические данные, начиная с мустьерского периода палеолита. За ним идет примитивная магия, не нуждающаяся в анимистических представлениях и, наконец, культ героев-творцов или все-отцов. Самым резким аргументом против тэйлоровской теории является чрезвычайная смутность и недосказанность терминов «душа» и «дух». Существует целая пропасть между европейским и примитивным представлением о душе, и поэтому мы должны ясно различать между анимистической теорией религии и анимистическими верованиями, наличность которых совершенно невозможно отрицать. Общее направление анимистической теории состоит в том, чтобы вывести все многообразие религиозных явлений из единого материального источника —психических явлений— сна, видения и экстаза. Это стремление к симплификации, само по себе допустимое, привело в данном случае к тому, что религиозная жизнь человека во всей ее сложности и многообразии оказалась одним грандиозным сном, который снился человечеству целый ряд веков. Поэтому прав Дюркгейм, когда он говорит, что по теории Тэйлора религиозные верования являются следствием галлюцинаторных состояний и не имеют никакого объективного основания, под которым Дюркгейм понимал отношение к каким бы то ни было обстоятельствам социальной жизни. Очень точно формулирует также и Леви Брюль основную ошибку Тэйлора и его последователей, говоря, что они верят в идентичность человеческой души, всегда подобной себе, с логической точки зрения, во все времена и во всех местах. Согласно анимистической теории стержнем психических функций первобытного человека, независимо от условий социального окружения, является анализ его собственной психики.

Потребность в научной симплификации может быть удовлетворена в этом вопросе другим путем. Религиозный опыт человека может быть сведен к нескольким корням, исходящим из одной общей формальной причины, которая может быть охарактеризована: 1) как напряженность, существующая между экономическими нуждами человека и окружающей его природой, 2) как внутренняя напряженность, возникающая в примитивной человеческой орде с выделением более способных ее членов и 3) как уменьшение пластической формы и силы человеческой орды вследствие естественной или насильственной смерти ее членов. Психологические реакции примитивной человеческой группы очень реалистичны, т. е. крайне конкретны и материалистичны. Для того же, чтобы представить себе тэйлоровскую душу, безличную магическую силу или магическое сходство, нужна большая или меньшая доля абстракции. Можно думать, что в процессе эволюции религиозных форм, так же, как в эволюции языка и мышления, вполне реальные представления предшествуют всякой абстракции и символике.

Простейшей формой религиозного реализма является поклонение мертвому телу, известное со времени палеолита. Во всех разновидностях этого культа предметом магических и религиозных воздействий служит само мертвое тело. Эти воздействия обнаруживают некоторую амбивалентность: с одной стороны—страх, с другой—почитание технических способностей умершего члена группы и стремление сохранить эти способности в распоряжении данной группы.

Почитание останков умершего является, таким образом, социальной реакцией на уменьшение пластической силы группы, происшедшей вследствие смерти ее сочлена.

Нет основания думать, что обряды, сопровождающие культ мертвых, относятся к душе умершего. Они относятся непосредственно к самому мертвому телу.

Экономическая напряженность, существующая между нуждами человека и окружающей его природой, находит свое выражение в магических действиях. Фрезеровские теории о первобытной магии и первобытной религии представляют собой чрезвычайно яркий образчик эволюционистской теории, и поэтому в них совершенно отсутствует всякая эволюция в смысле классификации магических действий. А между тем анализ магических форм по степени их реализма дал бы нам возможность различить, какие из них являются более ранними. Вполне реалистическая имитация объекта магического воздействия несомненно предшествует схематическому и символическому изображению. Между этими формами существует ряд переходных—полусимволических, и во многих случая формы эти определяются материалом, употреблявшимся для магических церемоний, затруднявшим реалистическое изображение магического объекта. Поэтому можно с большой уверенностью предположить, что в наиболее ранних этапах человеческой жизни преобладают совершенно реальные действия и можно даже проследить их связь с различными видами охоты. Центрально-австралийское плато, которое Фрезер считает классической страной магического ритуала, поставило человека в особенно трудные условия существования и тем способствовало пышному расцвету магии. Недостаточность естественных благ и восполняется здесь фантазией.

Эволюция магии заключалась в том, что более или менее реалистические объекты магического действия заменяются схематическими или символическими изображениями таких объектов. Появление и быстрый рост схематизма и символизма должно быть отнесено ко времени переходному от палеолита к неолиту. К этой же эпохе относится и падение старинного реализма. Пластическая сила каждой группы и ее врожденная тенденция к самосохранению протестовали против таких нововведений, и этот протест был облечен в форму социальной санкции, благодаря которой первобытный творец получил качества законодателя и даже в некоторых случаях карателя.

Первобытное мышление никогда не представляло себе творца, сотворившего мир из ничего; он творил его всегда из уже существующего материала, как мастер или колдун.

Канонизация могущественного колдуна имеет подтверждение в одном из положений яфетической теории. Развитие речевой культуры началось, по Марру, с переходом звуковых символов магического значения, составлявших монополию руководящей группы, к расширенному использованию в быту. Социальный вес группы примитивных колдунов, распоряжавшихся магическими функциями звуковой речи, был чрезвычайно велик, и им, творцам первых артикуляций, легко могли быть приписаны функции творцов и первых устроителей природы и человеческих учреждений.

Идея о примитивном творце имеет более сложный характер, чем примитивная реалистическая магия и почитание мертвецов; чрезвычайно трудно определить ту степень, в которой каждая из этих трех форм ранних реалистических верований была развита в религиозной жизни данного общества.

Классическая теория религиозного развития Тэйлора и Спенсера объединяет эти врожденные человеческому уму тенденции к единству. Но единство это носит поверхностный характер и привело теорию Тэйлора к разрушению.

Законное стремление научной гипотезы к внутреннему единству может быть удовлетворено другим путем. Выдвинутые в докладе три вида раннего магического и религиозного почитания гетерогенны только по своей внешней форме. Их внутреннее единство сохраняется определением тех социальных сил, которые творят этот ранний религиозный реализм, а именно стремлением каждой человеческой группы к самосо-

хранению против своего окружения и против всех тех дезинтегрирующих эту группу тенденций, которые возникают в ней самой.

Первобытный человек магическими действиями, т. е. средствами идеологического порядка, пытается уничтожить жизненную дисгармонию между группой и внешним миром и внутри самой группы.

Говоря как философ-моралист, можно было бы сказать, что человечество строит блестящие фантазии для того, чтобы несколько смягчить свои вечные несчастья и страдания. Говоря как богослов, можно на основании выставленной теории сказать, что только потеря рая могла дать человечеству то сложное явление, которое мы называем религией.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

Лукачевский, А. Прежде чем перейти к прениям, необходимо выяснить, в чем заключается острота предстоящей дискуссии? Доклад П. Ф. является прежде всего попыткой опровергнуть анимистическую теорию, которой придерживаются 99% всех марксистов. Затем в дискуссии необходимо выяснить, чем отличаются марксистские анимистические теории Кунова, Степанова и др. от анимизма Тэйлора, Спенсера и Вундта.

И, наконец, мы должны будем подробно остановиться на сложной комплексной теории П. Ф., представляющей собой собственно комбинацию трех теорий: теории культа мертвых, примыкающей к Покровскому и Липперту, теории первобытной магии, представляющей собой по существу веру в безличную силу, т. е. преанимизм и, наконец, культа героев-творцов, в котором без труда можно увидеть прамонотеизм патера Вильгельма Шмидта. Предстоящая дискуссия будет только тогда плодотворна, когда мы снабдим наши положения иллюстративным этнографическим материалом, расположенным в хронологическом порядке.

Аптекарь, В. Прежде чем приступить к дискуссии, необходимо получить ответы на следующие вопросы: 1) что следует понимать под социальными силами, формирующими тот или иной институт, 2) что следует понимать под политической жизнью в первобытном обществе, 3) что подразумевает докладчик под нашим европейским представлением о душе, 4) далее, что следует понимать под напряженностью между внешним миром и экономическими потребностями человека, 5) под пластической силой человеческой группы, 6) под силой социального сцепления, под врожденным стремлением к самосохранению.

Рожицын, В. Положение П. Ф. о напряженности между потребностями первобытного человека и природой не имеет ничего общего с экономикой, так как здесь устанавливается противоречие между биологическим моментом и моментом физическим, между человеком и природой, а не противоречия в отношениях людей между собой. Когда же мы говорим о потребностях с марксистской точки зрения, мы имеем в виду общественно-организованные потребности, а не биологические. Этот единственный марксистский момент в теории П. Ф. оказался неимеющим никакого отношения к экономике. П. Ф. просто устанавливал, как это делают все, соотношение между религиозными формами и хозяйственным бытом. Теория возникновения религии из трех источников—плюралистична, марксистская же теория—монистична. Всякая теория религии должна быть монистичной, должна устанавливать, в каком соотношении находятся друг к другу источники ее возникновения. Последовательные анимисты всякое явление объясняли с анимистической точки зрения—магия предполагает ритуальное воздействие на дух, творец есть существо анимистическое. То же делает и преанимистическая теория и теория культа предков. Что же касается П. Ф., то он исходит из тройной причины и вносит хронологическую путаницу и ряд противоречий: примитивный человек делает объектом религиозного воздействия мертвое тело, и таким образом религия

оказывается уже существующей раньше одного из своих источников. Чем бы ни был праотец, без анимистических представлений, без абстракций, цельное построение невозможно. Из одной магии построить религию невозможно, она должна на что-нибудь опираться.

Марксистская теория религии необходимо связана с анимизмом. Анимизм—это наиболее общий, наиболее широкий факт в развитии религиозных верований. Всякая марксистская теория стремится обосновать свои положения на фактах, объясняющихся из экономики и поэтому не может пройти мимо анимизма.

Энгельс полагает, что первая философская мысль, возникшая у человека, была мысль о том, что делается с человеком после смерти и во сне. По мнению же П. Ф., первая мысль была о том, кто сотворил мир и человеческие учреждения. Энгельс говорит также, что самое сложное идеалистическое построение коренится в первичных верованиях дикарей, а П. Ф. утверждает, что европейское представление о душе ничего общего с первобытным представлением о душе не имеет и разрывает, таким образом, ткань исторического развития. Теория П. Ф. есть теория неясная, недосказанная; если ее досказать до конца—она будет не марксистской, если не досказать, она будет путать наши представления о процессе развития религии.

Папава. Ценность доклада П. Ф. значительно уменьшается тем, что он не привел в подкрепление своей теории необходимого этнографического материала.

Обращаясь к схеме, построенной П. Ф., нужно сказать, что, выставив вначале целый ряд положений марксистской исторической школы в этнологии, сам П. Ф. строил свой доклад как чистый эволюционист, смешав в одну кучу марксистов и идеалистов, объединив их в общей категории анимистов. Присоединяясь к Дюркгейму в его критике анимизма, П. Ф. полагает, что под объективными основаниями религии Дюркгейм имеет в виду социальные условия, под влиянием которых складываются религиозные представления. На самом же деле мы имеем все основания думать, что под объективным обоснованием религии Дюркгейм понимает свой минимум религии—противоположение священного (sacré) мирскому (profane).

Переходя к первому из трех китов схемы П. Ф., необходимо отметить, что П. Ф. рассматривает культ мертвых от неандертальцев до наших дней как проявление одного и того же стремления сохранить пластическую силу группы. Таким образом П. Ф. оказывается повинен в том грехе, в котором он укоряет Фрезера, а Леви Брюль—Тэйлора—в вере в идентичность человеческой души, всегда подобной самой себе. На самом же деле мышление первобытного человека было дологическим, соображения о нарушении силы группы смертью его сочлена и желание восстановить равновесие каннибалистическим путем было ему недоступно. Неандертальские погребения представляют собой просто продукт табуизации мертвого тела вследствие страха смерти.

П. Ф. отрицает анимистический характер культа мертвых именно потому, что утверждает константность человеческого духа. Иначе он понял бы, что магические действия, относившиеся первоначально к душе материальной, неотделимой от тела, рассматриваются впоследствии как проделываемые над духом.

Всякому, кто знаком с фактическим материалом, относящимся к культу мертвых, ясно, что его нельзя втиснуть в схему П. Ф.

Совершенно непонятны те причины, которые побудили П. Ф. выделить культ героев-творцов, не упомянув при этом ни слова о тотемизме. Утверждая, что бог-отец—фигура доанимистическая, П. Ф. действительно, очевидно против своего желания, подходит к шмидтовскому прамонотеизму. П. Ф. говорит, что анимистическая теория находится вне времени и пространства. Это в большей степени приложимо к его построению. Если мы и не можем считать символизм самым примитивным способом мышления, все же он является необходимой ступенью в развитии человечества, представляющей основу построения религии. Но говорить о религии в настоящем смысле этого слова можно

только тогда, когда связь с духами устанавливается в форме магических требований. Относя начало религии к палеолиту, П. Ф. запутывает вопрос о ее возникновении, как формации классовой, и ставит под сомнение ее исчезновение в бесклассовом обществе.

Максимов. Анимистическая теория возникновения религии является несостоятельной потому, что она предполагает наличие какой-то теории у первобытного человека, у которого никакой теории быть не могло. Нельзя говорить о религии, как о явлении едином во всех слоях населения, необходимо отличать религию масс от религии религиозных специалистов. В массах не существует никакой теории, там есть только религиозная практика, действенность которой массы рационалистически объяснить не могут. Надо принять еще во внимание, что у малокультурных народов не существует понятия чуда, нуждающегося в объяснении. Для них чудесное— естественно и в объяснении не нуждается. Понятие чуда создается только тогда, когда уже постигнута закономерность природы. Религиозная теория также возникает много позже и не у всех людей, а у специалистов, и задачей марксистской науки является выяснение условий возникновения этой группы специалистов и ее влияния на практику и на дальнейшее развитие теории уже в самом народе.

Основным моментом в развитии религии является магия, под которой следует понимать совокупность различных действий, сложившихся эмпирическим путем и лишенных какой бы то ни было теории. Культ героев-творцов в возникновении религии роли не играл. Эти «творцы» ничего общего с богом-творцом не имеют.

Аптекарь, В. Марксистская теория, неудачно привешенная к докладу т. Преображенского, по существу никак с докладом не связана, и все те места, которые могут показаться марксистскими, никакого отношения к марксизму не имеют. Прежде всего— методология. Докладчик, избрав своей темой происхождение религии, не потрудился дать определение религии. Марксистская теория определяет религию как надстройку, и это обстоятельство обязывает говорить не о религии вообще, а о конкретном историческом явлении, связанном с определенной общественно-экономической формацией, с определенным общественным способом производства, идеологической надстройкой которого религия является. Если же взять, например, марксистообразное положение П. Ф., а именно противоречие между природой и обществом, то это противоречие существовало всегда и будет существовать всегда, и следовательно, на основании этого, мы должны будем признать религию вечной.

Построение П. Ф. никак не может быть названо марксистским. Это дюркгеймовская теория общества, как ипостаси, существующая вне времени и пространства, причем П. Ф. поставил это общество в условия противоречия между потребностями и возможностями. Марксисты не делают из своей теории религии догмы, но требуют, чтобы исследователь строил новую теорию религии, только доказавши несостоятельность старых,— Фр. Энгельса, Г. Плеханова. П. Ф. этого не сделал. Он опустил также много важных фактов, например тотемизм.

Если мы обратимся теперь к трем китам, на которых строится теория П. Ф., то мы увидим, что они совершенно не увязаны, так как не выяснен вопрос, что предшествовало религии, и вопрос становления ее совершенно не затронут. Почему мертвое тело, знакомое человеку еще на животной его стадии, стало для него предметом культа?

Обращаясь к проф. Максимову, надо сказать, что с того времени, как у человека появилось мышление, он в этом мышлении стал отражать окружающий его мир, и это отражение и является теорией, мировоззрением. Весь вопрос только в качественном и количественном объеме этого мировоззрения.

Зельцер. Помимо всех методологических ошибок, указанных здесь, теория П. Ф. не дает ничего нового и представляет собой соединение старых теорий. Поскольку П. Ф. не вложил в свое построение никаких социологических элементов, его теория явно не марксистская.

Марксистская теория стоит на правильной линии для последующих ступеней развития религии, но для первичных ступеней она допускает крупные ошибки. Вопрос о происхождении религии может быть разрешен только тогда, когда мы тщательно и внимательно проследим развитие доклассового общества.

Т о к а р е в. Доклад П. Ф. представляет большую ценность главным образом потому, что он направлен против анимистической теории, все еще продолжающей господствовать, несмотря на то, что против нее выдвинуты веские соображения. П. Ф. указал две ошибки анимистической теории. Во-первых, все разнообразные и пестрые религиозные верования насильственно и искусственно подгоняются под анимистическую схему и, во-вторых, при анимистическом понимании религиозное развитие представляет собой филиацию идей, саморазвивающийся ряд, начинающийся с простых элементов и кончающийся сложными и высокими формами. Как раз это последнее и является грехом анимистической теории с точки зрения марксизма. Тов. Рожицын находит, что теория, сводящая все религиозные явления к одному, изображающая их как звенья единого развития, является монистической.

На самом деле, представление о развитии религии, как о смене идей, из которых каждая вытекает из предшествующей и, постепенно усложняясь, составляет саморазвивающийся ряд, никак нельзя назвать монистическим. В марксистском понимании монистическим будет понимание каждой данной общественной формации как целого, все части которого являются функцией основной общественной базы—производственных отношений, составляющих определенную ступень развития производительных сил. Монистическая марксистская точка зрения состоит в том, что на каждой ступени религиозного развития, для каждой конкретной религионой формы нужно подыскать ее социальные корни.

Недостатки доклада, уже указанные другими оппонентами, — это отсутствие определения религии. Совершенно необходимо было дать определение религии, так как от этого зависит определение границ—откуда мы начинаем религию.

П. Ф. указал три основных корня религии на том основании, что к этим трем корням можно свести все остальные. Однако некоторые формы религиозных верований нельзя свести к этим трем корням, как нельзя вообще сводить без натяжки все религиозные формы к анимизму или к культу мертвого тела. Все он и имеют свои собственные общественные формы и не зависят друг от друга.

Правильная мысль, брошенная П. Ф., о том, что представление о душе является символическим замещением человека, как объекта магического воздействия, была им недостаточно развита.

П. Ф. рассматривает магию как нечто единое и цельное, как один из корней религии. А между тем магия соединяет в себе действия прямо ошибочные и действия рациональные. Лечебную магию иногда очень трудно отделить от первобытной медицины, магию земледельческую от примитивной хозяйственной техники. Но самое главное—это то, что между отдельными видами магии лежит целая пропасть. Магия лечебная связана с шаманизмом, магия земледельческая близка к аграрной культуре. Нельзя один род магии выводить из другого, для каждого рода нужно отыскивать совокупность соответствующих ему социальных отношений и делить магию по ее социальной роли. Указание на напряжение между потребностями человека и объективными обстоятельствами, как на источник возникновения религии, методологически неправильно и противоречит объективным фактам.

П. Ф. не дал также и социального объяснения культа мертвого тела. Что касается культа героя-творца, то самая идея героя-творца гораздо сложнее, чем ее дал П. Ф., и содержит несколько разнородных элементов.

Общий вывод таков, что многофокусность, которую подчеркивает П. Ф., не должна быть уступкой пестроте фактов, а должна вытекать принципиально из правильно понятого марксистского подхода к религии, как к общественному явлению.

Никольский, В. Проф. Преображенский исходит в своих работах из принципа большой константности человека, его природы, мысли, его семейных и даже общественных отношений, в которых П. Ф. видит скорее количественные, чем качественные изменения. Эта исходная точка и не позволяет согласиться с докладом П. Ф. целиком. Неправилен также подход П. Ф. к Тэйлору. Наука преемственна, отрицать все старое и начать строить новое на голом месте неудобно. В каждой теории, поскольку она исходит из фактов, есть какое-то ядро полезности и конкретности.

П. Ф. и сам раньше не отрицал анимизма, теперь же он не уделяет анимизму никакого места в религии.

В прениях был затронут вопрос о преанимизме. Никакой самый ярый анимист не станет отрицать его существования. Нельзя проводить непрерывную линию развития, устанавливать константность мышления и приписывать пещерным людям разделение мира на телесное и духовное начало. Все дело, следовательно, в том, к какому моменту мы должны отнести начало анимизма. На основании развития памятников искусства, анимизм следует отнести к неолиту.

П. Ф. не учел в своем докладе последних работ *Spencer'a* и *Gillen'a*, которые настаивают на том, что у австралийцев анимизм существует, а также не использовал и других новейших данных о южноамериканских племенах. Все они показывают, что нет ни одного ныне существующего народа, у которого бы не было анимистических верований.

В заключение необходимо указать на в высшей степени туманную терминологию П. Ф., неприемлемую не только с марксистской, но и с общечеловеческой точки зрения и роднящую его доклад с какой-то особой научной магией.

Лукачевский, А. Со стороны методологической доклад построен очень слабо. Отсутствует определение религии, а оно имеет большое методологическое значение, так как от него зависит и подбор материала.

Как бы ни относиться к анимизму, но в современных религиях он существует, и в докладе о происхождении религии необходимо было указать его место. В своем определении религии Плеханов подчеркивает, что религиозными идеи становятся только тогда, когда они пронизаны анимизмом. Все остальные элементы—чувство, действия и мораль—сами по себе не являются религиозными. Попытки указать другое содержание религии—страх у новейших американских психологов, чувство священного у Дюркгейма—при ближайшем анализе оказываются несостоятельными. Если подойти к религии с точки зрения построения П. Ф., то и в культе мертвого тела мы найдем анимистическую идею. Дикарь, поедая труп, хочет вернуть себе какую-то силу. Это или безличная сила, от которой П. Ф. справедливо отказался, как от абстракции, недоступной дикарю, или вполне реалистическая личная сила в духе Вундта. В понимании анимизма между Тэйлором и марксистскими авторами существует коренное различие с точки зрения социологического объяснения явления. У Тэйлора дикарь—первобытный философ, а все религии—результат умственного процесса. Степанов же вводит процесс в определенную историческую обстановку, связывает со стоянкой, с пользованием орудиями труда, а Эйльдерман устанавливает связи с обменом в первобытном охотничьем обществе. П. Ф. пытается провести культ мертвых во все эпохи, даже в эпоху строителей пирамид, не замечая явно анимистического характера верований в двойника человека—Ка.

В положении П. Ф. о богах-творцах и героях чувствуется сильное влияние патера Шмидта, поскольку П. Ф. говорит не только о предках, а о творце, судье и даже карателе, и относит это явление к ранним эпохам человеческой культуры.

Попытка П. Ф. подвести социальный базис под религиозные явления неудачна. П. Ф. не оттенил служебную роль религии, как идеологической надстройки. Он не указал также на эксплоататорскую роль религии, хотя и взял для своего анализа такую эпоху, где дифференциация общества уже имеется, где выделяются колдуны и техниче-

ские руководители. В Австралии, например, старики используют в своих интересах тотемистические и анимистические представления племени. Борьба с анимистической теорией религии является на Западе одним из способов защитить и идеализировать религию. Построение П. Ф. идет по тому же пути. Если сущность религии—это поклонение героям и умершим, то и религия будет существовать всегда. Если выводы П. Ф. продолжить до конца, то получится очень вредная, антимарксистская теория.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДОКЛАДЧИКА

Этнографический материал но вопросу о поедании трупов указывает, что каннибализм присущ не всем дикарям, а группе избранных, которая поедает труп с соблюдением торжественных обрядов, так как поедает в этом трупе нечто сверхъестественное. Является ли сверхъестественное анимистичиским началом или заключенной в трупе силой—это большой вопрос, и не надо предполагать существования в трупе силы или духа, так как труп сам по себе представляет для группы сверхъестественную ценность. Египетское Ка также очень мало дает для анимистической теории—это магический двойник, а не анимистическое представление.

Что касается распространения культа мертвого тела на большой отрезок времени, то надо сказать, что всякая форма религиозного культа отличается большей консервативностью и сохраняется долго в различных видах. Анализируя различные формы культа мертвых на протяжении веков, можно сказать, что культ этот относится не к духу, а к телу.

Кардинальный вопрос всей теории происхождения религии—это вопрос, какие религиозные формы являются более ранними. В докладе были указаны три формы, наиболее ранние, возникшие в бесклассовом обществе. В докладе было также указано, что основной момент анимизма, представление о духовном человеческом двойнике, требует настолько отвлеченной работы мысли, что его нельзя отнести к ранней ступени человеческого существования; наиболее ранней формой нужно признать такую, где имеются конкретные религиозные представления и этот религиозный реализм лишь впоследствии уступает место формам более символическим.

В основе одной из указанных ранних религиозных форм, в магии, лежит несоответствие между социально-обусловленным потреблением и производством. Магия наиболее сильно развита у австралийцев, которые находятся в особенно тяжелых условиях. Малиновский указывает, что в тех случаях, где магия развита неодинаково сильно в различных отраслях производства, она сильнее всего развита в тех отраслях, где человек наименее уверен в своей способности побеждать препятствия. Религиозный характер магия приобретает в моменты социальных кризисов, когда потребление начинает отставать от производства.

При рассмотрении другой ранней формы—культа мертвого тела—можно сделать тот вывод, что смерть уменьшала силу орды, выводила ее из социального равновесия. Отсюда попытка оставить умершего в распоряжении группы.

Образ, по которому можно было сотворить фигуру творца или героя, был дан в реальном человеческом обществе первобытным колдуном. Потребность в таком образе возникала при каждом изменении в данном обществе, при столкновении одной группы с другой. Все эти указанные религиозные формы нисколько не утверждают вечности религии. Она исчезнет, когда производство станет планомерным, когда оно будет социализировано.

В заключение нужно сказать, что до сих пор определенной марксистской теории религии не существует. Поскольку марксизм будет понимать анимизм как теорию религии, он никогда не сможет обойти кардинального факта, вопроса о самом представлении о душе. Тэйлор решал этот вопрос вне времени и пространства, для нас он представляется заданием, готового решения еще нет. Что касается моей теории, то она и реалистичнее и материалистичнее той теории, которую ныне защищают марксисты.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИФОЛОГИИ

ДОКЛАД В. С. РОЖИЦИНА [1]

Основная тема доклада—вопрос о политическом мифе и политической мифологии вообще. Исходным пунктом доклада является книга фрейдиста Эмиля Лоренца «Политический мир». Основной теме предпосылается введение, касающееся развития форм мышления и места мифологического мышления в ряду других форм. Существуют следующие исторически развивающиеся формы: *магическая*, *мифологическая*, *символическая*, *метафизическая и диалектическая* формы мышления.

Деление мышления на *дологическое и логическое* неправильно, так как всякая трудовая деятельность неразрывно связана с понятием причинности, а наличность этого понятия предполагает те или другие формы логики. И самое элементарное мышление—*магическое*—является все же логическим, так как связано с представлением магической зависимости между явлениями: часть равна целому, однажды бывшее прикосновение устанавливает связь между предметами.

Вторым в порядке исторического развития является мышление *мифологическое*. Оно невозможно без представления о душе, но анимизм не является формой мышления, а первобытным миропредставлением. В мифологическом мышлении всякая причина имеет характер духовный и личный. Согласно мифологическому мышлению, отношение человека к природе есть отношение человеческого духа к тем духам, которые стоят за каждым явлением природы.

До недавнего времени отношение человека к природе считалось единственным содержанием мифа. Только за последнюю четверть века найден был ряд мифов явно социального характера, возникших не из толкования природы, а из толкования общественных явлений.

Основной чертой мифологической причинности является сведение социальных перемен к духовному влиянию личности, и с этой точки зрения буржуазные теории, объясняющие исторические явления влиянием личности, представляют собой не науку, а мифологию. Социальные явления настолько грандиозны, что, если видеть в них проявление личности, то сама личность вырастает до мифологических размеров. К таким социальным мифам и относится целый ряд исторических легенд, начиная от Семирамиды и кончая Христом.

Символическое мышление очень сходно с мифологическим—их часто трудно различить. Единственное обстоятельство, заставляющее выделить его в особую форму,—это то, что символическое мышление очень резко проявляется в вырождающихся религиях. Те религиозные действия, которые в период расцвета религии воспринимались мифологически и представляли собой воспроизведение мифического действия, в эпоху ее упадка становились чисто символическими, т. е. передавали в условной образной форме духовные сущности. Символическое мышление, на котором целиком построено искусство,

[1] Печатается в кратком изложении.

сохранилось до настоящего времени и пронизывает все сферы наших представлений вплоть до политических.

Метафизическое мышление—категория настолько определенная, что о нем распространяться не нужно. Представляя собой противоположность диалектическому мышлению и вызывая этим наше отрицательное отношение, метафизическое мышление имеет вместе с тем огромную историческую ценность, являясь необходимым этапом в развитии науки. Последовательное научное мышление есть мышление диалектическое. Противопоставление религиозного и научного мышления неправильно: есть мышление метафизическое и диалектическое. Религиозного мышления нет, так как религия не имеет объективного соответствия. Богословие же руководится магическим мышлением, метафизическим и т. д. Существует даже религиозная диалектика, так как у Гегеля было несомненно диалектическое мышление, втиснутое в рамки религии.

Что касается, наконец, мышления *диалектического*, то оно резко противоположно всем остальным формам мышления. В диалектике порядок идей подчинен порядку вещей, и логика субъективная есть точная копия логики объективной. Вместе с тем диалектическое мышление есть единственное, с помощью которого мы можем объяснить все другие формы мышления, как объективно необходимое отражение в идеологии социального процесса.

Переходя к мифологии, необходимо остановиться на определении Плеханова—Эренрейха, которые рассматривают мифологию как примитивное миросозерцание. Мифология есть действительно миросозерцание, т. е. не только форма мышления, но и содержание его, но это миросозерцание не есть принадлежность примитивного человека,—оно свойственно и современному. Маркс впервые отметил существование и развитие политических мифов, которые буржуазия всеми новейшими способами связи распространяет по всему миру в громадном количестве. Образцом таких мифологических понятий и являются, по мнению Маркса, идеи свободы, равенства и братства, аналогичные в сознании буржуа соответствующим древним божествам. Существование современного политического мифа признает не только Маркс, его признают и фрейдисты. Фрейдизм уже давно стал цельным миросозерцанием, охватывающим также и социологию. Фрейдистская социология и есть в сущности политическая мифология—все основные политические и социальные понятия имеют по существу мифологический характер и взяты из запаса первобытного мышления человека, которое, в свою очередь, тождественно с индивидуальными способами инфантильного человеческого мышления. У самого Фрейда социологическая теория разработана слабо. Она развита более подробно его последователями; в частности, теория политического мифа развита подробно в вышеуказанной работе Лоренца. Очень характерным для этого направления является толкование Лоренцом лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» как трансформации первобытного тайного полового союза мужчин, и объяснение одного случая растерзания во время Французской революции восставшими крестьянами своего феодального владельца как воскрешение тотемистического празднества. Такие контрреволюционные нелепости с логической необходимостью вытекают из основ фрейдизма, который никак нельзя рассматривать как нейтральную, в политическом отношении, теорию.

В вопросе о политическом мифе Лоренц исходит из основного положения фрейдовской теории — эдиповского комплекса, ограничивающего область человеческих отношений тремя сущностями—отцовской, материнской и сыновней. При этом Лоренц, учитывая марксистское понимание истории, к которому он относится вообще враждебно, указывает, в частности, что в первобытном охотничьем племени не могло создаться никакого понятия о родине, потому что для кочующего племени земля не имела никакого значения. Но как только возникло земледельческое общество и образовалось государство, так возникло сразу мифологическое мышление на основе отождествления земли с матерью, а повелителя или царя, как представителя государства, с отцом, причем народ проникнут

амбивалентными чувствами к тому и другому. Отношение к земле, как к матери, порождает целый ряд мифологических представлений, кочующих через всю историю до настоящего времени. Лоренц видит отражение этого сексуального мышления и в языке и с этой точки зрения рассматривает содержание таких слов, как отечество и родина. В конечном счете, он приходит к выводу, что революционная борьба против тиранов есть не что иное, как отражение сыновней ненависти к отцу на почве сексуального отношения к матери.

Общая теория политического мифа сводится у Лоренца к следующему: в революционных мифах каждый революционер прежде всего дурак или грубый, тупой и ограниченный человек, и это не случайно, так как в этом герое символизируется народ. Что же касается революции, то, судя по толкованию, даваемому Лоренцом мифу о Бруте, она также сводится к сексуальному моменту.

Гораздо большее значение, чем эти контрреволюционные выводы, имеют те идеалистические предпосылки, которые лежат в основе фрейдовской теории. В социологии фрейдистов и в их объяснении истории господствует сведение всего социального к индивидуальному, всего индивидуального—к сексуальному, всего более сложного, культурного—к примитивному.

Ошибочность фрейдовского взгляда на сущность политического мифа особенно ясно проявляется в толковании очень распространенного, мигрирующего мифа о герое, освобождающем женщину от змея. Фрейдисты дают ему чисто сексуальное толкование, по которому дракон или змей символизирует собой мужские гениталии, вызывающие у девушки до замужества страх и отвращение, в то время как прекрасный принц, заменяющий дракона, олицетворяет собой положительное отношение женщины, возникающее после брака. Такое толкование в духе амбивалентности фрейдисты дают очень многим мифам. На самом деле такого рода мифам, изображающим собой борьбу за женщину, можно дать совершенно другое объяснение. Женщина в них символизирует собой землю, символизирует собой свободу, и в таком толковании мы уже имеем не сексуализирование политических представлений, а наоборот, освобождение сексуальных символов от их сексуального содержания. В этих мифах женщина не имеет в себе ничего сексуального, она только символизирует собой свободу или землю, за которую ведется борьба. Эти мифы тесно связаны с земледельческим строем. Как в них, так и в более поздних условно-символических изображениях революции в виде женщины нет ничего сексуального, их содержание целиком растворяется в политических представлениях.

Между марксистским и фрейдистским толкованием существует основное различие. С точки зрения фрейдистской всякий миф есть выражение эмоции, разрешение подавленного влечения. С марксистской точки зрения всякое мышление есть именно мышление—явление интеллектуальное, а не эмоциональное. Эмоционализм фрейдизма противостоит интеллектуализму марксизма. Эта противоположность отчетливо сознается фрейдистами, и Лоренц упрекает Маркса в одностороннем интеллектуалистическом объяснении исторического процесса.

Существует несомненно целый ряд мифов, возникших вне религии, как извращенное отражение общественных отношений.

Энгельс говорит по этому поводу, что всякий крупный технический переворот, как например изобретение огня, чрезвычайно сильно отражается в сознании людей. Факты забываются, но после них остается глубокий след в религии, дающий материал для целого ряда мифов. Значительная часть тех мифов, которые мы считаем религиозными, возникла в результате общественных и технических переворотов. Необходимо пересмотреть все старые способы толкования мифов, и тогда многие из тех, которые считались натуралистическими, окажутся мифами социальными. Необходимо также разработать мысль Маркса о том, что мышление современной буржуазии насквозь мифологично, необходимо развить теорию политического мифа.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

Лукачевский, А. Т. Анализ книги Лоренца и мысли, высказанные т. Рожицыным о социально-политическом содержании мифов, правильны, и исследования в указанном им направлении несомненно дадут интересные результаты. Что же касается его классификации форм мышления, то с ним согласиться нельзя. Нужно различать мышление и науку о мышлении. Мышление современного человека есть мышление диалектическое. Самое обычное мышление совершается по законам диалектики, включая в себя законы меры, качества, количества, необходимости, взаимодействия и т. п. Другое дело—наука о мышлении—логика; она может быть и диалектической и формальной—метафизической.

Мышление первобытного человека также диалектично. Об этом свидетельствуют те элементы движения, развития и меры, которые мы встречаем в мифах.

Нет необходимости различать область магического, мифологического и символического. Мы знаем, что известные отделы магии насквозь символичны и что, с другой стороны, на основе магии возникают мифы. Так, Фрезер выводит миф о страдающем боге из первобытной магии.

Не совсем правильно также то определение, которое дает т. Рожицын марксистскому пониманию мифа. С марксистской точки зрения миф заключает в себе не только интеллектуальный, но и эмоциональный момент. Грандиозный образ мифического героя, симпатии, которые он вызывает с классовой точки зрения,—все это создается моментом эмоциональным. Легенды, представляющие Ленина в виде богатыря, продиктованы классовым чувством, и вот в этом-то и лежит различие между фрейдистским и марксистским пониманием мифа.

Стуков. Классификация форм мышления, даваемая т. Рожицыным, совершенно излишня, да и выражена очень туманно. Если твердо держаться положения, что мышление есть объективный диалектический процесс, то разграничивать эти пять форм чрезвычайно трудно. Было бы гораздо проще и правильнее отнести эти категории в рязряд метафизической логики.

Что касается деления на мифы политические и натуралистические, то было бы правильнее сказать, что в основе тех и других лежат явления общественного порядка, но в первых социальное содержание само бросается в глаза, во вторых его нужно открыть с помощью анализа.

Необходимо также договориться, что по существу представляет собою миф—лежит ли в основе мифа конкретное историческое событие, или он представляет собой только косвенное отражение того, что было на самом деле. По поводу разграничения мифа религиозного от мифа политического следует сказать, что между ними нет такого резкого противоречия, так как и тот и другой представляют собой отражение известных общественных отношений.

Абих. Едва ли следует так решительно отметать наличие сексуального момента в мифологии. Можно допустить, что люди, создавшие миф, переносили на героев его те чувства, которые они испытывают к женщине. Всем известно крестьянское представление о матери—сырой земле. Очень часто для определения наивысшего эмоционального напряжения люди пользуются терминами сексуального порядка.

Среди мифов о Ленине, сложившихся на Востоке, имеется один, созданный в Афганистане, изображающий Ленина в виде бога, родившегося из пены морской. Мифам о Ленине следовало бы уделить больше внимания.

Цитошвили. Нельзя подходить к мышлению примитивного человека с точки зрения мышления человека нашей эпохи. Это особенно ясно лингвистам-яфетологам. Первобытный человек мыслил, по выражению акад. Марра, «диффузно». Гора, голова и небо выражались у него одним словом—вершина. Однако нет никаких оснований делить это раннее элементарное мышление на те пять категорий, которые указал докладчик.

По вопросу о сексуальном моменте в языке недавно вышедшая работа Чита указывает например на такой факт, что в грузинском языке пахать и совершать половой акт происходит от одного и того же слова. Этот факт, как и те обрядности, которые крестьянин выполняет перед пашней или во время засухи, трудно подвести под какую-нибудь из указанных докладчиком категорий мышления. Чтобы разобраться в том, как мыслил этот человек, необходимо уйти в палеонтологию мышления.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДОКЛАДЧИКА

Русский путешественник Арсеньев в своих рассказах об Уссурийском крае рисует замечательный образ охотника Дер-Су, первобытного диалектика, прекрасно понимающего природу. И несмотря на это, Дер-Су, в процессе практической деятельности мыслящий диалектически, относится к животному миру мифологически и занимается магией, смешивая таким образом различные формы мышления.

Тов. Лукачевский прав—мышление человека на всем протяжении истории диалектично. Но объяснение, которое человек дает своему опыту, может быть и диалектическим, и метафизическим, и мифологическим.

Замечание т. Стукова по поводу исторического содержания мифа вполне правильно. Определение мифа можно уточнить в том смысле, что в мифе всякий общественный процесс приписывается личности, существовала она на самом деле или нет.

Что касается мифа о Ленине, то он мог бы возникнуть только в крестьянстве. Поскольку крестьянство самостоятельной культуры не имеет, нет и почвы для создания мифа.

В заключение необходимо подчеркнуть еще раз, что деление мышления по указанным категориям не окончательно и может быть сведено к более простым формам. Несомненным остается положение, что мышление всегда диалектично, а наука о нем может быть и диалектической, и метафизической, и мифологической.

ОБЗОР ДОКЛАДОВ В П/СЕКЦИИ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ ЗА II И III КВАРТАЛЫ 1928/29 Г.

28 января 1929 г. был заслушан доклад члена п/секции Г. К. Данилова на тему «СЛОВО И ЛЕКСИКОЛОГИЯ», который в несколько переработанном виде напечатан в журнале «Русский язык в советской школе» № 3 за 1929 г.

4 февраля с большим докладом на тему «ПРОБЛЕМА МАРКСИСТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЯФЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» выступил проф. Е. Д. Поливанов.

Начав с указания на недостаточность термина «материалистическая лингвистика» в титуле п/секции и предлагая заменить его понятием «марксистского языкознания», докладчик почти весь свой доклад посвятил критике яфетической теории. По мнению проф. Е. Поливанова основным дефектом этого «продукта научной деятельности акад. Марра» является «противоречащее фактам использование конкретного языкового материала», причем в некоторых случаях имеет место и присоединение такого рода материалов, которые не соответствуют действительности и попросту сочиняются Н. Я. Марром. Попытавшись несколькими примерами доказать это, докладчик перешел к беглому и совершенно несистематичному изложению и критике некоторых основных положений яфетической теории, особенно резко нападая на учение об элементах. Резюмируя эту часть доклада, проф. Е. Поливанов утверждал, что все то, что есть в яфетической теории верного, далеко не ново для лингвистической науки, а все новое представляет собой недостаточный для подлинно-научной теории вымысел безудержной фантазии. По этой причине использовать конкретные утверждения яфетической теории для работы в смежных научных областях невозможно. По мнению проф. Е. Поливанова, нет у яфетической теории также и никаких реальных связей с марксизмом.

Вторая часть доклада проф. Е. Поливанова была посвящена обрисовке основных положений марксистского языковедения. Путь создания марксистской лингвистики должен итти не от яфетической теории, а от тех отдельных высказываний по вопросам языка, которые можно найти у Энгельса, Лафарга, Ленина, Сталина. Марксистская методология должна быть применена к анализу добытых сравнительным языкознанием фактов. Борьба против компаративистики совершенно ненаучна. Необходимо компаративистику не сокрушить, а дополнить лингвистикой социологической. Из конкретных достижений последней проф. Е. Поливанов привел свое положение, устанавливающее, что в эпоху натурального хозяйства развитие языков идет от одного «пра-языка» ко многим, а в периоде менового хозяйства этот процесс заменяется обратным: от множества языков к одному. Возражая против неправильной трактовки термина «пра-язык», проф. Е. Поливанов указывает, что и современный русский язык может быть назван пра-языком, поскольку от него могут получить в дальнейшем свое начало некоторые языки, подобно напр. романским языкам, которые все происходят от своего «пра-языка»—языка латинского.

Весьма мало содержательный в части научного доказательства доклад проф. Е. Поливанова отличался абсолютно неприемлемыми для советской общественности личными выпадами против акад. Марра, ссылками на различные кулуарные разговоры, и чрезвычайно резким тоном.

В прениях, которые развернулись по докладу проф. Е. Поливанова 18 и 25 февраля, выступило 17 чел., из которых только один проф. Ильинский солидаризировался с точкой зрения проф. Е. Поливанова. Все остальные, выступая на защиту яфетической теории, доказали, что обвинения, выставленные проф. Е. Поливановым против яфетидологии и ее создателя академика Н. Я. Марра, являются недоказанными и сводятся либо к недоразумениям, основанным на плохой ознакомленности проф. Е. Поливанова с критикуемой им теорией, либо к простым передержкам. С негодованием были также отвергнуты выступавшими инсинуации проф. Е. Поливанова по адресу Н. Я. Марра. Резюмировавший итоги всей дискуссии по докладу проф. Е. Поливанова председатель собрания, покойный ныне В. М. Фриче, констатировал, что яфетическая теория и Н. Я. Марр вышли победителями и что доклад проф. Е. Поливанова ни в ка-

кой мере не может также явиться полезным для дела марксистской лингвистики, поскольку докладчик проявил более чем слабое знакомство с марксизмом.

11 февраля был заслушан доклад П. Дуделя на тему «УЧЕНИЕ О СТРОЕНИИ РЕЧИ В СВЕТЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ И ДИАЛЕКТИКИ».

Формальное изучение языковых явлений является лишь начальным этапом в деле подлинно-научного их понимания. Формальный анализ явлений языка приводит к некоторой системе морфологических и синтаксических ассоциативных норм, которые сохраняют свою закономерность только для данного периода в развитии языка. Обрисовав на ряде примеров основные черты системы аналитической грамматики, докладчик перешел к проблеме логического анализа грамматических форм, указав на его необходимость, с одной стороны, и на его недостаточность, с другой. Логический анализ, ведущий к созданию системы логических категорий, параллельных грамматическим формам, основывается на реальном разборе того логического содержания, которое вскрывается в тех или иных грамматических категориях. Однако ряд основных вопросов остается неразрешимым средствами логического анализа. К числу этих вопросов необходимо прежде всего отнести следующие: 1. Несоответствие между многообразными формами нашей мысли и ограниченностью логических категорий речи. 2. Несоответствие между ограниченностью логических категорий речи и многообразием формы нашей речи. 3. Примат формы или содержания (в языке). Решение этих вопросов приводит к проблеме взаимоотношения мысли и речи, которая может быть правильно решена только в плоскости диалектического понимания явлений языка. Точно также только диалектическое понимание может разрешить вопрос о взаимоотношении формального и логического методов в лингвистическом исследовании. В свете диалектики процесс мысли-речи является ничем иным, как последовательным переключением диалектической по своей сущности мысли в формальные логические категории речи, и наконец в интегральное значение грамматических форм. Последние выступают как материальные средства диалектического процесса речи. Язык с этой точки зрения—связующее звено между материальной культурой и формами человеческого мышления.

21 февраля проф. Н. С. Державин прочитал доклад на тему «ПЕРУН В ФОЛЬКЛОРНЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ У СЛАВЯН». Доклад полностью вошел в работу проф. Державина «Яфетические переживания в прометеидской славянской традиции» («Язык и литература», т. III, с. 1—59, Ленинград 1929).

4/III были заслушаны два доклада Э. Дрезена и М. Охитовича на тему «ПУТИ ОФОРМЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯЗЫКА».

Начав с разграничения понятий—всемирный и международный язык,—т. Дрезен дал краткий исторический обзор различных проектов международного языка, особенно подробно остановившись на эсперанто. Выяснив причины первоначального успешного распространения эсперанто, доклад дал анализ его теоретической структуры, подчеркнув, что в отличие от других проектов, эсперанто, благодаря ряду социальных причин, быстро развивается, являясь продуктом уже не индивидуального, а коллективного творчества. Докладчик перечислил ряд задач, стоящих перед эсперантистским движением, выделив на первый план борьбу за укрепление международной пролетарской связи и противопоставляя рабочих-эсперантистов эсперантистам буржуазным.

Доклад т. Охитовича, оппонировавшего т. Дрезену, исходил прежде всего из классового анализа и оценки эсперантистского движения, которое, по мнению докладчика, всегда было, есть и будет движением мелкобуржуазным, неспособным справиться с осуществлением своей задачи в подлинно-массовом масштабе. Не отрицая больших успехов эсперанто, докладчик подчеркивал ряд техническо-лингвистических моментов в системе эсперанто, которые препятствуют ему эквивалентно передавать все достижения языковой культуры человечества. Докладчик полагает, что эсперанто должен непрерывно изменяться, все более и более приспособляясь к тем требованиям, которые выдвигаются современным научным лингвистическим мышлением.

1/IV т. В. Аптекарем был прочитан доклад на тему «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ЯФЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Н. Я. МАРРА», который предположен к напечатанию в одной из ближайших книжек «Вестника».

22/IV т. Г. Данилов доложил свою работу «МАРКСИСТСКИЙ МЕТОД В ЛЕКСИКОЛОГИИ», которая в настоящее время печатается в № 6 «Русского языка в советской школе».

29/IV состоялся доклад т. О. Фрейденберг на тему: «ПРОКРИДА». (К вопросу о семантике сюжетных оформлений).

Базируясь на исследованиях акад. Н. Я. Марра, т. Фрейденберг применяет основные принципы и достижения яфетидологии к анализу проблем поэтики, тем самым закла-

дывая основание для поэтики яфетидологической. Подвергнув исследованию ряд методов, беря их в фольклорном и литературном оформлении, докладчик вводит их в рамки реального общественного окружения, выясняет их генезис и трансформацию. Построенный на древне-греческом материале, доклад в основном был посвящен раскрытию семантических рядов, лежащих в основе ряда религиозных ритуалов и сценических действ, причем докладчик установил органическую близость в мировоззрении древнейших эпох таких понятий, как «жизнь—смерть», «могила—ложе»—«алтарь—стол пиршеств» и т. д. Попутно докладчик выяснил связь греческой драмы с переживаниями дологического мышления и аграрными культами.

20/V т. И. Франк-Каменецкий прочитал доклад на тему: «ЯФЕТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПО БИБЛЕЙСКИМ МАТЕРИАЛАМ». (К вопросу об увязке языкознания с поэтикой, мифологией и историей материальной культуры).

Палеонтологический анализ яфетидологии, прилагаясь к изучению поэтических образов и уподоблений, вскрывает пережиточно отложившиеся в них мифологические представления, восходящие к актуальному некогда мировоззрению, нашедшему для себя параллельное отложение в языке, мифе и в надстроечных элементах материальной культуры. Семантические ряды, устанавливаемые на языковых материалах, находят себе полную аналогию не только в поэтической и мифологической семантике, но равным образом в данных обряда, неотделимого первоначально от быта, а также в смысловом значении памятников материальной культуры. Увязка языкознания с историей материальной культуры намечается, во-первых, по линии вскрываемого яфетической семантикой мировоззрения, которое коренится в хозяйственно-бытовых условиях доисторического общества, осознанных в нормах первобытного мышления, и, во-вторых, путем палеонтологического анализа памятников материальной культуры, которые, восходя к этому древнейшему мышлению и мировоззрению, должны быть рассмотрены как вещественные метафоры. Свои положения докладчик иллюстрировал богатым библейским материалом, относящимся главным образом к представлениям о «матери-земле», теофаниям и описанию главнейших святилищ и культовых объектов из их инвентаря.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

К. Гребенев

Диалектика в природе. Сборник (IV) по марксистской методологии естествознания. Издание Госуд. Тимирязевского научно-исследовательского института, Москва 1929, с. 260, ц. 2 р. 50 к.

Вторая Всесоюзная конференция марксистско-ленинских научных учреждений, происходившая весной текущего года, квалифицировала течение механистов как наиболее активное философское ревизионистское направление за последние годы. В принятой по философским спорам резолюции говорится, что механисты, ведя борьбу против философии марксизма-ленинизма, объективно препятствуют проникновению методологии диалектического материализма в область естествознания и явно отходят от марксистско-ленинских философских позиций.

Казалось бы, что после осуждения взглядов механистов таким авторитетным собранием, как вторая Всесоюзная конференция марксистско-ленинских научных учреждений, после того как механическая методология становится теоретическим основанием правого уклона в ВКП (б) и в Коминтерне, должны были бы измениться философские позиции механистов. Но таких перемен мы не видим.

Рецензируемый четвертый сборник механистов «Диалектика в природе» со всей яркостью показывает, что механисты далеки от окончательной сдачи своих философских позиций, что далеки они от признания своих ошибок и от единого фронта с последовательными представителями диалектического материализма.

Сборник открывается некрологом т. И. И. Степанову-Скворцову. И вот уже здесь, так же, как и в ранее опубликованных механистами некрологах, полностью сказывается фарисейское лицемерие и спекуляция на памяти т. Степанова. Статью покойного И. И. Степанова «Основные итоги дискуссии», напечатанную в его книге «Диалектический материализм и деборинская школа», редакция сборника называет «замечательной статьей», тогда как нигде ошибки механистов не были так ярко выражены, как в названной статье т. Степанова.

Далее редакция делает безответственные, необоснованные выпады по адресу т. А. М. Деборина. В предисловии к своему сборнику «Диалектика и естествознание» Деборин писал, что направление, возглавляемое т. Степановым, считает своей основной задачей изменение «формы» энгельсовского материализма в связи с новейшим развитием физики, химии и биологии. Причем из всего предисловия совершенно ясным является то обстоятельство, что под «формой» энгельсовского материализма т. Деборин понимает не что иное, как диалектику последнего.

В примечаниях к «Анти-Дюрингу», опубликованных во второй книге «Архива Маркса—Энгельса», Энгельс пишет: «Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому оба они не могут противоречить друг другу в своих конечных результатах, а должны согласовываться между собой.

Факт этот является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления. Материализм XVIII столетия, будучи по существу метафизического характера, исследовал эту предпосылку только с точки зрения ее содержания. Он ограничился доказательством того, что содержание всякого мышления и знания должно происходить из чувственного опыта, и восстановил старое положение: «nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu». Только современная идеалистическая,—но вместе с тем и диалектическая,—философия, в особенности Гегель, исследовали эту предпосылку также с точки зрения «*формы*» (Курсив Энгельса. *К. Г.*). Механистам непонятно это прямое высказывание Энгельса относительно материализма и диалектики. Материализм и диалектика для Энгельса связываются в единство как форма и содержание. Форма неотделима от содержания, она является законом существования последнего. Последовательный материализм немыслим без диалектики и последовательная диалектика немыслима без материализма.

Ничего этого не хотят понять механисты, для них слово «форма» имеет грубожитейский смысл, а не является одной из категорий материалистической диалектики. Под «формой» материализма ими понимается лишь та или иная совокупность натурфилософских положений. Не понимая действительной «формы» энгельсовского материализма, приписывая т. Деборину свое грубое понимание формы материализма, механисты воюют против т. Деборина, крича, что ревизия «формы» материализма—вещь не только допустимая, но будто бы даже необходимо требуется марксизмом.

Следующим кунштюком этого некролога, кстати сказать, посвященного больше Деборину, чем памяти Степанова, является то утверждение, будто бы т. Деборин ревизует положение Энгельса и диалектического материализма, гласящее, что движение немыслимо без материи. Редакция сборника после того, как выдумала этот фокус, острит: «это уже далеко не ревизия формы, а форменная ревизия основ диалектического материализма». Поводом для подобного рода обвинений т. Деборина послужило его замечание относительно новейших воззрений на природу электронов. В последней статье своего сборника «Диалектика и естествознание» т. Деборин указывал, что механисты проблему единства материи отождествляют с абсолютной качественной тождественностью ее мельчайших частиц. Касаясь современных воззрений на природу электрона, т. Деборин указывал также, что сама физика современности приходит, как выражаются некоторые физики, к «дуалистической» структуре электронов. С точки зрения современной физики, природа электронов зиждется на единстве непрерывности и дискретности, электроны суть частицы и волны в то же самое время. А. М. Деборин, указывая на такого рода тенденции в физическом учении Шредингера о строении материи, справедливо указывает на их диалектический характер. Механисты же, вырывая из статьи т. Деборина фразу «согласно новейшим воззрениям, электроны суть не частицы, а волны», делают его ни с того ни с сего ответственным за все теоретические выводы волновой механики Шредингера. Нигде т. Деборин в своей статье не солидаризируется полностью со всеми теоретическими основаниями волновой механики Шредингера, нигде он не считает также выводы последней окончательными выводами относительно физической природы электронов. В контексте статьи т. Деборина указанная фраза только лишь оттеняет ту мысль, что современная физика не может понять природы электронов, исходя из принципа одной дискретности или из одной непрерывности. Действительное решение этой проблемы открывается лишь тогда, когда исходят из основного закона связи объективного мира—из единства противоположностей, из единства, в данном случае, дискретности и непрерывности. Намеренно не понимая всего этого, редакция сборника приписывает т. Деборину ревизию основного положения диалектического материализма—положения о единстве материи и движения. С поразительным бесстыдством редакция сборника обвиняет т. Деборина в том, что он, солидаризируясь с волновой механикой Шредингера, утверждает возможность движения без материи, волн—без материального носителя, волн,

движущихся не в реальном трехмерном пространстве, а в фиктивном многомерном. Все это сначала и до конца есть самое бесстыдное сочинительство.

За этим «блестящим» некрологом следует не менее «блестящая» статья А. Варьяша. Статья носит заглавие «Материя и ее атрибуты» и стремится доказать, опять-таки в посрамление т. Деборину, что мышление не является атрибутом материи.

Варьяш изображает дело так, как будто бы А. М. Деборин без всяких оговорок принимает по вопросу об атрибутивности материи точку зрения Спинозы. Сочинив это обстоятельство, А. Варьяш победно заявляет: «По-мэему, тот, кто утверждает, что мышление является первичным атрибутом материи, тот должен утверждать и то, что в материи всегда, хотя, конечно, в неорганической материи в очень незаметной форме для нас, но все же происходит мышление. Но если материя всегда во всех формах движения обладает мышлением, тогда она обязательно должна обладать и жизнью, т. е. быть организованной. В таком случае неорганической материи вообще нет, а есть только более или менее организованная материя» (с. 12). Поэтому Варьяш не признает атрибутивности мышления, считает, что ни Энгельс ни Ленин также этого не признавали и что под атрибутивностью материи следует понимать с точки зрения последовательного диалектического материализма «законы движения и изменения материи» (с. 17).

Попробуем разобраться по существу. Прежде всего совершенно неверным является приписывание Варьяшем т. Деборину точки зрения Спинозы по вопросу об атрибутивности мышления. Точка зрения т. Деборина по этому вопросу весьма недвусмысленно изложена в его предисловии к «Избранным сочинениям Д. Дидро», которое Варьяшем намеренно игнорируется.

Тов. Деборин в основном согласен с положением Спинозы о качественной разновидности протяжения и мышления, объединенных в то же время единством субстанции.

В предисловии к «Избранным сочинениям Д. Толанда» А. М. Деборин таким образом говорит о связи материи и ее атрибутов: «Все атрибуты материи составляют единство, конкретное целое. Каждый же атрибут представляет собой одну из форм существования единой материи; это особый способ рассмотрения единой материи с какой-либо специфической точки зрения. Однако обычно берут одно какое-либо свойство материи, отвлекают от целого и превращают в самостоятельный абсолют, в реальную сущность, имеющую якобы реальное существование». Недостаток Спинозы в том, что его субстанция пассивна, не заключает в себе источника бесконечного развития. И еще Толанд источник Спинозовского гилозоизма усматривал в том, что субстанция Спинозы пассивна, а не деятельна.

Диалектический материализм не отказывается признавать мышление за атрибут материи, но в то же самое время диалектический материализм гилозоизм отвергает, ибо, исходя из диалектической концепции движения, необходимо приходит к его опровержению.

В этом же духе решается проблема и Ф. Энгельсом. Однако Варьяш, не понимая того, что он цитирует, приводит в свою пользу слова Энгельса, всем своим существом обращенные против него. Энгельс пишет: «Механизм (а также материализм XVIII столетия) не может выбраться из абстрактной необходимости, а благодаря этому также из случайности. Для него тот факт, что материя развивает из себя мыслящий человеческий мозг,— чистая случайность, хотя и необходимо обусловленная шаг за шагом там, где она происходит. В действительности же в природе материи заключено то, что она приходит к развитию мыслящих существ, и поэтому такое развитие совершается необходимым образом всегда, когда имеются налицо соответствующие условия (поэтому не необходимо повсюду и всегда») («Архив», кн. II, с. 81). Известное положение о вечном круговороте материи Энгельс заканчивает следующими словами: «Мы все же уверены, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов не мо-

жет погибнуть и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет—мыслящий дух,—она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» («Архив», кн. II, с. 77). По Варьяшу это положение Энгельса говорит против атрибутивности мышления, по нашему же мнению и по мнению т. Деборина это положение, как и первое указанное положение того же Энгельса, говорит не против, а за атрибутивность мышления. В обоих случаях Энгельс подчеркивает то, что природа материи в своем развитии с «железной необходимостью» порождает мыслящий дух если не здесь, то там, если не в это, то в другое время. Энгельс именно подчеркивает, что мыслящий дух, порождаемый материей, есть одна из сторон материи, есть ее атрибут. Энгельс подчеркивает именно то положение, что нет такой материи, которая не могла бы при известных условиях и в известное время породить этот мыслящий дух. Ничего другого не содержится в высказываниях т. Деборина.

Тов. Варьяшу во что бы то ни стало хочется обвинить т. Деборина в гилозоизме. Для этой своей цели он проделывает метаморфозы положений Деборина, и для этой же самой цели он отказывается от действительного понимания Энгельса. Посмотрим теперь, есть ли основания у т. Варьяша обвинять т. Деборина в гилозоизме. Для этого достаточно привести несколько мест из замалчиваемого Варьяшем «Предисловия к Дидро», и дело станет совершенно ясным, только не в пользу Варьяша.

«Процесс развития при принятии единой субстанции,—пишет т. Деборин,—необходимо требует, чтобы жизнь возникла имманентным путем из этой единой материи... Материя едина. Нет двух субстанциальных различных видов материи, а если это так, то приходится допустить, что единая материя развивает из самой себя все разнообразие явлений, стало быть и жизнь, и сознание, мысль. Иначе пришлось бы принять для объяснения жизненных и психических явлений особое начало, некую духовную субстанцию, что несовместимо с материализмом и монистическим воззрением вообще». Говоря о переходе от неорганизованной материи к организованной, Деборин отмечает ошибку Плеханова, когда последний мыслил этот переход как простое количественное изменение. В этом переходе, по мнению т. Деборина, происходит не только количественное изменение, но и качественное, не только непрерывное, но и прерывное. Поэтому утверждение Дидро и Плеханова, будто камень «мыслит», т. Деборин считает неточным и неправильным. Другими словами, А. М. Деборин прямо отрицает всеобщую одушевленность или чувствительность материи, отрицает ее изначальный характер, ибо с его точки зрения теория всеобщей одушевленности ведет к признанию метафизического тождества, где качественно различные вещи сливаются в отвлеченное единство, признающее лишь одни количественные изменения, между тем как сознание есть новое качество, возникающее на определенной ступени развития единой материальной субстанции. Чувствительность в неорганизованной материи признается т. Дебориным не как нечто данное, а как становящееся свойство, и в этом смысле в мертвой материи приходится предполагать потенциальную способность превращения в живую материю. «В этом смысле,—пишет т. Деборин,—мертвая материя только относительно мертва. Но степень «относительности» имеет решающее значение. Относительно мертвое находится на грани абсолютно-мертвого, но не совпадает с ним, не тождественно с абсолютно-мертвым».

Где же во всем этом гилозоизм? Где же тут неувязка признания атрибутивности мышления и перехода неорганического в органическое? Где же тут, наконец, «проблема» т. Варьяша? Ни первого, ни второго и ни третьего здесь нет, а есть лишь непонимание и путаница со стороны т. Варьяша.

Теперь возвратимся к точке зрения А. Варьяша на атрибутивность мышления и посмотрим на то новое, что она вносит в точку зрения диалектического материализма. Как уже было указано выше, Варьяш вместе с Л. Аксельрод не признает атрибутивности мышления и вместо четкого понимания атрибутов материи выдвигает атрибутивность законов движения и изменения материи. Надеемся, мы показали, что в критике Дебо-

рина по этому вопросу он ломится в открытую дверь, воюет с собственным сочинительством. Теперь надлежит показать существо его выводов.

Точка зрения т. Варьяша по вопросу об атрибутивности мышления, по общей закономерности его творчества, вносит одну лишь путаницу в этот вопрос. Прежде всего нужна четкость в постановке самого вопроса, и этой четкости у т. Варьяша нет. Что значит считать атрибутами материи законы ее движения и изменения? Сколько законов, какие законы и т. п.? Такой неопределенностью постановки вопроса проблема не решается, а смазывается. По мнению т. Варьяша, не может быть и тени сомнения в том, что мышление не является атрибутом материи, независимо от степени ее организации. Следовательно, для т. Варьяша есть такая материя, атрибутом которой мышление не является, материя, не содержащая мышления в качестве своей внутренней необходимости. Мы видели, что из высказываний Энгельса вытекает как-раз обратное. Энгельс мышление считает атрибутом материи, потому что не мыслит себе такой материи, которая не содержала бы в себе необходимости при известных условиях породить мышление. Таким образом точка зрения Варьяша помимо запутывания проблемы содержит также и ревизию энгельсовского понимания взаимоотношения материи и ее атрибутов. Несмотря на это, т. Варьяш обвиняет Деборина в идеализме. Точку зрения Энгельса и Деборина об атрибутивности мышления А. Варьяш считает идеализмом и тут же путаным образом разъясняет, что Деборин потому-де считает мышление атрибутом, что он «закон природы (?!) понимает идеалистически». По Варьяшу А. Деборин считает, что этот таинственный «закон природы» есть только наше понятие, «между тем как этот закон вовсе не есть понятие, а реальное свойство движущейся материи, именно особая форма движения ее». Не ловко ли, в самом деле! О том, что такое конкретное понятие, теперь уж не т. Деборин растолковывает Варьяшу и его сторонникам-механистам, а Варьяш в этом вопросе стал учителем А. Деборина. Такой изворот со стороны Варьяша, кроме смеха, ничего, конечно, не вызывает.

Превративши т. Деборина в идеалиста, Варьяш с той же легкостью мысли (с легкостью в буквальном смысле—*К. Г.)* принимается и за его учеников. Так А. Варьяш нападает на т. Луппола за то, что тот осмелился в своей книжке «Ленин и философия» признать за законом единства противоположностей основное значение в ряду основных законов диалектики. Положение, разве только для т. Варьяша не понятное, берется здесь под обстрел «критики». В итоге этой «критики» т. Варьяш чудом получает такой вывод: «если материалистическая диалектика верна, если верно то, что все три закона являются необходимыми в объяснении всех процессов без исключения, то взгляд Луппола несостоятелен». Здесь опять свое азбучное непонимание связи основных законов диалектики т. Варьяш выдает за «несостоятельность взгляда Луппола». Замечательная метода! Но она рассчитана на простачков, которые поверили бы откровениям т. Варьяша на слово. Тов. Варьяш не учитывает того обстоятельства, что в наше время не только верят, но и проверяют, всякий же проверивший утверждения Варьяша убедится в том, что они являются голой выдумкой т. Варьяша.

В заключение несколько слов об одной историко-философской проблеме. А. Варьяш считает, что различие, делаемое Дебориным между материализмом Спинозы и Бэкона, с одной стороны, и материализмом Гоббса—с другой, ни на чем не основано. «Выбирать между ними,—заявляет Варьяш,—вовсе не обязательно. Учения как Бэкона, так и Гоббса—односторонние направления. Нельзя сказать, что одно из них во всем ближе стоит к нам, чем другое. Мы учились у обоих, но преимущества не даем ни одному из них». Так заявляет человек, претендующий на звание марксиста—историка философии! Историк, отрицающий всякое диференцирование в домарксовском материализме, как же это мирится с марксистским методом?! Кроме того, здесь также т. Варьяш не хочет упорно понять того, что сказано по этому поводу Марксом. В «Святом семействе» Маркс писал: «В Бэконе, как первом творце материализма, в наивной еще форме

скрыты зародыши всестороннего развития этого учения. Материя улыбается своим поэтическим чувственным блеском всему человеку. Но изложенное в афористической форме учение Бэкона еще полно теологической непоследовательности.

В своем дальнейшем развитии материализм становится *односторонним* (курсив здесь и ниже Маркса—*К. Г.*). *Гоббс является систематиком бэконовского* материализма. Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность *геометра. Физическое* движение приносится в жертву *механическому* или *математическому* движению, *геометрия* провозглашается главной наукой» (*Маркс—Энгельс*, Соч., т. III, с. 157).

Тов. Деборин в своих очерках о Бэконе и Гоббсе ничего другого и не выдвигает, кроме того, что развивает только-что приведенное положение Маркса. Выясняя собственно бэконовское понимание материи и движения, не думая смазывать непоследовательности материализма Бэкона, А. М. Деборин показывает, что конкретное понимание материи и движения у Бэкона стоит ближе к диалектическому материализму, чем абстрактное механическое и математическое понимание материи и движения у Гоббса. О материализме Гоббса еще Фейербах говорил, что он кладет в основу своей системы понятие абстрактного, математического тела, понятие отвлеченной материи, существенным определением которой является одно лишь количество. И с каких это пор стало считаться развитие какого-либо положения Маркса, не отходящее в своем существе от того, что Марксом было высказано, ревизией марксизма? Варьяш же определенно заявляет, что марксист не может выбирать между материализмом Гоббса и Бэкона, он заявляет далее, что Маркс отмечал будто бы одну лишь теологическую непоследовательность бэконовского материализма и не отмечал достоинств материализма Бэкона перед материализмом Гоббса. Все это показывает что т. Варьяш и тут путается, не понимает, или намеренно старается не понимать довольно ясных положений марксизма.

Можно считать, что гвоздем сборника и являются некролог и статья А. Варьяша. Они показывают, что механисты не прекратили свое ревизионистское и реакционное, в философском смысле, дело.

Статья Ф. *Дучинского* «Основные проблемы биологии в свете диалектики» не имеет того воинственного тона, в котором выдержаны некролог и статья т. Варьяша. Но и она содержит ряд необоснованных выпадов против т. Агола и других биологов-диалектиков и против т. Деборина. Дучинский считает ошибкой т. Агола и других диалектиков-биологов то, что они якобы признают эволюционную теорию развития за диалектическую теорию развития, а ошибка Деборина заключается будто бы в том, что он противопоставляет диалектику эволюции. Таким «открытиям» Дучинского читатель, знакомый с работами Деборина и Агола, так же мало поверит, как и т. Варьяшу. Точка зрения диалектиков-материалистов, тт. Деборина и Агола в том числе, по вопросу о развитии никогда не страдала односторонностью. Источник развития всегда усматривался во внутреннем единстве противоположных моментов, и качество никогда не рассматривалось без количества, непрерывность—без прерывности, эволюция—без революции или наоборот. Так что всякого рода упреки относительно непонимания со стороны диалектиков диалектической сущности процессов развития направлены не по адресу.

В статье Ф. Дучинского есть и ряд интересных моментов. Прежде всего статья интересна тем, что приводит целый ряд примеров из области биологии, иллюстрирующий диалектическую основу биологических явлений. Автор статьи сам усматривает ее значение преимущественно в постановке проблем диалектики в биологии, а не в разработке отдельных проблем биологии на основе материалистической диалектики. Так что на основе этой его статьи нельзя еще судить о том, как автор понимает материалистическую диалектику, ее основные законы и категории, как он, наконец, пользуется диалектическим методом на конкретной разработке отдельных биологических проблем.

Следующая статья *Х. С. Кощтоянца* «К истории развития учения о кровообращении носит исключительно исторический характер и написана по поводу трехсотлетия появле-

ния книги Гарвея. Преимущественно такой же характер носит и статья *Ф. Перельман* «Эпоха Лавуазье в области химии». В статье *И. Орлова* «Психология на службе доллара» дана в общем верная критика американского бихевиоризма. Точно так же в статье *Б.* «Будущее одной иллюзии» дана удовлетворительная критика последней работы Фрейда и фрейдовской концепции происхождения религии.

От этих статей, лойяльных в отношении диалектического материализма, нам хочется снова перейти к статьям, в которых продолжается «воинственность» некролога и статьи т. Варьяша, «воинственность» механического лагеря. Естественно, что нас в первую очередь интересует эта механистическая «воинственность» и ее реальные основания.

В специальной, по существу, статье *С. Перова* «Диалектика в биохимии» механистическая «воинственность» вновь выступает со значительной откровенностью. Статья начинается с утешительной для механистов картины. Перов убежден в том, что через пятьдесят лет историк естествознания с похвалой отзовется о работах Тимирязевского института, который впервые в СССР взялся проследить диалектические законы в природе. Все, что вышло из Тимирязевского института, то похвально—тезис первый. Дальше доказывается, что механисты («немногие пионеры») вели борьбу «за признание материи как объективной реальности», не боясь упреков со стороны явных идеалистов. Механисты спасли материализм от идеализма в СССР—тезис второй. Далее доказывается, что упреки в механистичности суть упреки в материалистичности, отсюда тезис третий—«ортодоксальные диалектики» сползают в идеализм. В этом же духе весь дальнейший «мирный» тон статьи С. Перова, которая по теме своей должна была показать диалектическую трактовку одной из биохимических проблем.

Чтобы показать, как понимает Перов материалистическую диалектику, достаточно хотя бы привести такие его сентенции: «Для Энгельса,—пишет он,—диалектика была постоянным руководящим принципом, настоящая материалистическая диалектика, а не жалкие выжимки из Гегеля, которые обычно преподносят в своих многочисленных писаниях современные «любомудры» (читай—материалисты-диалектики, «деборинцы»—*К. Г.*).

«А материалистическая диалектика,—продолжает Перов,—говорит: пока не открыта объективная диалектика в природе, трудно пускаться в умствования; они являются натяжкой.

В биологии же до сих пор не вскрыта объективная диалектика, ибо не найдены ни материальная единица движения, ни сама форма движения» (с. 131). На следующей странице Перов заявляет, что «основные как будто (?!) объективные исходные материальные начала в биологии таковы: вид, особь, клетка, хромозома, ген». Но «насколько шаток «вид», говорит та полемика, которая около этого по существу «понятия», а не материального начала образовалась. Деборин договорился до признания вида коллективным существом, тогда как К. А. Тимирязев говорит о виде, как об условном, относительном понятии, установленном по существу субъективно».

Мы думаем, что приведенных цитат достаточно для того, чтобы получить представление о характере перовской «диалектики». Ни грана действительной материалистической диалектики мы здесь не найдем. Перед нами выступает самый настоящий эмпирик, прячущийся за диалектической и марксистской терминологией, с тенденциями к идеализму на почве эмпиризма, к субъективизму и релятивизму. Что иное означает обвинение диалектиков-материалистов в том, что они занимаются «жалкими выжимками» из Гегеля? Чем является утверждение Перова, что пока на опыте не откроешь объективной диалектики, нельзя пускаться в умствования, как не голым эмпиризмом? Ленин, которого Перов не решится занести по ведомству «любомудров», разве не занимался «выжимками» из Гегеля, разве он не придавал этим «выжимкам» огромного значения при разработке материалистической диалектики? Надо сказать, что С. Перов выступает как эмпирик и притом со всеми дурными чертами, проистекающими из голого эмпиризма.

Что, например, означает признание Перовым «вида» относительным и субъективным понятием? Это означает то, что Перов на почве эмпиризма приходит к отрицанию объективных всеобщих связей, к отрицанию объективной всеобщности вообще, следовательно,—к субъективизму и релятивизму. Мы уже видели, как Варьяш поучает Деборина «конкретному» пониманию закона, и мы видим теперь, как тот же Варьяш умывает руки, когда дело идет о прямой ревизии диалектического материализма с точки зрения субъективизма. На позициях С. Перова мы еще лишний раз можем видеть, насколько прав был Энгельс, утверждая, что голая эмпирия и повседневный опыт не могут еще создать гарантии от сползания в сторону идеализма и мистики. И вот этот самый Перов продолжает кричать громче всех, указывая на диалектиков-материалистов: «держи идеалиста, спасай материализм!»

В заключение остановимся на двух статьях современных европейских ученых—*Чалмерса Митчеля* (биолог) и *Ф. Франка* (физик), которые редакция сборника помещает с целью противопоставления. Первый, по ее мнению,—настоящий ученый с диалектическим подходом, второй—безнадежный идеалист. В связи с этими статьями нас особенно интересует тот «аккомпанимент» редакции, с которым указанные статьи напечатаны. По мнению редакции, Митчель приходит к признанию скачка и особенно подчеркивает необходимость детального объяснения скачка, так как сам факт признания скачка не предохраняет еще от веры в чудо. В чем дело? Все это верно, и все это давным-давно знают обучавшиеся азбуке диалектики. Но дело в том, что после слова «чудо» редакция ставит восклицательный знак и рекомендует об этом подумать «кое-кому из наших «горе-диалектиков» (читай «деборинцев»—*К. Г.*). Митчель цитирует слова Ллойда Моргана о том, что «в известном смысле жизнь сверхъестественна по сравнению с неорганическим миром», и справедливо не соглашается с такой формулировкой, дающей возможность толковать ее виталистически. Редакция сборника к этому месту статьи Митчеля делает такое примечание: «Пример Л. Моргана очень поучителен: одно констатирование скачков не составляет основы диалектического понимания природы. Наоборот, оно может, как в данном случае, вести к мистицизму. Об этом не мешало бы подумать т. Деборину и его школе». В чем дело? Где Деборин или его «школа» занимались мистикой, где они только констатировали скачки, а не занимались их детальным объяснением? Ничего об этом в примечании не сказано и не могло быть сказано. Следовательно это, как и все другие примечания редакции, является недопустимой инсинуацией самого реакционного, гнилого свойства.

Виталистический тезис Моргана о том, что «сверхъестественная» жизнь и биологические явления недоступны физической и химической интерпретации, снова сопровождается таким примечанием: «т. е. жизнь является (для Моргана—*К. Г.*) «несводимым качеством». Эти строки очень похожи на деборинскую философию». Гнусное и нелойяльное передергивание! Разве «сверхъестественность» жизни Моргана и жизнь, как «несводимое качество» Энгельса и Деборина—одно и то же? И это утверждается рядом с ясным определением витализма Митчелем.

Вот что пишет в своей статье Митчель: «Основой ошибки сэра Оливера Лоджа является понимание внезапной эволюции (emergent evolution) в смысле прямых скачков. Оно и многие родственные ему предположения являются различными воплощениями витализма—концепции жизни как абстракции от качеств живой вещи, как независимой сущности, отличной по роду от физических и химических свойств живого вещества, и неспособны поэтому интерпретироваться в их понятиях, наконец, как объекты наблюдения, но не анализа» (с. 174—175). Спрашивается, разве защиту высказанного Энгельсом положения материалистической диалектики «о специфичности жизни», положения, которое лишь подчеркивает отношение субординации низших и высших форм движения материи, подчеркивает несводимость высших форм движения к низшим, можно назвать мистикой и отождествить с виталистическим пониманием жизни Л. Моргана? Разве в этой

защите есть что-либо похожее на тот витализм, определение которого дает Митчель? Все это—досужие выдумки механистов, явных клеветников, объективно являющихся врагами диалектического материализма.

В предисловии к статье *Ф. Франка* «О «наглядности» физических теорий» говорится, что статья антиматериалистична, антинаучна и что с критикой материализма Ф. Франком совпадает критика «деборинской школой» так называемых механистов. В надежде, что эта статья, равно как и комментарии редакции к ней, подвергнутся тщательному рассмотрению со стороны физиков-диалектиков, мы ограничимся несколькими общими замечаниями. Во-первых, никто никакого ручательства не брал в отношении того, что Франк является законченным материалистом, и методологические ошибки Франка, а без них едва ли найдется на Западе хотя один физик, нельзя взваливать на «деборинскую школу». Во-вторых, если критика механического материализма Ф. Франком совпадает с критикой «деборинской школы», то это уже не плохо характеризует Ф. Франка и с научной и с методологической стороны, так как то, что для механистов зачастую является только «деборинской философией», в действительности является философией Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова—философией диалектического материализма. Так-что пока позвольте усумниться в мудрости судей, раз последние говорят, что критика Дебориным механического материализма и критика Франка совпадают. Относительно научности работ Ф. Франка также можно спорить с редакцией сборника и в частности с А. Тимирязевым. Обвинение в нигилизме и реакционности механистов по отношению к современному естествознанию и, в частности, к физике остается не снятым. Мы считаем подлинной ненаучностью, когда А. Тимирязев прямо заявляет в своем предисловии к статье Франка о том, что теория квант «по бесплодию своему начинает приближаться к теории относительности» (с. 180). Эта нигилистическая струя по отношению к современному естествознанию проходит всюду. Так, например, Митчель в своей статье указывает, что в свое время существовало представление о том, будто ньютонов закон тяготения и ньютоновы законы движения не знают никаких исключений. Но Эйнштейн показал, что ньютоновы законы применимы не во всех случаях. Редакция за это высказывание считает необходимым «одернуть» Митчеля и пишет такое, менторского характера, примечание: «Неверное заключение. До сих пор еще вопрос о том, подтверждают ли опыты теорию Эйнштейна, окончательно не решен, хотя количество фактов против теории сейчас пожалуй больше, чем за» (с. 151).

Заканчивается сборник критикой критики книжки А. Варьяша «Диалектика у Ленина».

Общая задача сборника за исключением немногих статей состоит в том, чтобы пропагандировать тезис об идеализме Деборина и «деборинской школы», о сползании к идеализму «ортодоксальных диалектиков». Тактика, на основе которой ведется защита этого тезиса, достойна поставленной задачи, в ней можно найти все: и самые нелепые искажения мыслей, и всякого рода инсинуации различной моральной ценности, и прямую клевету. Все вместе взятое показывает, что оружие механисты не сложили и теперь уже открытую (вопреки решениям II Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научных учреждений) борьбу свою против диалектического материализма не прекратили.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

РАБОТА ПЛЕНУМА, ПРЕЗИДИУМА, СЕКЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

Г. Торбск

Работа ПРЕЗИДИУМА Комакадемии после незначительного летнего перерыва началась в начале сентября.

Первое заседание Президиума, состоявшееся вскоре после смерти члена Президиума Комакадемии В. М. Фриче, было главным образом посвящено вопросу об увековечении его памяти. На этом заседании было принято решение предложить Секции литературы, искусства и языка разработать конкретный план издания сочинений Владимира Максимовича, возбудить ходатайство о назначении персональной пенсии семье покойного и поместить его портрет в зале Президиума Комакадемии.

Кроме того, было принято решение организовать траурное заседание, посвященное памяти В. М., которое состоялось 2 ноября.

Основными вопросами, которыми занимался Президиум с начала его работы, являлись главным образом вопросы, посвященные подготовке Комакадемии к предстоящему 1929/30 году, а именно: окончательное оформление штатов и смет отдельных учреждений Комакадемии, а также рассмотрение планов отдельных секций и институтов на 1929/30 г., еще не рассмотренных за летний период.

Президиумом были рассмотрены планы Института мирового хозяйства и мировой политики, Секции по изучению международного женского движения, Института философии, Секции литературы, искусства и языка и Издательства Комакадемии.

Работы ИНСТИТУТА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ по представленному плану делятся на две группы. К первой группе отнесены работы на различные темы, которые еще были начаты в прошлом году и которые будут закончены в 1929/30 г. («Теория капиталистического цикла», «Экономика и политика мировой торговли», «Классы и партии США», «Мировой экспорт капитала», «Финансовый капитал в Англии», «Послевоенная политика Германии» и т. д.). Сюда же относится работа по изданию книг колониальной серии, которая точно так же будет закончена в текущем году.

Ко второй группе относятся четыре коллективных работы: «Соед. Штаты в период заката капитализма»; «Критика с.-д. теорий империализма и хозяйственной демократии»; «Проблемы сырья в мировом хозяйстве»; «Положение рабочего класса после войны».

В настоящий момент Институт мирового хозяйства и мировой политики сосредоточивает свое внимание специально на разработке проблем, связанных с теорией так называемого «организованного капитализма». Этим проблемам посвящается серия докладов, начавшаяся 5 октября с. г. докладом т. Е. Варга, Проблемы организованного капитализма и докладом т. Ю. Гольдштейна, Современная фаза капитализма в оценке буржуазных экономистов. Кроме того, в предстоящем году Институт наметил дать две большие исторические работы по истории внешней политики СССР и истории внешней торговли СССР.

Журнал Института «Мировое хозяйство и мировая политика» решено в 1929/30 г. расширить до 12 печатных листов.

Одобрив этот план, Президиум предложил Институту наметить ряд докладов для прочтения в марксистско-ленинских научно-исследовательских институтах на местах.

План работ СЕКЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ построен в соответствии с наиболее актуальными проблемами в области женского вопроса. В связи с быстрым темпом индустриализации Советского Союза и с рационализацией промышленности в капиталистических странах,

вызывающих усиленное вовлечение женщин в производство, особенно серьезное значение приобретает проблема женского труда. Секция ставит себе задачей изучение размещения женской рабочей силы, женской безработицы в СССР и в капиталистических странах, изучение заработной платы, ночного труда женщин, сравнительной производительности женского и мужского труда и проч.

Второй цикл вопросов плана относится к изучению правового и бытового положения женщин как в СССР, так и на Востоке. При проработке этих вопросов будут использованы материалы обследований и экспедиций, произведенных различными учреждениями.

Кроме того, в план Секции включены исторические работы по изучению участия работницы в рабочем движении 1905 г. в России, роли женщин в Парижской Коммуне и участия женщин в гражданской войне. Секция готовит также издание библиографии по женскому вопросу. В текущем году намечено закончить научно-исследовательскую работу «Теория и практика II Интернационала в области работы среди женщин».

Одобрив план Секции по изучению теории и практики международного женского движения, Президиум предложил секции обратить особое внимание на собирание и систематизацию материалов по изучению экономического и бытового положения женщин.

План работ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ охватывает собою работу 5 секций Института: секции диалектического материализма, секции истории философии, секции современной философии, секции диалектики естествознания и секции исторического материализма.

Институт философии был создан около года тому назад, причем в основу его организации была положена существовавшая ранее в Комакадемии философская секция и к ней был присоединен Институт научной философии РАНИОНа. Как в прошлом году, так и в предстоящем 1929/30 г., работа Института в значительной степени связывается с подготовкой издания Философской энциклопедии, в которой участвуют все секции Института.

По секции диалектического материализма основной работой явится работа на тему «Основные принципы диалектико-материалистической логики». Кроме того, будут проведены работы по разбору записок В. И. Ленина по философии и по изучению диалектики в «Капитале» К. Маркса.

По секции истории философии, кроме проработки проблем истории философии для Философской энциклопедии, будут проведены библиографические работы по истории античной философии, по средневековой философии и философии эпохи Возрождения.

По секции современной философии, кроме подготовительных работ для энциклопедии, намечено проведение библиографических работ по философии ревизионизма, а также по библиографии современных работ по логике и диалектике.

Секция диалектики естествознания предполагает поставить библиографическую работу по дарвинизму, ламаркизму витализму, а также по биологии и марксизму в русской и иностранной литературе.

По секции исторического материализма наряду с изучением общественных теорий до Маркса, возникновения и развития исторического материализма Маркса и Энгельса и их школы будут проведены работы по современному научному коммунизму и ленинизму, а также по современной буржуазной и реформистской социологии.

Президиум одобрил план Института философии и предложил Институту разработать план издания популярной литературы по философии, наметить ряд докладов и лекций в заграничных научных учреждениях и разработать вопрос о создании печатного органа Института.

Президиум утвердил также созыв при Коммунистической Академии ВСЕСОЮЗНОЙ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ, намеченной на 1 июня 1930 г.

В этой конференции, кроме работников Комакадемии, должны будут принять участие представители от философско-социологических научно-исследовательских марксистских учреждений: соответствующих отделов Института Ленина, Института Маркса и Энгельса, Института красной профессуры, а также научно-исследовательских учреждений союзных республик, кафедр марксизма и т. д. Кроме того, на конференцию будут приглашены представители Всесоюзной ассоциации обществ воинствующих материалистов-диалектиков, а также делегаты Центрального совета Союза безбожников и делегаты родственных обществ: биологов-материалистов, врачей-материалистов, психоневрологов и пр.

На пленуме Конференции предположено заслушать доклады о задачах философии, о Ленине и теории диалектики, о кризисе современной физики, о критике философии современного ревизионизма и др. Намечено организовать 5 секций: секцию диалекти-

ческого материализма, секцию исторического материализма, секцию методики преподавания диалектического материализма, секцию истории философии и секцию истории атеизма и антирелигиозной пропаганды.

Президиумом Комакадемии утвержден следующий состав организационного комитета по созыву философской конференции: тт. Адоратский, Выдра (БССР), Гессен, Гоникман (Ленинград), Гребенев, Деборин, Ионов (ЗСФСР), Карев, Криницкий, Лукачевский, Луппол, Митин, Подволоцкий, Покровский, Таль, Юринец (УССР).

Президиум Комакадемии рассмотрел также план работ СЕКЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ЯЗЫКА.

Основной работой секции в 1929/30 г. должно явиться продолжение коллективной работы по изданию «Литературной энциклопедии», продолжение изучения пролетарской литературы СССР и Запада и работа по подготовке марксистских кадров в области литературы и искусства.

В подсекции критиков-коммунистов в области борьбы с буржуазными тенденциями в современной литературе намечен разбор творчества В. Пильняка, Вс. Иванова, Мельникова, Евг. Замятина и Эренбурга. В области изучения литературных попутчиков намечен разбор творчества К. Федина, Вл. Маяковского, группы конструктивистов и крестьянских писателей. Из пролетарских писателей будут проработаны Либединский, Фадеев и Гладков.

Кроме того в подсекции будет поставлен ряд работ по стилю пролетарской литературы и по проблемам марксистской критики и литературной политики.

По кабинету пролетарской литературы намечено закончить каталогизацию пролетарской литературы, принять и подготовить для исследовательской работы архивы ряда пролетарских писателей (Д. А. Фурманова, А. С. Неверова, Громина и др.), поставить работу по составлению синхроники пролетарской литературы, словника пролетарских писателей и т. д.

Подсекция ИЗО, занимаясь изучением проблем художественной политики СССР, сосредоточивает свое внимание на вопросах развития индустриальных искусств, архитектуры и полиграфии. Одновременно с этой работой будет производиться собирание материалов по вопросу «искусство и быт», изучение художественного оформления бытового интерьера различных социальных слоев, а также изучение художественного рынка. Подсекция намечает также ряд работ по вопросам практики революционных художников на Западе.

Подсекция марксистского театроведения наметила провести ряд работ по отдельным теоретическим проблемам драматургии и ее современным течениям и по анализу творческих методов отдельных театров—МХТ, Малого театра, театра им. Вс. Мейерхольда и пр.

По подсекции кино кроме ряда теоретических тем будет проведен ряд работ по современному советскому кино и кино на Западе.

Подсекция литературы народов СССР наметила работу по составлению библиографии критической литературы на русском и национальных языках о литературе народов советского Востока. Затем подсекцией намечен ряд теоретических работ по изучению современных литературных течений различных народов СССР.

По музыкальной комиссии в план включены работы по изучению происхождения музыки, по вопросу об отношении музыки к другим видам искусства, по проблеме музыкальных форм и по вопросам современной музыкальной практики.

Подсекцией материалистической лингвистики будет организован ряд исследовательских групп по мышлению и речи, стадиям речи, письму, классовому анализу современного русского языка, международному языку, методологии и методике.

В начале ноября будет открыта выставка «Новая письменность народов СССР».

Весной 1930 г. Секцией литературы, искусства и языка намечено созвать КОНФЕРЕНЦИЮ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ-МАРКСИСТОВ.

В качестве руководителя Секции литературы, искусства и языка Президиум утвердил члена Комакадемии т. П. М. Керженцева.

Кроме планов отдельных секций Президиумом Академии рассмотрен РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН ИЗДАТЕЛЬСТВА КОМАКАДЕМИИ на 1930 г.

Согласно этому плану намечен рост продукции в печатных листах на 29% и в листах-оттисках на 11%. Такое увеличение объясняется главным образом ростом тиражей журналов на 100% и энциклопедий на 11%, а также ростом книжной продукции. Этот рост является вполне реальным в связи с общим культурным подъемом, тягой широких масс молодежи к высшему образованию и самообразованию, а также общим ростом влияния Комакадемии.

Однако в последнее время возникли значительные трудности в связи с перегрузкой типографий, что задерживает выпуск изданий и понижает качество корректуры.

Это положение выдвигает необходимость постройки Издательством Комакадемии собственной типографии для печатания научных трудов не только на русском, но и на западноевропейских языках.

Утвердив план издательства, Президиум признал желательным издание периодических органов Института философии и Литературной секции. Кроме того, в связи с слиянием Института советского строительства и Секции общей теории права и государства и реорганизации их в Институт права и советского строительства, Президиум утвердил постановление Бюро Института права и советского строительства о прекращении издания журнала «Революция права» и о выпуске вместо него нового журнала «Советское государство и революция права». Редакция этого журнала утверждена Президиумом в следующем составе: тт. А. И. Ангаров, Я. Л. Берман, О. П. Дзенис, К. Д. Егоров, Е. П. Кривошеина, Г. С. Михайлов, Е. Б. Пашуканис, И. П. Разумовский, А. К. Стальгевич, П. И. Стучка, Н. И. Челяпов, Н. М. Черняк и А. Я. Эстрин.

Из крупных изданий на 1929/30 г. намечено издание первых томов собраний сочинений Мархлевского, Степанова-Скворцова, Бакунина и Фриче.

Рассмотрение остальных планов учреждений Комакадемии должно быть закончено к концу октября с тем, чтобы общий план Комакадемии мог быть поставлен на обсуждение ПЛЕНУМА КОМАКАДЕМИИ, который должен состояться в конце ноября. На этом пленуме, кроме рассмотрения отчета Академии за 1928/29 г. и плана работ на 1929/1930 г., решено поставить доклад М. Н. Покровского о создании центра, планирующего научную работу, и доклад В. П. Милютина о подготовке научных кадров. Кроме того на предстоящем пленуме должны состояться выборы новых членов Комакадемии.

В целях согласования плана Комакадемии с планами других марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, всем этим учреждениям разослано обращение с просьбой о присылке планов их работ. В свою очередь, по мере прохождения планов отдельных учреждений Комакадемии через Президиум, они рассылаются по марксистско-ленинским учреждениям.

Для разработки вопросов дальнейшей более глубокой плановой увязки в работе между отдельными марксистско-ленинскими учреждениями и Комакадемией решено организовать во время предстоящего пленума Комакадемии совещание представителей этих учреждений.

Призидиумом разработан ряд основных мероприятий по созданию такого рода увязки, которые будут поставлены на обсуждение предстоящего совещания. Мероприятия эти предусматривают порядок предварительной проработки планов всех марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений и составление единого сводного плана. Предусматривается также постановка докладов о деятельности отдельных марксистско-ленинских учреждений на Президиуме и на пленумах Комакадемии, регулярный обмен научными трудами, взаимное сотрудничество в изданиях, регулярные выезды работников Комакадемии с докладами в научные учреждения на местах и т. д.

В порядке осуществления постановления ЦК ВКП (б) от 26 июня с. г. о научных кадрах, Президиумом создана комиссия под председательством тов. О. Ю. Шмидта для разработки проекта Положения о научных кадрах [1].

В связи с общей установкой Комакадемии на организацию систематической подготовки научных кадров, постепенно создается аспирантура при отдельных институтах и секциях Комакадемии. С осени текущего года создана аспирантура при Институте истории в количестве 59 аспирантов, при Институте философии—15 аспирантов, при Ин-те им. Тимирязева—15, при Ин-те высшей нервной деятельности—5, при Институте мирового хозяйства и мировой политики—5 и при Биомузее—2 аспиранта.

В а ж н ы м вопросом, обсуждавшимся Президиумом, явился вопрос об участии Комакадемии в организации 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПАРТИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ». Президиум постановил, что ознаменование юбилея не должно быть приурочено к одной определенной дате, а должно выразиться в ряде выступлений, изданий, статей и заседаний в течение всего времени до 1 марта 1931 г. Для совместного проведения юбилея с Институтом Ленина и Обществом политкаторжан Президиум Комакадемии со своей стороны избрал комиссию под председательством т. Ярославского в составе тт. Покровского, Горина, Рязанова, Крупской и Малаховского, которой поручено составление программы этого юбилея.

По случаю годовщины со дня смерти члена Комакадемии т. И. И. Степанова-Скворцова 8 октября с. г. Президиумом Комакадемии, Институтом Ленина и «Известиями ЦИК» в Комакадемии было организовано заседание, посвященное памяти т. Степанова-

---

[1] Постановление ЦК о научных кадрах печатается ниже.

Скворцова. На этом заседании с докладами о жизни и деятельности Ив. Ив. выступили: тт. М. А. Савельев, В. П. Милютин, Гронский, Лукачевский и др.

Из организационных вопросов, которыми занимался Президиум, следует отметить вопросы, связанные с присоединением к Комакадемии БИОЛОГИЧЕСКОГО ИН-ТА ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА. Решено перевести секцию методологии этого института в секцию естественных и точных наук, сохранив ее в виде отдельной группы. Биологическая же лаборатория Комакадемии должна быть слита с Тимирязевским Институтом, причем в ней должно быть обеспечено продолжение опытов проф. Каммерера. Библиотека Института сливается с библиотекой Комакадемии, а издательство ин-та с Издательством Комакадемии.

Из организационных вопросов, рассмотренных Президиумом, следует упомянуть также вопрос об организации ОБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ-МАРКСИСТОВ. Президиум рассмотрел проект устава этого общества и утвердил его.

В связи с необходимостью возможно более основательной подготовки ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АГРАРНИКОВ-МАРКСИСТОВ Президиум заслушал доклад об организационной работе по созыву этой конференции и признал необходимым провести ряд предварительных областных совещаний в Ленинграде, Ростове на Дону, Саратове, Самаре, Воронеже, Минске, Харькове и Киеве, на которые должны выехать представители организационного комитета по созыву конференции с тем, чтобы сделать на этих совещаниях доклады об актуальных аграрных проблемах.

Наконец в Президиуме был заслушан печатаемый ниже доклад ученого секретаря Института мирового хозяйства и мировой политики о его командировке для установления связи с германскими экономическими научно-исследовательскими институтами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ В ГЕРМАНИИ

(Сообщение Ю. В. Гольдштейна)

Научно-исследовательские институты в области изучения экономики создались в Германии только после войны. До войны научно-исследовательская работа производилась в университетских семинарах. В них студенты писали свои дипломные работы, в них собирались материалы по разным экономическим вопросам, профессора и доценты готовили свои научные труды, составлялись толстые экономические журналы. Такие семинары по изучению народного хозяйства были у Бюхера в Лейпциге, у Шмоллера и Зомбарта в Берлине, у Брентано в Мюнхене, у Конрада в Галле и у Макса Вебера в Гейдельберге. Специальный семинар для изучения мирового хозяйства и судоходства существовал при Кильском университете. Из этого семинара и вырос Институт мирового хозяйства в Киле, наиболее крупный из всех исследовательских институтов в Германии в настоящее время.

КИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА был учрежден в 1914 г., но развился только после войны, когда он получил от Крупна принадлежавшее ему здание, в котором Институт находится по сие время. Это здание даст возможность Институту иметь великолепные помещения для библиотеки, архива, читального зала, аудитории и кабинетов для научной работы. Вильгельм II когда-то мечтал из Киля сделать второй Гамбург. Крупп основал там верфь. Сейчас от всего этого остался только Институт мирового хозяйства и работающим в нем молодым буржуазным экономистам поневоле приходится задумываться над империалистическим прошлым и настоящим Германии.

Основное богатство Кильского Института заключается в его Архиве. В Архиве имеется 2,6 млн. документов. В Архиве еще в настоящее время вырезывается 45 газет и 35 журналов. В Архиве собираются все издания банков, акционерных обществ и др. фирм, все их публикации, отчеты, балансы и др. документы официального и неофициального характера. В Архиве имеется богатейший материал о войне и военном хозяйстве. Архивом пользуются не только работающие и живущие в Киле, но вырезки по любому вопросу рассылаются заказчикам и в другие города. Очень богата также библиотека Института. Она за эти годы значительно выросла: с 15 тыс. в 1917/18 г. до 115 тыс. названий в настоящее время. В последние годы темп роста библиотеки немного замедлился из-за недостатка средств. Институт еще теперь получает до тысячи книг в месяц. В Архиве работают 9 человек, в библиотеке 20, а во всем Институте 80 человек.

Во главе Кильского Института стоит Бернгардт Гармс, один из первых германских экономистов, уделивший большое внимание изучению мирового хозяйства—родоначальник особой дисциплины о мировом хозяйстве. В настоящее время Институт главным об-

разом изучает состояние конъюнктуры на разных товарных рынках и в разных странах, развитие внешней торговли, движение капиталов, развитие судоходства и все вопросы, связанные с проблемой мирохозяйственных связей. К руководству научными работами Гармс привлек целый ряд соц.-демократов, профессора Адольфа Леве, Рихарда Кольма, Якова Маршака, осуществляя таким образом «небольшую коалицию». От изучения конъюнктурных колебаний Институт все больше переходит к изучению структурных изменений. Под руководством Гармса недавно издан двухтомник «О структурных изменениях народного хозяйства в Германии», первое издание которого в 35 тыс. экземпляров (чрезвычайно большой тираж для научной книги в Германии) уже разошлось и выходит второе издание. Из научных работ Института последнего времени можно назвать: *Конрад Цвейг*, Структурные изменения и конъюнктурные колебания в английской внешней торговле довоенного времени; *Рудольф Фрейнд*, Структурные изменения в мировом зерновом хозяйстве; *Конрад Цвейг*, Движение капиталов до и после войны; *Макс Шенвальд*, Конъюнктурные колебания в сношениях больших морских каналов; *Фриц Бурхард*, Развитие монистической конъюнктурной теории; *Рудольф Фрейнд*, Международные тенденции в животноводческом хозяйстве; *Ганс Нейсер*, Денежный рынок до и после войны; *Вальтер Ган*, Огосударствление кредита в СССР.

Все эти работы печатались в журнале «Архив мирового хозяйства», который издается Институтом. При Институте имеется еще научный клуб, в котором целый ряд видных германских и иностранных экономистов читает доклады. Последние печатаются под названием «Кильские доклады». Кроме того Институт издает ряд трудов под общим названием «Проблемы мирового хозяйства». Таких трудов появилось уже свыше 40. Все эти работы производятся под общим руководством Бернгардта Гармса.

АРХИВ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА В ГАМБУРГЕ имеет библиотеку в 38 тыс. томов (ежегодный прирост 6—7 тыс. названий) и получает 3 500 газет и журналов. Особенно богато представлены в Архиве иностранные журналы и газеты. Из СССР Архив получает около 70 журналов. В нем имеется богатая литература на всех языках, о СССР появившаяся за границей. Архив вырезывает ежедневно 150 газет и в этом отношении крупнее Архива Кильского Института.

Гамбургский Архив мирового хозяйства имеет 6 отделов: 1) по странам, 2) по фирмам (16 тыс. карточек о фирмах); 3) товарный, 4) рыночный, 5) персональный и 6) по прессе. Архивом пользуются главным образом торгово-промышленные круги Гамбурга. Посещаемость читальных зал Архива доходит до 300 человек в день.

Архив издает еженедельник «Wirtschaftsdienst». Научно-исследовательских работ этот Институт до сих пор не вел. Сейчас во главе его становится профессор гамбургского университета Тиргалле. Предполагают, что с его назначением установится более тесная связь между Институтом и Университетом и начнутся работы исследовательского характера.

Во Франкфурте-на-Майне в 1925 г. при университете был учрежден ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Во главе Института стоит известный своими работами по истории рабочего и социального движения—марксист Карл Грюнберг. В руководстве работами Института принимают участие Фридрих Поллок и Генри Гроссман, приват-доценты Франкфуртского университета. В Институте собираются все материалы и документы, относящиеся к рабочему движению. В нем имеются богатейшие материалы о германской революции, о самых различных событиях в рабочем движении всех стран за последние годы, часто встречается чрезвычайно интересный и ценный материал. В Институте уже за эти несколько лет собрана богатая библиотека в 15 тыс. томов; в ней можно найти всю марксистскую литературу. В Институте работают 10—12 научных сотрудников и ведутся семинарские занятия со студентами университета по рабочему движению, положению рабочего класса и по разным проблемам марксизма. Институт принимает участие в издании сочинений Маркса и Энгельса на немецком языке совместно с нашим Институтом Маркса и Энгельса. Институт уже выпустил ряд значительных научных трудов: *Генри Гроссман*, Теория накопления и крушение капитализма, *Фридрих Поллок*, Плановое хозяйство в СССР и работу *Карла Витфогеля* о Китае. Институт оборудован очень хорошо.

При Франкфуртском университете имеется еще один ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, который по существу представляет собою объединенный семинар профессоров Шмидта, Фогта, Арндта и др.; в нем работают студенты университета.

В настоящее время в Германии организуется еще один ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ под руководством Альфреда Вебера. Необходимые для организации этого Института средства предоставляет известный Концерн химической промышленности «I. G. E.». Этим уже определяется в известной

мере направление нового института. Очевидно последний создается в противовес Франкфуртскому Институту социальных исследований, который в Германии считается левым по своему направлению.

* * *

Тов. Ю. В. Гольдштейн побывал во Франкфурте, Киле и Гамбурге и во всех указанных институтах встретил большой интерес к СССР и его хозяйству. Он прочитал там ряд лекций: во Франкфуртском институте и Гамбургском университете—о нашем пятилетнем плане, а в Кильском институте—о научно-исследовательской работе и социально-экономическом образовании в СССР. Доклады эти вызвали большой интерес. Во Франкфурте состоялся один закрытый доклад, на котором было 70 человек, и один публичный доклад, на котором было 120 чел., в Киле состоялся закрытый доклад в присутствии 50 чел., и в Гамбурге публичная лекция, на которой присутствовало свыше 500 человек. Во Франкфуртском институте развернулись особенно оживленные прения. Наш пятилетний план подвергся критике с точки зрения его выполнимости, темпов накопления и распределения национального дохода. Германская пресса, вообще уделяющая большое внимание нашему пятилетнему плану и строительству, поместила подробные отзывы о вышеуказанных докладах.

О НАУЧНЫХ КАДРАХ

Постановление ЦК ВКП (б).

Отмечая заметные сдвиги в сторону улучшения в деле подготовки новых кадров коммунистов—научных работников за последние годы, особенно в связи с выпусками Института красной профессуры, улучшением постановки институтов по общественным наукам при РАНИОНе, организацией института студентов-выдвиженцев для научной работы при вузах и втузах, ЦК признает, несмотря на эти сдвиги, положение с наличием партийных научных кадров, их подбором, подготовкой и использованием неудовлетворительным и не соответствующим задачам овладения партией научным знанием для социалистического строительства. Необходимо гораздо большее внимание партийных и советских органов делу подбора и подготовки новых научных кадров вообще и в особенности созданию условий, обеспечивающих подготовку коммунистов—научных работников высокой научной квалификации, продвижение подготовленных коммунистов на научную работу во все научно-исследовательские организации, вузы и втузы и правильное использование кадров научных работников-коммунистов на научной работе.

Исходя из этого, ЦК признает необходимым:

1) Выработку в законодательном порядке общих для всех вузов, втузов и научно-исследовательских учреждений (в том числе и всесоюзных научных учреждений, находящихся в ведении СНК СССР) положений о порядке подбора и подготовки начинающих научных работников (аспиранты, стажеры и пр.), обеспечивающих:

а) устранение существующего в настоящее время разнобоя и установление единства в постановке всего дела подбора и подготовки научных работников для всех учреждений, в чьем бы они ведении ни находились;

б) активное участие общественных организаций в выдвижении новых аспирантов и устранение личного усмотрения профессуры;

в) соблюдение классового принципа в подборе аспирантов, стажеров и пр.;

г) действительный контроль с точки зрения общественно-политической и идеологической ценности аспирантов и выполнения аспирантурой плана научной работы;

д) увязку научной работы аспирантуры с работой производственных организаций и обеспечение коммунистам-специалистам, работающим в производстве, возможности занятия научной работой по специальности в научно-исследовательских институтах.

Выработку проекта такого положения поручить в 3-месячный срок президиуму Коммунистической академии с привлечением всех заинтересованных ведомств.

2. Считать необходимым перестройку руководства внутри ведомств (Наркомпрос, ВСНХ и др.) работой по подбору и подготовке научных работников в сторону:

а) обязательного участия и ответственности за это дело соответствующих функциональных оперативных органов;

б) ответственности правлений вузов, втузов и научно-исследовательских институтов за состав и подготовку аспирантуры;

в) более планового распределения оканчивающих аспирантуру молодых научных работников, для чего пересмотреть существующий порядок замещения кафедр в сторону усиления плановости и влияния руководящих организаций;

г) создания с участием партийных и профессиональных организаций областных ведомственных органов, руководящих работой вузов, втузов и научно-исследовательских институтов, в части подбора, выдвижения и подготовки новых научных кадров;

д) более быстрого разрешения вопросов об утверждении аспирантов;

е) обеспечения коммунистического руководства при окончательном утверждении аспирантов.

3. Считать развитие института студентов-выдвиженцев делом крайне необходимым для улучшения подготовки научной смены. Выдвижение на научную работу должно производиться общественными организациями, профессурой и преподавательским составом вузов при обязательном руководстве этим делом местных партийных организаций. В числе выдвиженцев необходимо соблюдать не менее 60 проц. членов партии, выдвигая в первую очередь выходцев из рабочих и крестьян.

Наркомпрос и ВСНХ должны переработать не позднее 1 сентября подробное положение о выдвиженцах. Установить как правило, что прием аспирантуры должен производиться в первую очередь из числа студентов-выдвиженцев, показавших свою пригодность к научной работе.

4. ЦК также считает необходимым, чтобы НК РКИ СССР обследовал:

а) постановку руководства научно-исследовательской работой в ведомствах (отдел научных учреждений СНК СССР, наркомпросы и др.);

б) постановку дела подготовки новых научных кадров в научно-исследовательских институтах;

в) пересмотреть совместно с соответствующими ведомствами существующие положения о научно-исследовательских институтах в сторону усиления роли общественных организаций в комплектовании правлений институтов и обязательного участия их в советах институтов.

5. Ускорить выработку проекта положения о создании всесоюзного планирующего научно-исследовательскую работу центра. Поручить специальной комиссии ЦК разработать в 5-месячный срок план подготовки научных работников СССР по основным отраслям знания в соответствии с пятилетним планом развития народного хозяйства и культурного строительства СССР. АППО и орграспреду ЦК на основе общего плана выработать план направления коммунистов на научную работу по отдельным отраслям научного знания.

6. Считать необходимым со стороны местных партийных организаций уделение гораздо большего внимания руководству научными учреждениями и в особенности делу подбора, подготовки и правильного использования коммунистов—научных работников, для чего поручить ЦК нацкомпартий, краевым и областным комитетам:

а) создать постоянные комиссии в составе зав. АППО (председатель), зав. ОНО, зав. земуправлением, председателя СНХ, представителя секции научных работников и ректоров-коммунистов крупнейших вузов; на эти комиссии возложить руководство работой ведомств в пределах области в части подбора и выдвижения новых научных кадров;

б) взять на персональный учет коммунистов—научных работников и пересмотреть существующие нагрузки на них с целью наиболее правильного использования по специальности и устранения совместительств, препятствующих научной работе;

в) при распределении оканчивающих аспирантуру местных вузов и научно-исследовательских институтов коммунистов направлять их на научную работу по специальности, ограничивая нагрузку возможностью дальнейшей работы по поднятию научной квалификации.

7. Считать необходимым со стороны секции научных работников союза рабпрос и инженерно-технических секций других союзов значительно большее внимание и активность в вопросах руководства научно-исследовательскими организациями, подбора их руководящего состава и в особенности в деле подбора и выдвижения новых научных кадров.

8. СНК РСФСР и СНК других республик, с привлечением секции научных работников союза рабпрос, необходимо разработать в 2-месячный срок вопрос об устранении существующих ненормальностей:

а) в оплате студентов—выдвиженцев на научную работу, аспирантов и окончивших аспирантуру научных работников в сторону увеличения оплаты аспирантуры и молодых научных работников;

б) в жилищном обеспечении аспирантов.

9. При приеме аспирантов текущего года необходимо довести процент коммунистов в числе принимаемых до 40.

Поручить Ленинградскому обкому совместно с отделом научных учреждений СНК СССР и фракции Коммунистической академии направить в текущем году сорок коммунистов для научной работы в учреждениях Академии Наук и МК—десять коммуни-

стов для научной работы во Всесоюзном институте прикладной ботаники, отобрав эту группу из наиболее научно-подготовленных работников вузов и втузов.

10. Поручить комиссии ЦК (см. п. 5) также в пятимесячный срок проработать вопрос о расширении деятельности существующих и организации новых научно-исследовательских институтов в национальных организациях в целях усиленяя подготовки коммунистов—научных работников национальных республик из местных кадров.

11. В целях повышения квалификации научных работников-коммунистов, необходимо помимо заграничных командировок расширить практику научных командировок работников внутри Союза ССР, особенно из провинции в Москву, для работы по всесоюзных марксистско-ленинских учреждениях, в частности в Институте Маркса-Энгельса, в Институте Ленина и Комакадемии. Молодые научные работники по общественным наукам до получения заграничных командировок предварительно должны поработать при этих учреждениях для использования имеющихся фондов и подготовки к предполагаемым научным работам за границей. Такая работа может итти как в форме самостоятельных научных исследований, так и участия в общей работе самих учреждений.

Редакционная коллегия:

Бухарин Н. И., Дволайцкий Ш. М., Деборин А. М., Крицман Л. Н., Лукин Н. М., Милютин В. П., Пашуканис Е. Б., Покровский М. Н., Шмидт О. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Покровский М. — **В. М. Фриче** 3

СТАТЬИ

Пашуканис Е. — Колониальная политика и ее новейшие апологеты 7

Бобровников Н. — Об одной ревизии марксистской диалектики 19

Атлас З. — Денежный рынок и противоречия банковского кредита 41

Балкоз В. — Псевдо-социологическая теория кризисов Гейнриха 75

Аксельрод-Ортодокс Л. — Эстетика Н. Г. Чернышевского 104

Залманзон А. — Против эклектического направления в психологии 141

ДОКЛАДЫ В КОМАКАДЕМИИ

Дынник М. — Учение Гегеля о случайности 163

Квитко Д. — Проблемы пространства, времени и материи у неореалиста Александера 195

Диманштейн С. — О меньшевистской платформе по национальному вопросу . . 218

Доклады в Комиссии по истории религии Комакадемии

Преображенский П. — Основные проблемы происхождения религиозных форм 229

Рожицин В. — Социально-экономические основы мифологии 238

Обзор докладов в подсекции материалистической лингвистики 243

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Гребенев К. — «Диалектика в природе» (сборник IV) по марксистской методологии естествознания 246

ХРОНИКА

Деятельность Коммунистической Академии 255

От редакции: В 32 (2) книге «Вестника Ком. Академии» на стр. 195 в перечне участников 2-й Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений по недосмотру пропущены представители Института Маркса-Энгельса.

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Москва, ГСП 10. Волхонка, 14.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1930 ГОД

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Орган Комакадемии

Условия подписки:

На год—14 р., на 6 м.—7 р. 50 к.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

НА АГРАРНОМ ФРОНТЕ

Орган Агр. инст. Комакадемии

Условия подписки:

На 1 год с I и II прил.—30 р.
,, 1 ,, с I прил. —18 р.
,, 1 ,, с II прил. —24 р.
,, 1 ,, без прил. —12 р.
На 6 мес ,, ,, — 6 р. 50 к.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Орган Инст. мир. хоз. и мир. политики

Условия подписки:

На 1 год с I прил. —20 р.
,, 1 ,, с II прил. —25 р.
,, 1 ,, с I и II прил.—30 р.
,, 1 ,, без прил. —15 р.
На 6 мес. ,, ,, — 8 р.

НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ ПРАВА

Орган Инст. права и сов. строительства Комакадемии.

Условия подписки:

На 1 год с I прил. —21 р.
,, 1 ,, с II прил. —18 р.
,, 1 ,, с I и II прил.—27 р.
,, 1 ,, без прил. —12 р.
На 6 мес. ,, ,, — 6 р. 50 к.

ИСТОРИК-МАРКСИСТ

Орган Всесоюзного О-ва историков-марксистов при Комакадемии.

Условия подписки:

На 1 год с I прил. —15 р.
,, 1 ,, с II прил. —24 р.
,, 1 ,, с I и II прил.—27 р.
,, 1 ,, без прил. —12 р.
На 6 мес. ,, ,, — 6 р. 50 к.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Орган Эконом. секций Комакадемии

Условия подписки:

На 1 год с прил.—24 р.
,, 1 ,, без прил.—12 р.
На 6 мес. ,, ,, — 6 р. 50 к.

ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И МАРКСИЗМ

Орган Секции естественных и точных наук Комакадемии.

Условия подписки:

На 1 год с прил.—15 р.
,, 1 ,, без прил.— 7 р. 50 к.
На 6 мес. ,, ,, — 4 р.

ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ПРОБЛЕМЫ КИТАЯ

Орган Научно-исследовательского института по Китаю при Ком. унив. трудящихся китайцев.

Условия подписки:

На 1 год —10 р.
На 6 мес. — 5 р. 50 к.

Подписка принимается только на календарный год или по полугодиям—с 1 января или 1 июля. На другие или меньшие сроки подписка не принимается.

Подписку и переводы просим направлять по адресу Издательства.